

КАТРИН ЧИДЖИ

Несоб-
иийся
ребенок

like
book

18+



Annotation

Загадочный рассказчик, чья судьба неразрывно связана с жизнью главных героев, начинает свою страшную и одновременно трогательную историю. Историю, начало которой было положено в 1939 году.

Зиглинда живет в Берлине в обычной семье. Мама — домохозяйка, а папа работает цензором: вымарывает из книг запрещенные слова. Его любимое занятие — вырезать фигурки из черной бумаги и ждать конца войны. Но война продолжается, и семья девочки гибнет, а она оказывается в опустевшем здании театра — единственном месте, где можно чувствовать себя в безопасности. Судьба сводит ее с Эрихом — юношей, сделавшим все, чтобы сбежать от родителей, чьей любви никогда не чувствовал. Вместе им предстоит построить лучшее будущее. Но выйдет ли у них выбраться из капкана войны? Или рассказчику, так внимательно следившему за их судьбами, придется признать: счастливый финал, к сожалению, не всегда возможен?

- [Катрин Чиджи](#)
 -
 -
 -
 - [Пазлы](#)
 -
 - [1995. Близ Нюрнберга](#)
 - [Сила через радость](#)
 -
 - [Июль 1939. Близ Лейпцига](#)
 - [Сентябрь 1939. Берлин](#)
 - [Октябрь 1940. Близ Лейпцига](#)
 - [Ноябрь 1940. Берлин](#)
 - [Погода фюрера](#)
 -
 - [Декабрь 1940. Берлин](#)
 - [Апрель 1941. Близ Лейпцига](#)
 - [Восковая женщина](#)
 -
 - [Сентябрь 1941. Берлин](#)

- [Немецкое лицо](#)
 -
 - [Июль 1942. Близ Лейпцига](#)
- [Ты тоже принадлежишь фюреру](#)
 -
 - [Апрель 1943. Берлин](#)
- [Человек-тень](#)
 -
 - [Ноябрь 1943. Берлин](#)
 - [Ноябрь 1943. Близ Лейпцига](#)
 - [Декабрь 1943. Берлин](#)
 - [Февраль 1944. Близ Лейпцига](#)
 - [Апрель 1944. Берлин](#)
 - [Июнь 1944. Берлин](#)
- [Театр марионеток](#)
 -
 - [Июль 1944. Берлин](#)
 - [Август 1944. Близ Лейпцига](#)
- [Алхимия](#)
 -
 - [Октябрь 1944. Берлин](#)
 - [Ноябрь 1944. Близ Лейпцига](#)
 - [Февраль 1945. Берлин](#)
 - [Март 1945. Близ Лейпцига](#)
- [Kindertotenlieder\[24\]](#)
 -
 - [Апрель 1945. Берлин](#)
 - [Апрель 1945. Близ Лейпцига](#)
 - [Апрель 1945. Берлин](#)
 - [Апрель 1945. Лейпциг](#)
 - [Апрель 1945. Берлин](#)
- [Персилшайн\[30\]](#)
 - [Май 1945. Берлин](#)
- [Несбывшийся ребенок](#)
 - [1955. Западный Берлин](#)
 - [1957. Западный Берлин](#)
 - [Апрель 1976. Восточный Берлин](#)
- [Эрих](#)
 - [1980. Лейпциг](#)

- [1994. Берлин](#)
 - [1995. Лейпциг](#)
 - [Секрет, который ни для кого не секрет](#)
 - [1996. Близ Лейпцига](#)
 - [1997. Берлин](#)
 - [1997. Берлин](#)
 -
 - [Источники](#)
 - [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)

- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)



Катрин Чиджи Несбывшийся ребенок

Catherine Chidgey
The Wish Child

© Карпова К., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“»,
2018

* * *

Посвящается Трейси Слотер

*...лишь на то, чтоб с громом провалиться,
Годна вся эта дрянь, что на земле живет.
Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться!*

И. В. фон Гете. Фауст^{[\[1\]](#)}

Пазлы

Я недавний гость в этом мире и еще не понимаю всего. Здесь лишь мои впечатления — как остовы истлевших листьев, как стертый рисунок, в котором с трудом угадываются очертания голубок и черепов, высеченных в камне. Смутная дымка, игра полутеней, негромкое дыхание. Похоже, это и есть я.

1995. Близ Нюрнберга

Зиглинда перебирает и раскладывает старые бумаги — комната наполняется запахом машинописных лент, карандашной стружки, резиновых штампов, виниловых стульев, штемпельных подушечек и копировальной бумаги. Все вокруг, от пола до потолка, во всех комнатах забито документами, которые спешно уничтожались и рассовывались по мешкам в последние безумные дни существования ГДР. Что-то удастся восстановить сразу — попадаются большие обрывки в половину или четверть страницы с целыми фразами, а что-то приходится собирать из крошечных кусочков размером с ноготь, где даже слов не разобрать. Под руками Зиглинды, как в калейдоскопе, складываются истории чужих жизней. Вот студент пошутил про Хонеккера^[2]. Домохозяйка получила от западных друзей посылку с алюминиевой фольгой и порошковым пудингом, чем выдала капиталистические пристрастия. Мать разрешила сыну отрастить волосы и ходить в школу в джинсах. Машинист поезда не позволил установить у себя в квартире видеокамеру для слежки за соседями, поэтому сам на годы попал под наблюдение. Школьница оклеила комнату постерами Майкла Джексона.

Перехваченные письма складывать проще всего: их выдают избитые фразы «скучаю», «люблю», «мечтаю увидеть». А вот план чьей-то квартиры Зиглинда собирала целую неделю. Он был составлен в мельчайших подробностях, как будто с дома сняли крышу и заглянули во все комнаты сразу: кто-то аккуратно отметил размеры стен, электрическую проводку и мебель, не забыв даже скамеечку для ног, газету на журнальном столике и кошку, спящую в кресле. Все было на месте, кроме людей. В мешках она нашла еще и фотографии: полароидные снимки, запечатлевшие смятые простыни, книжные шкафы, грязную посуду — мельчайшие бытовые детали, чтобы после обыска вернуть все на место и не оставить следов. Зиглинду притягивали эти картинки, она проводила пальцем по складкам присборенных тюлевых занавесок, по волнам неубранной постели.

Как у любого собирателя пазлов, у нее была своя система. Она доставала кусочки из мешка с предельной аккуратностью, сортировала по размеру, цвету, текстуре и плотности бумаги, разбирала по типу шрифта и по почерку и лишь затем начинала складывать, совмещая неровные края. Порой Зиглинда тратила несколько дней, чтобы сложить одну страницу, и

все равно оставались кусочки, для которых она не могла найти места, и пробелы, которые она не могла заполнить. Шестнадцать тысяч мешков, шестьсот миллионов обрывков — всей человеческой жизни не хватит, чтобы их собрать. А времени осталось мало: скоро ей придется уйти на пенсию и вернуться в Берлин, к прежней жизни — кстати, нужно уведомить студента, снимающего ее квартиру. Зиглинда старается работать как можно быстрее: сколько историй уже прошло перед ее глазами, однако той, которая не дает ей покоя, она так и не нашла. В каждом обрывке она надеется увидеть его имя — имя Эриха Кренинга. И всякий раз это был не он. Конечно, не он. Моя история совсем иного сорта. Я ничего не могу вернуть или воскресить. Но не будем торопиться...

Сила через радость

Не знаю, сплетутся ли с тиной,
Кости, омытые морем,
Или покорные волнам,
Будут плясать —.

— пальцы тугие,
Они как пустые —,
Лишенные — магии,
Которую ищут во сне живые.

Июль 1939. Близ Лейпцига

Супруги Кренинг поднялись раньше обычного, хотя все уже было готово: дорожки подметены, цветы срезаны и поставлены в вазы, стекла отмыты до абсолютной прозрачности. В полях наливались крепкие колосья, в саду жужжали пчелы в ульях. В гостиной покачивались занавески. Неужели сквозняк? Рассохлась рама? Эмилия и ее муж Кристоф садились то на один стул, то на другой, стараясь представить себя гостями и оценить дом со стороны. Еще по-настоящему не рассвело, петух только прочищал горло, однако было ясно, что день предстоит жаркий. Хорошо, что они подготовились заранее, есть время осмотреться: не спуталась ли бахрома у ковра, ровно ли висит благословение, не нужно ли завести часы или взбить подушки. Но нет, все было в порядке: в вазах — цветы, на полях — пшеница, в ульях — пчелы, на полке — «Майн Кампф».

Закончив с домом, супруги Кренинг занялись собой. Эмилия заплетала перед зеркалом светлые косы и крепко скалывала их, чтобы не выбилась ни одна прядь. Она чувствовала, как натянулась кожа на затылке и на висках, но даже не думала ослаблять прическу. Волосы были ее гордостью: распущенные, они доходили до талии.

— Меняю свою кожу на твои волосы, — говорила ее сестра Улла, когда они спали в одной комнате.

— Меняю свои глаза на твои лодыжки, — отвечала Эмилия.

Она растерла щеки до легкого румянца иправила воскресное платье на стройных бедрах — и не подумаешь, что у нее есть ребенок. «Спасибо, что вы приехали, — проговорила она своему отражению в зеркале. — Спасибо, что вы занимаетесь нашим делом». «Ты, ты, ты», — закричала лесная горлица. Утренние звуки вплывали через окно и заполняли комнату. День только начинался; что он готовит?..

Кристоф сполоснул бритву, не спеша протер запотевшее зеркало и натянул кожу на горле. Ему приходилось наклоняться, чтобы увидеть свое отражение. Он откинул прядь рыжеватых волос, упавших на лоб, и улыбнулся жене, заметив, что она на него смотрит. Кристоф начал бриться, и этот звук напомнил Эмилии сухой треск занимающейся соломы. При виде первых всполохов пламени, пожирающих жнивье, ее всегда охватывала тоска, однако это была неизбежная жертва — иначе не вырастишь нового урожая. Да и сожаление длилось недолго, оно отступало, как только огонь разгорался и охватывал все поле. Кристоф убрал волосы

со лба и пригладил их влажной рукой. Сейчас, в зыбком утреннем свете, шрам у него над бровями был еле заметен, однако к концу лета он четче проявится на загорелой коже. Отец учил его косить, и Кристоф подошел слишком близко. Мать до сих пор вспоминает это с содроганием: еще бы полсантиметра ниже... Иногда Эмилия притрагивается к шраму длинными прохладными пальцами и повторяет то же самое.

На завтрак были булочки. Они надрезали их и намазывали маслом и джемом под мерное тиканье настенных часов, подаренных на свадьбу. Крошечная женщина из часов сообщила, что сегодня будет дождь; верилось с трудом. Они размеренно жевали завтрак, не спеша и не мешкая. Гость доберется до Лейпцига не раньше десяти. У них еще много времени.

— Джем, что прислала твоя сестра, еще остался? — спросил Кристоф.

— Вишневый нет, — ответила Эмилия, — только абрикосовый.

— Из абрикосов тоже хорош, — заметил Кристоф, — но я люблю из вишен.

Гость — высокий подтянутый мужчина с темными волосами и спокойным голосом — прибыл, когда свадебные часы пробили одиннадцать. Он выглядел, как человек, который всегда знает, что сказать. Он выглядел, как человек, который уверенно возьмет вас за руку и проводит домой, случись вам потеряться. На нем была не униформа, а дорогой черный костюм, на лацкане которого блестел партийный значок. Кристоф усадил его на лучшее место, и Эмилия сняла крышку с медового пирога.

— У меня совсем немного времени, — начал было гость, но Эмилия уже протянула руку за ножом.

— Он из своего меда, — проговорила она. — Муж покажет вам улы. Его отец сам вырезал их в форме человеческих фигур.

Она вручила гостю тарелку и вышитую салфетку.

— И еще вы непременно должны увидеть наши лиственницы, Кристоф посадил их в 1933 году в честь победы на выборах. Осенью они просто чудесны.

Они замолчали, занявшись пирогом. Гость чуть не подавился кусочком миндаля, но, к счастью, быстро откашлялся.

— Мы, конечно, можем проводить вас в детскую, — предложила Эмилия. — Если это необходимо.

— Благодарю. Не нужно, — ответил гость.

— Хорошо, — кивнула Эмилия.

— Нам бы хотелось поскорее все уладить, — добавил Кристоф, — чтобы прекратить страдания...

Гость кивнул — он добрый человек, справедливый человек.

— Спасибо, что вы приехали, — сказала Эмилия, провожая гостя. —
Спасибо, что вы занимаетесь нашим делом.

Да, он добрый и справедливый человек — супруги Кренинг были
единодушны. Оставшись одни, они вернулись к своим обычным делам.

Сентябрь 1939. Берлин

Но вернемся к началу: несколькими неделями раньше нелепый человек с нелепыми усами отменил очередной съезд партии, созывавшийся под лозунгом «Ради мира», — чтобы напасть на Польшу.

Война была развернута с исключительной пунктуальностью и в строгом соответствии с планом. Шестилетняя Зиглинда Хайлманн вместе с родителями и братьями сидит в гостиной и слушает, как голос из радио с треском распространяется по их берлинской квартире подобно разгорающемуся пожару.

Я вижу, как ее отец Готлиб сжимает антенну двумя пальцами, пытаясь поймать сигнал, но получается плохо. Какая несправедливость, злится он, мы живем на верхнем этаже в Шарлоттенбурге, а это не какие-нибудь трущобы!.. Когда ему кажется, что он поймал сигнал, вся его угловатая узкая фигура застывает, однако лицо остается недовольным. Бригитта, мать Зиглинды, показывает вправо, но отец двигается слишком порывисто и опять теряет сигнал.

— Чуть-чуть назад, папа, — подсказывает Зиглинда.

Собрав все терпение, отец осторожно передвигает провод, и ему наконец удается поймать фюрера без искажений.

Юрген, ему уже почти пять, строит башни из деревянных кубиков и, не дожидаясь, пока они упадут, сам ломает их, с грохотом рассыпая по паркету.

— На ковер, Юрген! Соседи!

Курт, он еще младенец, кряхтит в колыбели.

Зиглинда выглядывает в окно и спрашивает:

— А где враги?

Фюрер таращится на всех с портрета, висящего над диваном, и хмурится, чтобы выглядеть внушительнее. Папа переставляет ногу.

— Мама, где они?

«Вся моя жизнь — лишь бесконечная борьба во имя моего народа, — вещает радио. — Будучи сам готов в любой момент отдать свою желчь — ее может взять кто угодно — за мой народ и за Германию, я требую того же и от каждого...»

— Свою желчь? — переспрашивает мама. — Нашу желчь?

— Свою жизнь, — шикает папа: он уже слышал эту речь на работе по громкоговорителю.

— Да, наверное. Жизнь. Но я четко слышала — желчь. Хотя зачем фюреру наша желчь...

Юрген строит и ломает башню за башней, Зиглинда отходит от окна и садится на диван рядом с мамой, младенец вздыхает во сне, папа стоит неподвижно, воздев тонкие руки к небу, как святой, раздающий благословения, и я смотрю на них, на этих обычных людей, — над ними лицо фюрера, из угла доносится его голос, как будто он чревовещатель, и если бы я смог заговорить, подозреваю, что они бы приняли мою речь за радиопомехи, шелест дождя, грохот кубиков, шум эфира. Когда этим же вечером прозвучал сигнал воздушной тревоги, все они, конечно, спустились в подвал, но так и не поняли зачем, ведь самолетов не было. И когда они поднялись обратно, все осталось нетронутым.

И все же она права, та девочка: если Германия воюет с Польшей, то где же тогда поляки? И где французы с англичанами? Их нет в трамваях и в автобусах. Нет среди отдыхающих в плетеных шезлонгах на берегу Мюггельзее. Нет в кинотеатрах и в варьете. Каждый день жители Берлина поднимают головы к небу, высматривая признаки войны. И каждую ночь город погружается в темноту по правилам светомаскировки. Погасли знаменитые неоновые вывески: больше не искрится бокал с вином «Дайнхард», и мавр в тюрбане не несет шоколад «Саротти». А люди, как и прежде, катаются на лодках по Ванзее, устраивают пикники в Тиргартене и загорают на лужайках Фридрихсхайна. Ходят поезда, стучат часы, собаки задирают лапы. Мужчины пьют пиво, женщины примеряют перчатки, дети ходят в зоопарк и слушают, как визжат мартышки, и смотрят, как слоны закладывают в рот сено. Они гладят львят и кормят мишек, как младенцев, молоком из бутылочки, а орангутанги, попрошайничая, протягивают руки сквозь решетки и до невозможности походят на жадин из школьных учебников. Кстати, школы снова открылись, и дети учатся тихо сидеть и слушаться старших, переписывать и повторять, делить и вычитать. Бояться нечего. Да, окна в подвале заложены мешками с песком, но это заурядная предосторожность. Небо совершенно чистое.

— Все в порядке, — говорит папа Зиглинде, показывая на газетные заголовки, отчего кончик его пальца становится черным.

Просто засилье хороших новостей!

— Видишь? Немецкий народ счастлив и защищен. У нас вдоволь еды. Какие бомбы?

Ворона сидит на карнизе и смотрит, как Зиглинда помогает маме на кухне. Маленькие черные глазки то устремляются прямо на девочку, то рыскают по стеклу в поисках входа. Это раздражает Зиглинду, она

открывает окно, и птица улетает куда-то в темноту внутреннего двора-колодца, который, как дыра, зияет в сердце их дома. Зиглинда тут же закрывает створку, она знает, что высовываться из окон и подсматривать за соседями запрещено, как запрещено сквернословить, плевать и громко разговаривать в подъезде. Таковы правила, записанные в журнале у коменданта. Все старательно делают вид, что уважают неприкосновенность частной жизни и не лезут в чужие дела.

Иногда, в качестве поощрения, папа берет Зиглинду с собой в кафе. (Представляете? Отец! Я и не мечтал о подобном.) Они идут в «Kranzler» на бульваре Курфюрстендамм и сидят там под полосатыми навесами, рассматривая прогуливающихся дам в нарядных шляпках, или в «Haus Fraterland» на Потсдамской площади, где зал украшен серебряными пальмовыми ветвями и ежечасно раздается оглушительный бой часов. Папа дает Зиглинде попробовать свой кофе, и она делает большой глоток, как взрослая, хоть ей и не нравится горький вкус. Зато венский шоколадный торт быстро поправляет дело. Глядя на дочь сквозь маленькие круглые очки, папа улыбается, и под взглядом его серых глаз Зиглинде становится спокойно и хорошо. Ни у кого из ее подруг нет такого доброго отца. Его темные волосы всегда аккуратно причесаны, и он умеет вырезать затейливые фигурки из бумаги. По пути домой папа показывает ей интересные места: фонтан «Прометей» на Гарденбергштрассе, балкон, довольно потертый, с которого кайзер произнес: «Сегодня все мы — немецкие братья, и только немецкие братья». Когда они подходят к своему дому на Кантштрассе, папа, как джентльмен, придерживает дверь и под руку ведет ее во двор — в их вечно темный двор, где солнца не бывает даже в самый ясный день и где зимою всегда лежит снег. Ее нарядные туфли стучат каблучками по непрогретой брусчатке, вокруг поднимаются ряды неосвещенных окон. Они проходят мимо отгороженных мусорных баков, мимо стойки для выбивания ковров, мимо песочницы с покосившимися замками. Прошлой весной Зиглинда посадила бархатцы в вязкую почву рядом с крыльцом, но они так и не взошли.

Их семья здорово повезло, утверждает папа, ведь они живут на четвертом этаже, где много воздуха и света и нет верхних соседей, которые бы нарушали их покой. Конечно, к квартирам на первом этаже ведет мраморная лестница, а им приходится подниматься по деревянным ступеням, да и лифта в доме нет, но все это мелочи. Хайлманны гораздо больше ценят удаленность от уличной суеты: от окурков, велосипедных звонков, пронзительно кричащих продавцов газет, стучащих зонтиков, надоедливых собачонок, мальчишек, торгующих нагрудными значками,

инвалидов недавней войны с подвернутыми брючинами и пустыми рукавами. И от демонстраций, добавляет мама. Они страшно действуют ей на нервы. По улицам нескончаемым потоком маршируют представители бесчисленных объединений: Национал-социалистическая лига телефонисток, Имперская ассоциация германских кролиководов. Гордиться своей работой — это прекрасно, подчеркивает папа, но вообще он рад, что их квартира находится вдали от любопытных глаз. Однако не стоит хвастаться своим выгодным положением перед соседями — это невежливо — и не следует забывать про семью, живущую снизу: всем надо носить мягкие домашние тапочки, ходить тихо, приподнимать, а не двигать стулья (к тому же так лучше для ковров и паркета) и не ронять по легкомыслию нож, банку с горошком или тяжелую книгу. Библию? «Майн Кампф». Осмотрительность, подчеркивает папа, вот главное правило.

Я вижу, как одним воскресным утром Хайлманны наносят визит Шуттманнам (второй этаж, окна по фасаду). Знакомство завязалось пару месяцев назад. Герр Шуттманн тоже состоит в Партии и даже, как считается, обладает некоторым местным влиянием. Но главное, утверждает папа, мы близки по духу.

Так оно и есть. У них трое маленьких детей, и скоро будет четвертый. Они всегда вскидывают руку и не позволяют себе таких вольностей, как «добрый день». Более того, в прошлом году они брали тот же круиз на Мадейру и в Италию. Как Зиглинда хотела тогда поехать с родителями!.. Увы, ее и Юргена отправили к тете. Правда, мама присылала открытки, а папа привез в подарок браслет с названием корабля, написанным морской азбукой с маленькой свастикой на конце.

— Жаль, что мы тогда еще не знали вас так близко, — вздыхает фрау Шуттматт. — Мы бы сидели за одним столом и вместе играли в серсо.

— Мы заметили вас на борту, — говорит папа, — просто не хотели навязываться.

— Верно, — поддерживает его герр Шуттманн. — Мы тоже вас видели, но, как вы правильно заме-тили...

Повисает пауза, на потолке дрожит люстра, сверху раздаются отчетливые шаги. Шуттманны не обращают на это никакого внимания, а вот мама целую минуту не сводит глаз с раскачивающегося шара. Наверное, ей вспоминается круиз — как корабль кренился, проходя через Ла-Манш. Она рассказывала Зиглинде, что ночью туманный воздух мерцал так, будто все звезды разом упали с неба.

— Теперь все круизные лайнеры отдадут под плавучие госпитали, — замечает герр Шуттманн. — И правильно, ведь идет война, — уточняет он,

чтобы не дать повода для кривотолков.

— Конечно, — соглашается с ним мама.

Однако, когда дома Зиглинда спрашивает, неужели круизные лайнеры будут возить больных, мама говорит, что герр Шуттманн, должно быть, ошибся. Их корабль, их чудесный корабль заполнят раненые и недужные? Она помнит, как они садились на борт в порту Гамбурга. Все было украшено яркими плакатами, как на праздник. Оркестр играл марш, трубы блестели на солнце. Пассажиры махали провожающим. В момент отплытия все стали бросать серпантин, и он раскручивался в воздухе и долетал до причала, и это было все, что в тот миг связывало их с землей. Как он сказал, плавучий госпиталь? Они с отцом танцевали на палубе, а над ними раскачивались спасательные шлюпки. На ней было зеленое шелковое платье, и, чтобы не испортить его, отец обернул правую руку в носовой платок. Она плавала в бассейне, а со стены на нее смотрел Нептун в своей колеснице. И на столах всегда были накрахмаленные салфетки — как паруса кораблей в чистом белоснежном море. А на Мадейре им подавали черную меч-рыбу с жареными бананами, и не важно, что после первого же кусочка она решила дожидаться ужина на корабле, где будут фрикадельки с картофельным пюре. Как бы там ни было, она ела черную меч-рыбу на Мадейре.

Мама никогда раньше не плавала на океанских лайнерах, и поначалу ей было трудно привыкнуть к качке, привыкнуть к чувству, когда под ногами нет надежной опоры. Ей даже казалось, что она не сможет приспособиться к непрекращающемуся движению — она почти пожалела, что согласилась на эту поездку, так было тяжело порой держать равновесие. Однако мама ни словом не обмолвилась отцу, чтобы не расстраивать его, ведь круиз был его идеей, его подарком. Мало того, признавалась она Зиглинде, моментами, когда вокруг не было видно земли, ее охватывал панический страх: куда они плывут, что их ждет впереди. А над кораблем кружили чайки и пронзительно кричали. Пассажиры бросали им хлебные крошки, остатки пирожных и даже кусочки мяса. Папа считал, что нельзя прикармливать диких тварей, ведь это нарушает естественный порядок вещей — не успеешь оглянуться, как они начнут выхватывать еду из тарелок или прямо изо рта. Это звучало благоразумно. Папа был благоразумным человеком, и она поверила, когда он сказал, что земля близко. Она оглядывалась вокруг и видела счастливые пары: те смеялись и наслаждались поездкой, фотографировали друг друга, чтобы потом вспоминать, как им было хорошо, они пили кофе и ели пирожные на палубе, залитой солнцем, дышали морским воздухом, купались в бассейне

с Нептуном и хлопали, когда фейерверки рассыпались в ночном небе и падали в море. Она смотрела на них и думала: и я смогу так, и я буду как они.

Каждое утро начиналось с оглушительного звука трубы и церемонии поднятия флага. День был расписан по минутам, чтобы никто не мог предаваться праздности или сомнениям. Мама и папа вставали рано и шли на ритмическую гимнастику. Они посещали концерты и лекции. Слушали, как немецкий писатель читает отрывки из своего романа: «Он терпеть не мог избранных сынов Израилевых, сам не зная почему: видимо, это было у него в крови»^[3]. Пели на вечерах немецкой народной музыки «Славьте гордый Рейн, в чьих рукавах буйет виноград», и «Люди там тверже дубов», и «Будь верен и честен до последнего вздоха».

Когда мама и папа сошли на берег в Неаполе, их окружили нищие. И тогда они сказали друг другу, как им повезло, что они живут в Германии, где все равны, и у всех есть работа, и дом, и право на льготную путевку в те страны, где можно попробовать черную меч-рыбу с жареными бананами, даже если ты предпочитаешь простую немецкую еду. Мама говорит, что ей очень хотелось побывать в Англии: посмотреть на Букингемский дворец, послушать, как Биг-Бен отбивает время, выпить чаю с долькой лимона и полюбоваться на восковые фигуры, которые так похожи на живых людей, что кажется, будто они вот-вот заговорят. Однако англичане не позволили им причалить, потому что тогда простые люди узнали бы, как хорошо живет немецким рабочим, услышали бы бодрые немецкие песни, учуяли бы запах фрикаделек, увидели бы, как отдыхают немцы на просторных солнечных палубах — и осознали бы свое плачевное положение, ведь в Англии дефицит и очереди, и невозможно достать нормального хлеба.

И если она не ошибается — нет, конечно, не ошибается — Курт был зачат в море, их маленький морячок, их безбилетный пассажир. У нее и сейчас перед глазами их узкая каюта с плотно подогнанным буфетом, крошечным умывальником, встроенным диваном и прикрученными к полу кроватями. Ни один сантиметр не потерян впустую — все на своем месте, все в полном порядке. И голубое небо в иллюминаторе над головой.

* * *

Раз в две-три недели класс Зиглинды выезжал на какой-нибудь завод, чтобы дети могли посмотреть, какие чудесные вещи изготавливает германский народ. Все с нетерпением ждали этих экскурсий: не успевали

они вернуться из одной, как начинали выпрашивать у фройляйн Альтхаус о следующей, но учительница была непреклонна.

— Это сюрприз, дети, — говорила она, улыбаясь.

У нее за спиной сияла чистая доска, а над головой (вдали от негодных детских рук) висел безу-пречно написанный алфавит.

Ходили слухи, что они могут поехать на фабрику игрушек и там увидят целые коробки с кукольными глазами, руками и волосами, груды ненабитых заготовок, йо-йо без веревочек, неразрезанные пазлы и нераскрашенных солдатиков без медалей и лиц. Или, быть может, их привезут на завод, где штампуют нагрудные знаки, и пряжки, и кресты — все те сияющие награды, которые они смогут заслужить, когда станут старше. И им разрешат потрогать их, и подержать в руках, и даже примерить, воображая себя взрослыми, — при условии, конечно, что они все вернут на место, потому что лгунов и воров ждет суровое наказание. Или, возможно, их отправят на завод, где печатают марки, и они увидят, как на огромные листы гуммированной бумаги наносят бесчисленные портреты фюрера, а затем специальная машина пробивает отверстия между этими маленькими фюрерами, чтобы их можно было легко оторвать и наклеить на конверт. Некоторые дети считают, что будет неинтересно смотреть на всех этих бесконечных фюреров, но они, конечно, молчат об этом, потому что каждый знает, что такие вещи нельзя произносить вслух — даже в пустой комнате.

Их школа тоже была в своем роде фабрикой: каждый день они собирали листья тутового дерева для шелковичных червей, которых выращивали во всех классах. Приходилось подчистую обдирать кусты, чтобы прокормить ненасытных, вечно голодных, быстро жиреющих гусениц, живущих в лотках под окнами. Все уроки проходили под их непрекращающееся монотонное жевание. Окуклившихся гусениц увозили, чтобы делать из них парашюты, это знали все. Учителя постоянно напоминали, что нужно чистить лотки и приносить много листьев, ведь это может спасти жизнь летчику. Так они говорили.

— Мы съездим на парашютный завод? — поинтересовалась как-то Зиглинда у фройляйн Альтхаус, однако учительница заявила, что это место не для детей и что они поедут на фабрику печенья.

Новость вызвала оживление, потому что печенье тогда достать было трудно, и всем хотелось попасть туда, где оно водится в изобилии.

Короткая поездка на метро — даже без пересадок — и они оказались на месте. Никто из детей не знал этого района — эту новую, особенную часть города, где делали печенье, игрушки и кресты. Они шагали парами и

слушали фройляйн Альтхаус.

— В состав нашего печенья входят только чистейшие продукты. В нем нет никакой низкосортной корицы или недоброкачественного сахара. Дети, кто знает значение слова «недоброкачественный»? Да, Гризела, все верно, спасибо. Запомните это слово. Масло для нашего печенья дают крепкие германские коровы, выращенные крепкими германскими фермерами. В Англии печенье делают только из муки и воды, дети. Из муки и воды!

Вот мы и пришли. Видите здание фабрики за высокими воротами, видите высокие трубы? Там делают печенье. Нас встречает фрау Миллер. Взгляните, как она одета. По правилам, у работников фабрики может быть открыто только лицо. Нельзя допустить, чтобы в тесто попал хотя бы один волосок. Казалось бы, волос — такая мелочь, но представьте, что вы обнаружите его в печенье. Отвратительно! И для нас совершенно неприемлемо. Хотя в Англии, наверное, требования не столь жесткие. Фрау Миллер закрывает за нами ворота, потому что посторонним запрещено находиться на территории фабрики. Правила санитарии. Так что скажите спасибо, что нам разрешили прийти сюда. Спасибо, мадам, хайль Гитлер и с добрым утром. Да, пожалуйста, пересчитайте нас. Стойте, дети. Прежде чем пройти на производство, где делают печенье, мы должны ознакомиться с правилами. Все слышат и понимают, что нам говорят? Мы должны надеть специальные белые шапочки и специальные бахилы, которые выглядят как маленькие белые облачка. Теперь мы все похожи. Нельзя ничего трогать. Нельзя ничего есть. Если кто-то хочет в туалет, пусть сходит сейчас — только шапочку и бахилы надо оставить здесь. Ни в коем случае нельзя отделяться от группы и ходить поодиночке. Я слышу, кто-то кашляет. Запрещено кашлять. Я слышу, кто-то чихает. Запрещено чихать. Не трогать, не есть, не отходить, не кашлять, не чихать. Хайль Гитлер!

Проходите, проходите. Теперь мне придется кричать, дети, потому что мы на производстве, где делают печенье. Здесь очень шумно. Вообще, женщина не должна кричать. Кричащий мужчина имеет жалкий вид, а кричащая женщина еще хуже. Она визжит, она бросается на людей, она даже может шпилькой ткнуть. Но сейчас другое дело. Это исключение. Все меня слышат? Возьмите друг друга за руки — в целях безопасности. Здесь столько машин! Чаны с мукой и с сахаром, миски для смешивания размером с ванну, ножи для рубки масла, железные крюки и скребки — если какой-нибудь ребенок угодит туда, его живо замесят в печенье. Не забывайте правила. Торчащая косичка, расстегнутая кофта, пальчик, тянувшийся к тесту, — надеюсь, все понимают, какие могут быть последствия. Взгляните на рабочих в чистых белых халатах. Они

изготавливают тысячи галет в день. Мы с вами находимся на одной из самых передовых фабрик печенья в мире! Кто знает слово «передовой»? Молодец, Ханнес, правильно. Выучите слово «передовой», оно очень важное. Мы можем гордиться своим печеньем, дети. Все работники на этой фабрике выглядят одинаково, и их печенье тоже все до единого соответствует высочайшим стандартам, конечно, за исключением сломанного. Оно хоть и не отличается по вкусу, но на продажу не годится, потому что бракованное. Говорят, Фюрер любит выпить вечером чашку чая (он не употребляет алкоголь) с баттеркексом, поэтому каждый год, в день рождения, фабрика посылает ему килограммовый набор своей продукции, которую он находит очень вкусной и питательной. Наше печенье помогает нам в борьбе с англичанами, которые даже приличного печенья сделать не могут.

Октябрь 1940. Близ Лейпцига

Эрих Кренинг рос тихим ребенком. Когда к ним на ферму заходили незнакомые люди, чтобы узнать, можно ли купить фрукты, яйца или мед, он всегда прятался за юбку матери. Да и от нее самой тоже нередко прятался: Эмилия находила его под кроватью, где он рисовал замысловатые фигуры на пыльном полу и бормотал что-то на своем языке, или в конюшне, где он шептался с их лошадью Роньей. Когда мать спрашивала, хочет ли он есть, малыш мотал или кивал головой; когда спрашивала, устал ли он, либо просто продолжал играть, либо ложился на кровать и закрывал глаза. Пушистые соломенные волосы и небесно-голубые глаза делали его похожим на прелестную куколку. Когда Эмилия брала его с собой в деревню, он тихо сидел в телеге и не сводил глаз с неба, будто высматривая что-то в его синеве.

На рынке другие матери останавливались, чтобы полюбоваться на Эриха. «Ваш первенец? — спрашивали они. — Первые дети всегда особенные». Его угощали спелыми вишнями и ломтями домашнего сыра, трепали по щеке и волосам, а он от смущения не знал, как увернуться.

Только с бабушкой, которая заходила к ним по воскресеньям после церкви, он был совсем другим. У меня чистое и простое сердце, говорила она ему. Я пою и никогда не кричу. Бабушка Кренинг, невысокая и мягкая, всегда носила черное платье и скалывала седые, как крыло горлицы, волосы в аккуратный пучок. Она сажала Эриха к себе на колени и учила старинным песням про водяного, который заманивал к себе девушек, про розы, которые падали с небес как снег, про вино, проливавшееся дождем, про соловьев и воронов, которые умели говорить, как мы с тобой, и про путников в далеких краях. Поначалу Эрих подпевал неразборчиво, постепенно выучил все слова, и если бабушка останавливалась посередине фразы и вопросительно смотрела на него, то продолжал сам, отправляя птиц на ветки, рыб — в ручьи, розы — в долины, а путников — в леса.

— Идеальный ребенок, — говорила бабушка. — Просто идеальный. Когда же у него появится братик или...

Но эту фразу никто не заканчивал.

В день рождения мать разбудила Эриха в семь часов. Он еще до конца не проснулся и смотрел на нее отстраненным взглядом.

Эмилия почувствовала запах мочи. Опять. Как же она мечтала, чтобы время шло быстрее, чтобы все это уже кончилось, и он оставался сухим всю ночь. Однако, напредила она себе, могло быть и хуже. Гораздо хуже. «Ты, ты, ты», — закричала лесная горлица.

Эриху исполнилось пять лет — возраст, когда цвета, запахи, звуки и вкусы начинают сплетаться в картины, навсегда остающиеся в памяти: затхлый изжеванный мишка без глаз, капли, падающие из лейки на прелую землю, жесткий деревянный стул, гроыхающий по полу белоснежной детской. Кто знает, почему одни ощущения запоминаются на всю жизнь, а другие рассеиваются, как дым в небе? И почему порой остаются одни обрывки: случайные радости и полусознанные страхи?

— Не спеши, золотце, — говорит Эмилия за завтраком. Эрих слишком быстро заглатывает еду, что плохо для пищеварения.

Он возит свою новую деревянную змею по столу, и она стучит, обвиваясь вокруг молочника.

— Как говорит змея? — спрашивает Эмилия.

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш, — отвечают вместе Эрих и Кристоф.

После завтрака Эмилия умыла и причесала сына, пригладив ему волосы водой. Он — ее солнечный мальчик, голубоглазый и светловолосый. Раса становится все лучше, это очевидно, достаточно взглянуть на детей.

Эрих просунул маленькую теплую ручку в ее ладонь и везет деревянную змею по полу. Стук. Стук.

К обеду он очень устал и, когда пришли тетя Улла и бабушка Кренинг, плакал без умолку. Брыкался и опрокинул молоко. И все не успокаивался, и смотрел на них, как на чудовищ.

— Да что это с ним?! — воскликнула Эмилия.

— Что говорит медсестра? — поинтересовалась бабушка.

— Надо ждать, само пройдет.

— А по-моему, ничего особенного, — вмешалась ее сестра Улла (у нее не было ни мужа, ни детей, откуда ей знать). — Бывает, дети кричат без особой причины. Это нормально.

— Да, — кивнула Эмилия.

Они строили ему смешные рожи и трясли перед ним мишкой, приговаривая бессмысленные ласковые слова. Посмотри, посмотри на свою маму, повторяла она, стараясь отвлечь его. Она говорила на разные голоса и изображала руками паучка и серого волка. По кочкам, по кочкам

— пела она, еле удерживая на коленях брыкающегося мальчика. В ямку — бух. Она сунула ему в рот лейпцигского жаворонка, маленькое пирожное в виде птички с конфитюром вместо сердца. Потом, уже стерев молоко с пола и с книги про животных, подаренной тетей Уллой, крепко обняла Эриха и прошептала: «Ты сам подарок. Ты-ты». Но тот, кто шепчет, — лжет.

* * *

Я наблюдаю, как Эрих листает новую книжку с разрезанными на три части страницами: приставляет голову медведя к телу льва и собачьим лапам, крылья утки соединяет со слоновьей головой и козлиными копытами — бесконечный паноптикум уродцев, не попавших на ковчег и смытых потопом. Такое беспощадное рассечение и беспорядочное смешивание тревожит меня. Я не виню мальчика, ведь он не понимает, что все эти существа нереальны, и даже если бы появились на свет, то не выжили бы — настолько они безобразны и далеки от нормы. Взрослые же спокойно наблюдают за игрой мальчика, и их улыбки отражаются на его лице, их смех становится его смехом, и никто не считает книгу — саму ее задумку — тревожащей.

Вечером Эмилия отводит Эриха в детскую и укладывает спать — быть может, чересчур настойчиво. Мальчик брыкается, но мать прижимает его голову к подушке, приказывает спать и накрывает его зеленым атласным одеялом. Оно прохладное на ощупь и шуршит, как коса Кристофа, срезающая спелую пшеницу. Эмилия повторяет и повторяет его имя: Эрих, Эрих, Эрих, а он смотрит и смотрит на нее своими голубыми глазами. Она зажигает лампу рядом с кроватью. По прозрачному абажуру летят птицы, от жара лампочки он начинает вращаться.

Тени птиц скользят по стенам, колеблются на занавесках и сгибаются пополам в углах.

— Ш-ш-ш-ш, — шепчет Эмилия, будто ветер качает сосны.

Пчелы гудят в ульях. Что-то изменилось.

Ноябрь 1940. Берлин

Сцена театра подготовлена к речи фюрера. Две дамы сдают меха гардеробщице, которая даже не утруждает себя улыбкой и, кажется, вовсе не является немкой. Дамы находят свои места. Они в десятом ряду, и сцену видно вполне прилично, пока перед ними не садится крупная девица со светлыми высоко подколотыми косами. Пышные волосы (наверняка фальшивые, как решили дамы) закрывают весь обзор. Таким людям не мешало бы хоть иногда заглядывать в зеркало, замечают они, но это, конечно, не испортит им вечер. Через оперные бинокли дамы наблюдают за выступлением одного актера, внимают лихорадочному монологу, гремящему со сцены: мечи и кровь, кровь и земля, предательство и жертва, личина, спасение — все традиционные и трагические темы. Как дамы аплодируют! Как восхищаются!

Фрау Миллер: Вы только взгляните, его слова — они блестят в свете софитов, они падают как дождь.

Фрау Мюллер: Если бы мы сидели ближе, они бы падали на нас.

Фрау Миллер: Это единственные места, которые мне удалось достать, фрау Мюллер. Нам вообще повезло, что мы здесь. Вы не видели очереди.

Фрау Мюллер: Все равно, если бы вы пришли чуть раньше...

Фрау Миллер: С утра Габи позировала для портрета. Я же не могу разорваться, знаете ли.

Фрау Мюллер: Конечно, конечно. Получилось удачно?

Фрау Миллер: Неплохо, даже усы видно, и хвост держит как надо. Но фотографу так и не удалось поймать момент, когда она вскидывает лапу.

Фрау Мюллер: О, как жаль. После всех тренировок...

Фрау Миллер: Увы. Я говорила «Хайль Гитлер», и Габи поднимала лапу, но фотограф то торопился, то опаздывал.

Погода фюрера

Оставив рано детские забавы,
Я играм шумным лиру предпочла,
И уносилась от — оравы
В безмолвный край, где — жила.
И пусть порой фальшиво и без блеска
Звучал глухой напев — и слишком резко,
Как — расколотый хрипит, —
— к — в груди моей горит.

Декабрь 1940. Берлин

Дни мелькают за днями: голубые и золотые, голубые и зеленые, весна и осень, рассветы и сумерки, тогда и сейчас, снова и снова, и все сразу.

— Можешь дышать? — спрашивает папа, затягивая ремень.

Мы слоны, мы трубказубы, мы большеглазые стрекозы. Наши ладони сложены, наши головы преклонены, на наших устах имя твое, Адольф Гитлер.

— Да, — кивает Зиглинда.

На ночь девочка кладет свой противогаз рядом с кроватью. Она не спит, и ждет сирену, и представляет, как золотой гребень скользит по золотым волосам. Стихотворение само всплывает в памяти — правда, фройляйн Альтхаус сказала, что это не стихотворение, а баллада, старинная народная немецкая песня. Почему же тогда они не поют, а декламируют ее хором? Зиглинда не спит и ждет, когда над головой начнут разрываться бомбы, а строчки сами приходят к ней: мчится челнок одинокий к гранитной скале^[4]. О, темная вода.

— При первых звуках сирены надо немедленно проснуться, — объясняет папа. — Вскочить с кровати, взять маску и чемодан и спешить — спокойно, без паники — в подвал.

Не могу понять, отчего у меня так тяжело на сердце. Все вскакивают с кроватей, хватают маски и маленькие чемоданчики, упакованные и подготовленные как будто для отпуска. Быстро спускаются в подвал. Метцгеры со второго этажа еще только выходят из квартиры. Герр Метцгер в своем теплом черном пальто, пропитанном запахом камфары. Его жена в мехах: соболь, шиншилла, норка грудой вздымаются на плечах. Запястья, пальцы, уши и горло увешаны драгоценностями. Она спит в них? Они зарыты в ее снах?.. Герр Метцгер поддерживает жену, которая спускается очень медленно. Герр Шнек, комендант дома, кричит им: «Поскорее! Тревога не учебная. Надеваем маски. Раз-два, зак-зак!»

Они спускаются, все ниже и ниже. В подвале холодно, даже холоднее, чем в непротопленных квартирах. Земля гудит от ударов бомб: невидимый монстр гуляет по городу.

— Помните: разговаривать запрещено, — объявляет Шнек.

— Мы здесь надолго? — вздыхает фрау Метцгер.

— Не разговаривать, — предупреждает Шнек.

— Мой артрит...

— Тихо! — повторяет Шнек.

— Мам, а он почему разговаривает? — интересуется Зиглинда.

Шнек поворачивается к ней.

— Я говорю, чтобы сказать, что нужно молчать.

— Совершенно верно, — шепчет герр Шуттманн.

— Т-с-с-с, — шипит Шнек.

— Я не говорю, я шепчу, — заявляет герр Шутт-манн.

— Но теперь-то говорите!

— Я просто хочу объяснить, герр Шнек, что ваше замечание было необоснованным, поскольку я не говорил, а шептал.

— Все равно вы расходуете воздух. На каждого отведена определенная мера, и вы потребляете больше, чем полагается.

— Теперь и воздух у нас по карточкам, — шутит кто-то, и смех эхом раскатывается по подвалу.

— Кто сказал? — взвизгивает Шнек.

Тишина.

— И еще, — заявляет Шнек. — Не надо пугать детей бомбами.

Зиглинда хочет спросить его, правда ли, что англичане красят самолеты специальной краской, от которой те становятся невидимыми и неуловимыми для прожекторов, — однако не решается. Курт начинает реветь, от его крика просыпается другой ребенок, и еще один, и еще один. Весь подвал заполняется плачем.

— Дамы, дамы! — вопит Шнек. — Уймите своих младенцев.

— Они еще малы, — говорит папа. — Их легкие не расходуют много кислорода даже во время плача.

Шнек внимательно изучает Курта и малыша Шуттманнов.

— Логично, — соглашается он.

— Благодарю, — отвечает папа.

— Не разговаривайте, — повторяет Шнек.

— Ш-ш-ш-ш, — матери качают младенцев. — Ш-ш-ш-ш.

Легкая рябь на темной воде.

Только после официального заявления рейхсмаршала Шнек смягчает правила.

— Теория экономии кислорода оказалась научно не обоснованной, — объявляет он. — Недостаток воздуха возможен только в полностью герметичных бомбоубежищах, а таких не существует, так что нам нечего опасаться. Автор этого нелепого правила понесет соответствующее наказание. К счастью, герр Геринг раскрыл нам глаза на истинное положение вещей, теперь мы можем разговаривать сколько угодно.

Тишина.

* * *

Бригитта Хайлманн спит очень чутко. Нередко она просыпается среди ночи, когда весь дом погружен в сон, и даже Шнек уже не несет свою вахту. Все ночные звуки ей хорошо знакомы: колеса электропоезда, прибывающего на станцию Савиньи-Плац, рассекают темноту; потрескивает, остывая, черепичная крыша; стучат по лестнице каблучки танцевальных туфель фройляйн Глекнер, когда она, вопреки правилам, возвращается домой за полночь: двенадцать ступенек, пролет, двенадцать ступенек, пролет. И более близкие звуки: Юрген и Зиглинда время от времени что-то бормочут во сне, младенец вздыхает и похныкивает, старинные напольные часы, привезенные из фамильного дома Хайлманнов, отстукивают час ночи. И еще ближе: дыхание мужа во сне — очень прерывистое, будто он раз за разом видит один и тот же кошмар, будто его раз за разом нагоняет страх. Сегодня к этим привычным звукам добавляется что-то новое — или ей только кажется. Звук выламываемой двери, царапающий скрежет тяжелой мебели по паркету.

— Готлиб, — шепчет она, трогая мужа за плечо. — Готлиб, ты слышишь?

Он что-то бурчит и поворачивается на другой бок, Бригитта убирает руку. Она встает и на ощупь пробирается к двери, с трудом различая предметы в затемненной спальне. Она заглядывает в зеркало, но видит там лишь смутную тень в ледяной черноте. И что это за рука? Ее собственная? Или это ваза в форме ладони, которая стоит на туалетном столике на ажурной салфетке? Ее подарил Готлиб в самом начале их знакомства. Изящная и бледная, она напоминает руки в рекламе мыла, наручных часов и ароматизированного лосьона: «Питайте кожу, укрепляйте нервы. Зеркало не врет, руки выдают ваш возраст. Самочувствие зависит от сердца, внешний вид — от кожи». Поначалу Бригитта даже ставила в нее цветы, однако ваза оказалась очень неустойчивой и падала всякий раз, стоило хоть немного задеть столик. Готлиб дважды клеил основание и один из пальцев — трещины почти не заметны, но вода стала подтекать. Когда Зиглинда была маленькой, Готлиб сказал ей, что это рука дамы, которую затянуло внутрь туалетного столика, и теперь она машет и стучит по ночам, чтобы ей помогли выбраться. Это так напугало Зиглинду, что она боялась даже проходить рядом со столиком, пока Бригитта не подняла вазу и не показала,

что снизу ничего нет — и дамы тоже.

На лестничной площадке опять раздается шум, будто что-то перетаскивают или ломают. Готлиб вздыхает во сне.

* * *

По субботам после школы мама обычно брала Зиглинду и ее братьев к тете Ханнелоре. Та жила в Далеме, самом респектабельном районе Берлина, в величественном доме, фасад которого украшали фигуры детей, поддерживающих карнизы на вытянутых руках. В подъезде сверкали зеркала, канделябры и латунные дверные ручки, отполированные до золотого блеска. Тетя, высокая элегантная дама с глубоко посаженными зелеными глазами и шелковистыми каштановыми волосами, привыкла жить в достатке. Она умела выбирать хрусталь и вести непринужденную беседу. Она так разговаривала с лавочниками и рыночными торговцами, что ей всегда доставалась самая свежая рыба и самые крупные яйца. Ее просторная квартира на первом этаже выходила окнами во внутренний двор, засаженный дубами и каштанами. Летом их зеленые кроны давали прохладную тень, а зимой голые ветви пропускали солнце. Полы были устелены настоящими персидскими коврами, фотографии вставлены в рамки из чистого серебра. Некоторые семьи в ее доме держали прислугу, свою тетя распустила, когда умер муж и она на какое-то время оказалась стеснена в средствах. Тетя была на двенадцать лет старше своего брата Готлиба, все четверо ее сыновей уже выросли и служили в вермахте, старший в звании обер-ефрейтора. Она не снимая носила свой почетный крест немецкой матери.

— Проходите, проходите, — говорила она, провожая Хайлманнов через прихожую, где стояла дубовая скамья, украшенная резьбой в виде танцующих медведей, которая всегда манила Зиглинду, прямиком в гостиную со стульями, обитыми штофом, и бамбуковой ширмой, расписанной в японском стиле. На столе пыхтел самовар — осторожнее, дети, не трогайте, — а на голубой тарелке китайского фарфора лежало любимое лакомство Юргена: пряное хрустящее рождественское печенье. И откуда тетя брала дефицитные пряности? Мама говорила, что их сейчас не купишь, однако тетя Ханнелора всегда, а не только в зимние праздники, пекла такое печенье для Юргена и позволяла ему обгрызать краешки, доходя до очертаний ветряных мельниц, русалок, замков и кораблей, вместо того, чтобы аккуратно откусывать по кусочку, как положено

воспитанным детям. Мама хоть и считала, что тетя балует ее сына, но высказывала недовольство только дома. В гостях она не говорила ни слова против, даже когда тетя бралась наряжать Зиглинду: делала ей взрослые прически, пудрила щеки и нос, красила губы, заворачивала в дорогие туалеты — а девочка путалась в свисающих рукавах и наступала на подол.

— Как бы я хотела иметь такую дочку, — говорила тетя, оправляя матросский воротник на платье Зиглинды. — Тебе повезло, Бригитта. Сыновья любят своих матерей, пока малы, а дочери заботятся о них до старости.

Большая часть драгоценностей, принадлежавших бабушке Хайлманн, была распродана в годы Великой депрессии, однако у тети Ханнелоры сохранились украшения из берлинского чугуна, доставшиеся ей в наследство от прабабки: пара широких ажурных браслетов и кольцо с надписью «Я сдала золото за железо». Это было не личное послание, которое гравировали с внутренней стороны, как на мамином обручальном кольце — «Любимой 13.6.33». Надпись шла снаружи, чтобы все ее видели. Тетя носила это кольцо вместо обручального, как и ее прабабка, а по особым случаям — в день памяти героев и в день рождения фюрера — надевала еще и чугунные браслеты. Люди на улице останавливались, чтобы высказать восхищение ее безупречным происхождением и подвигом ее семьи.

— Твоя прапрабабушка отдала свои украшения ради победы нашего народа в войне, — рассказывала она Зиглинде. — Не в этой, конечно, а в другой. Себе она не оставила ничего, даже обручального кольца, и взамен получила это.

И тетя показывала свое железное кольцо и крутила его на пальце, чтобы Зиглинда могла прочитать надпись. Она доставала чугунные браслеты из коробки, обитой небесно-голубым шелком, и надевала девочке на руки.

— Ничего, — говорила она, когда браслеты соскальзывали с детских запястий. — Дорастешь.

У мамы было всего одно семейное украшение Хайлманнов — подаренная папой на свадьбу золотая брошь в виде ветви с зелеными эмалевыми листьями и белыми цветами, выложенными будто жемчугом. На самом деле это был не жемчуг, а зубы — папины молочные зубы. Бабушка Хайлманн заказала брошь, еще когда папа не вырос. Мама говорила, что вещица не в ее вкусе, и иногда, в качестве поощрения, разрешала Зиглинде примерять ее.

Когда они вернулись от тети в тот вечер, девочка попросила

разрешения надеть брошь.

— Это эдельвейс? Подснежник? — спросила она, проводя пальцем по изящному стеблю и разглаживая тончайшую цепочку.

Мама ответила, что не знает. Скорее всего, такого растения вообще не существует. Но в глазах девочки это только добавило украшению очарования.

— Папа был таким же маленьким, как Курт? — поинтересовалась она, и мама ответила, что да, папа был младенцем, и у Зиглинды в руке доказательство — его молочные зубы.

— Тебе понравилось в гостях? — спросил папа.

После обеда в субботу он оставался дома один и с удовольствием вырезал силуэты.

— Я мерила ее браслеты, — выпалила Зиглинда. — Раньше они были золотыми, а теперь стали чугунными.

— Мы хорошо провели время, — вставила мама. — Не представляю, как Ханнелоре удастся поддерживать такую идеальную чистоту. Особенно учитывая размеры квартиры.

Папа засмеялся и сказал, что у женщин есть одно поразительное умение, которого нет у мужчин: они могут одновременно и поцеловать подругу, и уколоть ее шпилькой.

* * *

В ту ночь Бригитта снова слышала шум и снова встала с постели, чтобы понять, откуда он идет. Она отдернула светомаскировочную штору и выглянула в окно — на Кантштрассе все было спокойно. Она прислушалась. В столовой. И правда, когда она включила свет, ей показалось, что что-то изменилось. Пропало или добавилось? Граммофон стоит между окнами, радио и рефлектор на журнальном столике, диван и стулья на обычных местах, спинки и ручки прикрыты салфетками, чтобы не лоснилась обивка, портрет фюрера на почетном месте на пустой стене. Пианино где обычно, табурет задвинут, как и полагается, когда никто не играет, ноты под кружевной салфеткой, в углу печь-голландка. Бригитта дотронулась — еще теплая. Рядом скрученные газеты, подготовленные для утренней растопки, подрагивают уголками, как крыльями. «Думайте о победе днем и ночью». «Голландский остров Толен капитулировал». «Шесть „мессершмиттов“ подбили 13 английских истребителей». Бахрома персидского ковра расправлена — конечно, это не настоящий персидский

ковер, но настолько похож, что только перс сможет распознать подделку. А часто ли к вам заглядывают персы, спросил тогда любезный молодой продавец в универмаге «Вертхайм», и они с Бригиттой рассмеялись, представив, как в квартиру Хайлманнов, район Шарлоттенбург, Берлин, заявится персидский джентльмен в шароварах и шлепанцах с загнутыми носами. В углу стоит вишневый буфет, уцелевший с прежних времен, слишком массивный для их квартиры, — вот-вот упадет, похоронив под собой кого-нибудь из проходящих мимо домочадцев. Он да еще напольные часы — вот, пожалуй, и все, что осталось от фамильного особняка Хайлманнов в Груневальде. Бригитте гораздо больше нравилась резная дубовая скамья с медведями, но она отошла Ханнелоре. В тусклом свете Бригитта заметила свое отражение в полированной стенке буфета — расплывчатая фигура, будто нездешняя. Но нет, сказала она себе, комната все та же. Их комната в их квартире в их доме. Все на своих местах.

* * *

— Дети, подходим ближе, ближе. Сегодня я не собираюсь кричать. Вы видите, дети, ряды этих чудесных новых радиоприемников? Пока они еще пустые, однако к концу производственной линии они станут полноценно функционирующими. Функционирующими, дети, — полезное слово. Кто может подобрать синоним? Отлично, Зиглинда. Все добавьте его в свой список полезных слов — пока мысленно, а когда вернемся в школу, запишем в словарики и заучим. Здесь рабочие собирают детали вместе, чтобы радио заработало. Помните, дети, если у вас есть дельный вопрос, вы можете его задать. Только взгляните, сколько разных деталей! И если хотя бы одна из них потеряется или попадет не на свое место, то радио будет бракованным, совершенно бесполезным. Бракованный, дети? Бракованный? Еще одно слово в ваш список. Теперь вы понимаете, насколько это сложный прибор. Сложный, но доступный, поскольку в нашей стране радио должно быть в каждой семье, вот почему они носят гордое название «Фолькс-Эмпфенгер», народный радиоприемник. Здесь мы должны сделать паузу, дети, и сказать спасибо нашему фюреру, герру Гитлеру, и нашему гауляйтеру, доктору Геббельсу, даже если их нет здесь с нами.

Наши приемники особенные, дети. Знаете почему? Они не путаются с кем попало. Что я имею в виду? Они не только доступные и красивые — да, Ютта, я согласна, они похожи на церкви, на маленькие церковки для

кукол и мышат, — так вот, они еще и очень избирательные, они принимают только немецкие станции. Наши народные радиоприемники просто отказываются принимать чужие сигналы. Английские и американские радиоприемники оглашают все подряд, что попало, в том числе опасные и мерзкие истории, которым не место в приличном доме. Они хватают и вываливают на вас все сигналы, которые есть в воздухе. Вы только взгляните, дети, насколько аккуратны наши рабочие — насколько опрятны и точны. Эти радиоприемники будут передавать голос фюрера, голос гауляйтера, новости о наших победах, музыку Баха и Бетховена. Они не пропустят сплетни, клевету и чуждые нам рваные ритмы. Мы будем слушать концерты по заявкам, чтобы сплотиться с храбрыми солдатами, которые на фронте куют нам победу. Вместе с ними мы будем слушать песни «Спокойной ночи, мама», «Три лилии» и даже залихватскую «Ничто не смутит моряка». И мы сможем узнать имена новорожденных, чьи отцы сейчас на войне и, возможно, еще пока не догадываются, что стали отцами. А сейчас, дети, взгляните на последнего рабочего в производственной линии. Что он делает? Когда все детали установлены и корпус скреплен? Какова его работа, дети? Мы не можем спросить у него, потому что, кажется, он вообще не говорит по-немецки. Зато мы можем увидеть, что он наклеивает предупреждения, маленькие знаки, предписывающие, как себя вести. Потому что с народным радио нельзя обращаться плохо, нельзя искать вражеские передачи. Будьте благоразумными и помните об этом, дети.

* * *

Никому, кроме папы, не разрешалось включать радиоприемник. Тот стоял на маленьком столике у дальнего края дивана, словно наблюдая за семьей и взвинчивая атмосферу. «Стремиться заглянуть в будущее — дело неблагодарное, — вещало радио. — Мы, национал-социалисты, редко выступаем с прогнозами, но уж если беремся, то не ошибаемся»^[5]. Когда сигнал ослабевал и появлялись посторонние призрачные голоса, папа брал провод в руки и разгонял призраков, пока истинные слова не начинали звучать четко, пока они не начинали пульсировать в нем как кровь. Папа не разговаривал с Зиглиндой, когда говорило радио. Если она открывала рот, чтобы задать вопрос, он поднимал руку, приказывая подождать. Вдруг Германия уже выиграла войну, а они не знают?

Вечерами папа вырезал силуэты. Зиглинда сидела рядом и наблюдала,

как из черной бумаги рождаются фигуры: соборы и горные вершины, ели и лисы, ночные птицы, задевающие крыльями темные дома. Свет люстры отражался в папиных очках, и тогда Зиглинда не видела папиных глаз, оставался только блеск стекла. Она знала, что другие отцы сажают своих дочерей на колени и рассказывают им разные истории. Папиными историями как раз и были силуэты, и Зиглинда не сердилась, что они занимают ее место на коленях. Пока папа работал, она изучала его наручные часы, закрывала их ладонями, чтобы увидеть, как в темноте стрелки светятся зловещим зеленоватым светом. Маленькие стрелы, нацеленные то на маму, то на нее, то на черную бумагу, опадающую, как сухие листья, то на папино сердце. Папа аккуратно отодвигает руку и продолжает резать: вот птичка, а вот отверстие в виде птички, вот дом, а вот пустота, которая осталась на его месте. Когда он снимал часы перед сном, Зиглинда знала, что на запястье остается бледная полоса, как памятка, чтобы утром он не забыл надеть их обратно перед работой. У папы была очень важная работа, на которую нельзя опаздывать и на которую он всегда приходил вовремя.

Перед сном папа чистил зубы и засекал время по часам: одну минуту на верхнюю челюсть и одну минуту на нижнюю. Потом он клал часы рядом с кроватью, где они продолжали отсчитывать время, даже когда хозяин спал. Каждый час стрелки встречались, будто ножницами отрезая ночь по куску. Когда Зиглинде снились кошмары, она пробиралась в родительскую спальню и в темноте различала тускло светящиеся стрелки на папиной прикроватной тумбочке. Ей не удавалось уловить их движение, хотя очень хотелось убедиться, что время не застыло, что утро в конце концов наступит. И тогда, чтобы перехитрить их, она отворачивалась, притворяясь, что не смотрит, а краем глаза продолжала наблюдать. На туалетном столике стояла ваза в виде руки, бледная как луна. Она шевелится? Пальцы вздрагивали от далекого шума самолетов. В такие ночи, когда был слышен гул, Зиглинде очень хотелось забраться в кровать к родителям. Но это же не цыганский табор и не волчье логово.

* * *

Бригитта окинула взглядом скудные запасы кладовой и нахмурилась. Заглянула во все кухонные шкафчики и ящики, проверила книжные полки и сервант в гостиной, где хранились парадные скатерти и маленькие зеленые чашки для кофе. Осмотрела шкафчик с лекарствами, шифоньер, шляпные

коробки и жестяные банки. А вдруг случится что-то ужасное?.. Бомбили их редко, но все шептались, что скоро будут чаще. Это не давало ей покоя, мешало спать. Что у нее останется? Требуется подробная опись, требуется документальное подтверждение того, что у нее все это было. Удивительно, подумала она, насколько вещи врастают в нашу жизнь, становятся неотъемлемой частью привычной обстановки. Человек может пользоваться ими каждый день, даже не замечая: кофейник, без которого не обходится ни один завтрак, кольцо с полустертой надписью — еще из тех времен, когда хотелось давать друг другу ласковые прозвища... Если вдруг все эти вещи превратятся в пыль, сможет ли человек вспомнить, как они выглядели? «Белый с голубым ободком». «Ребристое из розового золота».

Бригитте вспомнилось представление в варьете Винтергартен, на которое пригласил ее Готлиб вскоре после их знакомства. Исполнитель попросил зрителей придумать историю, чем сложнее, тем лучше. И затем, к всеобщему восхищению, повторил ее слово в слово. Когда все кричали и аплодировали, Бригитта взглянула на Готлиба, старясь представить их будущее, когда для нее станут привычными и линия его подбородка, и длинные тонкие пальцы, и укромный завиток уха. В чем тут фокус? Какому инструменту мы даны?^[6]

Бригитта развернула гротеск. Она выбрала его за плотный корешок и мраморную обложку; внушительная тяжесть давала успокоение ее тревожным рукам. Расчерченные страницы, поделенные на ровные строки и одинаковые столбцы, не несли никаких сюрпризов, никаких потрясений. Бригитта принялась за работу.

* * *

Когда Зиглинда и Юрген вернулись в обед домой, мама осматривала посуду, расставленную на кухонном столе. Как птица клювом простукивает свою кладку, так и она по несколько раз стучала ногтем по каждой тарелке, чашке, миске, а потом записывала что-то в большую книгу. Ящики и шкафы стояли открытыми. Зиглинде стало не по себе при виде всех этих вещей. Там были праздничные и опасные предметы, предметы слишком ценные или слишком хрупкие, чтобы их разрешалось брать детям.

Обед не томился на плите и не остывал на столе — его просто не было. Может, мама сама только что пришла домой? Может, она стояла в очереди, но ей ничего не досталось? Зиглинда слышала, как Курт плачет в своей кровати в детской. Юрген залез под стол и стал давить своих солдатиков

танком, одного за другим.

— Мама, — сказала Зиглинда, — помочь тебе приготовить обед?

— Надо составить опись. Видишь? Описать каждую вещь, присвоить ей код в соответствии с размером и назначением, а затем по порядку внести в список.

Зиглинда ничего не ответила и принялась готовить для братьев бутерброды с полупрозрачными кусочками колбасы. Казалось, мама ничего не замечает, она даже не села поесть — у нее слишком много работы, сказала она. Неужели мама не голодна? У Зиглинды живот постоянно сводило от голода.

На протяжении нескольких недель мама планомерно описывала всю квартиру: домашние тапочки, книги, пазлы, граммофонные пластинки. Досконально осматривала каждый сантиметр каждой комнаты, будто что-то потеряла. Пересчитала всех солдатиков Юргена и все ленты Зиглинды. Все скатерти, повседневные и торжественные из белого дамаста, которые доставались, только когда приходила тетя Ханнелора. Все антикварные зеленые чашечки для кофе с такими крошечными золотыми ручками, что их страшно было брать. Все электрические лампочки в люстрах и все конверты в письменном столе. Все клочки старых фартуков и рубашек, которые теперь использовались для вытирания пыли. Куски мыла. Пары ножниц. Вязальные спицы. Клавиши пианино. Вазы, превращенные в руки. Зубы, превращенные в брошки. Старые заточенные лезвия, сложенные в стеклянную банку. Стеклянные банки. Шпильки и бутылки. Марки и ведра. А когда она закончила — начала снова, потому что, конечно, не исключены ошибки, она же не машина, да и к тому же вещи меняются — меняются постоянно, смотришь ты за ними или нет, но особенно, когда нет. Зиглинда наблюдала, как мама перебирает столовые приборы, бокалы, повседневный и парадный фарфор и вносит поправки в мраморный грессбук. Надо следить за вещами, повторяла мама, когда Зиглинда по ее просьбе разворачивала наволочки и простыни, чтобы проверить, нет ли на них пятен. Затем Зиглинде нужно было сложить их и вернуть в ту же стопку, на ту же полку, откуда она их достала. Аккуратные, чистые белые квадраты. Если к концу дня удавалось все рассортировать и пересчитать, тревога отступала. Мама могла сесть и отдохнуть.

* * *

Папа вырезал рождественский силуэт: одинокий заснеженный дом, а

над его трубой дым складывается в надпись «Frohes Fest»^[7]. Кому предназначено это невесомое пожелание? Снегу? Луне? Я вижу, как в сочельник он вешает дом на ветку рождественской ели. И откуда в центре города, на четвертом этаже многоквартирного дома, вырос этот сверкающий лес? Зиглинда с мамой сделали пряничный домик. В свете свечей он выглядит как настоящий, как те пряничные домики, которые они пекли раньше — со сдобными стенами, покрытыми глазурью и конфетами, и с лакричной черепицей на крыше. Папа говорит, что они отлично потрудились, только вблизи можно рассмотреть картонные стены, оклеенные разноцветной бумагой.

В этот вечер фюрер пребывает везде, где собираются немцы. Впустите меня, детки, зима так холодна, скорей откройте двери, замерзаю я^[8]. Где бы мы ни были, он пребывает с нами: искрится в морозных узорах на стекле и в пламени свечей на рождественском венке, вплетает свой голос в наши гимны — роза взошла чудесно из нежного корня. Бог оставил свой трон в небесах, падает так мягко на крыши и ступени — тихо, тихо, тихо, — собирается на пороге, напирает на дверь, перекрашивает весь мир в белый цвет. Прячет все мерзкое, бесплодное, пустое. Возрадуемся. Он дышит в дымоходы, раздувая огонь. Он поднимает свой бокал вместе с нами, пробирается в тихие комнаты и прячет подарки. Завтра, дети, вы получите сюрприз. Он склоняет голову и возносит благодарность за все, что грядет. Он отрезает голову рыбы с пустыми глазами и предупреждает, что могут быть кости.

Его ли я слышу в промозглых звуках церковных колоколов? Его ли голос сплетается со скорбным гудением органных труб, широких, как плечи взрослого мужчины, и тонких, как рука ребенка? Он ли это в хлеву? Он ли заглядывает в ясли? Он ли несет нам добрую весть? Он ли горит, как большая кованая звезда, закаленная надеждой?

Я видел его там, я видел его таким.

Апрель 1941. Близ Лейпцига

Одно из первых воспоминаний Эриха — как мама держит его за запястья и кружит, кружит. Сад сливается в желто-зеленые полосы, а перед глазами — в центре мира — мамина белая юбка, раздутая колоколом. Его смех сыплется с губ, а ее — с неба. Он помнит это кружение — все быстрее и быстрее, так, что кажется, будто воздушный вихрь несет его и отрывает от мамы. Будто сейчас он взмоет и полетит далеко в неизвестные края, откуда нет дороги домой.

С таким чувством — чувством кружения — он и проснулся той ночью, когда началась лихорадка. Он уже был сильно простужен, и мама запрещала ему гулять — осторожность не помешает, повторяла она. Однако вопреки всем предосторожностям началось воспаление легких. Я вижу, как она протирает его лицо влажным полотенцем, прикладывает руку ко лбу, помогает приподняться, чтобы глотнуть воды. (Лихорадка? Жажда? Мне незнакомы эти чувства. Но я бы не хотел остаться с ними наедине.)

На две недели Эриха посадили на карантин. Навещающим запрещалось заходить к нему в комнату, папа же сам решил на это время воздержаться от общения с сыном. Тетя Улла и бабушка Кренинг, придя в гости, зовут его из коридора и спрашивают, как он себя чувствует.

— Что, совсем не лучше? — удивляются они. — Ты уверен?

Эрих видит, как поблескивает золотой крестик, висящий у бабушки на шее, различает светлые волосы тети (они такого же цвета, как у мамы, только гораздо тоньше и короче). Мама по часам приносит ему еду и книжки, которые он может рассматривать сам, и игры, в которые можно играть одному. Она накрывает его четырьмя пуховыми одеялами, чтобы сбить температуру. Папа даже разрешает ему посмотреть альбом с сигаретными карточками — это не просто разрозненная коллекция, а целая книга с историями из жизни фюрера. Все карточки пронумерованы, чтобы, расставляя их, нельзя было ошибиться и положить фюрера, посещающего дом Шиллера в Веймаре, рядом с фюрером, встречающимся с Муссолини в Венеции, или торжественного фюрера, освящающего флаги Знаменем крови, рядом с веселым фюрером, отдыхающим в Гарце. Если перепутать номера, картинка не совпадет с напечатанной историей — и получится нелепость.

— Знаю, ты будешь аккуратен, — кричит папа из коридора, но у Эриха все плывет перед глазами, фотографии расплываются в мутные пятна, его

рвет.

По воскресеньям мама зажигает свечу на подоконнике в детской, потому что Эрих не в состоянии пойти в церковь. Лежа в кровати, он слушает, как звонят колокола, и смотрит, как пламя отражается в стеклах двойной рамы: первый отблеск яркий, второй бледный, как полустертое воспоминание. Две ли это горлицы сели на две липы? Две Роньи щиплют траву в двух яблоневых садах? Двое пап выстукивают пепел из двух трубок, и они блестят так, будто их корпус сделан не из вереска, а из каштана? Две мамы пекут лейпцигских жаворонков на двух кухнях, и лица их горят от жара двух печек? Теперь за всеми следуют призраки?

Приходит врач с черной сумкой, таинственной и бездонной, осматривает Эриха, совещается с родителями, а те кивают на все, что он говорит, потому что с такими людьми не спорят — это просто неприлично. Они договорились: к ним придет девушка из Имперской службы труда, чтобы помочь обмыть больного. Как ее зовут? Фройляйн Эльза? Фройляйн Ильза? Эрих не в силах удержать в голове ни ее имени, ни ее лица, зато помнит руки, мясистые и сильные. Она отжимает полотенце в таз, над которым поднимается пар, и обтирает каждую часть его тела, поднимает его слабые руки, обхватывает крепкими ладонями пятки, переворачивает с боку на бок. Вода очень горячая, почти обжигающая, но фройляйн делает все очень быстро, так что боли не чувствуется, остается только жжение разгоряченной кожи. Она работает сосредоточенно и молча, будто обмывает покойника перед прощанием. Да, Эрих слышал, как они говорили о его смерти — мама и папа. Они заглядывали из коридора, стараясь разглядеть смерть в сумрачной комнате. А ведь она и правда временами лежит рядом с ним в кровати, не смыкая глаз. И в очаге сидит волк и смотрит на него, и это смерть. И птицы на лампе не сводят с него черных глаз, и это смерть. Он лежит и вспоминает свои грехи: снимал сливки с молока, когда никто не видел, вырвал из книжки сказку о портном, отрезающем детям пальцы, и сунул ее в печку на кухне.

Однажды утром бабушка Кренинг решительно вошла в детскую со словами, что ей не страшно заразиться. Она помогла мальчику сесть, и тот увидел яблоневый сад, белый от цветов. Под деревьями стояли ульи в форме человеческих фигур. Бабушка Кренинг села на край кровати и стала рассказывать Эриху, как дедушка Кренинг вырезал их сам много лет назад. Он пошел в лес, где росли дубы, и топором пометил мертвые деревья. Тогда он был еще молод — еще до того, как его свалил рак крови. После того как спилил и выдолбил гнилые стволы, он отошел и принялся рассматривать их, решая, где вырезать глаза и проделать рот. Прохладным

осенним днем, когда воздух был наполнен запахом вспаханной земли и горящей соломы, он взял в руки стамеску и воскресил в дереве лицо своего брата, который пал от рук французов при Сен-Прива. Твоему дедушке хорошо удавались лица, говорит бабушка Кренинг. Взгляни на этот высокий лоб и узкие плечи: Густав снова дома. Будто и нет утраты. Возможно, когда Эрих поправится, папа вырежет улей с его лицом. Здорово будет? Да, отвечает он, однако я вижу, что в его словах совсем нет уверенности.

— Кто на других ульях? — спрашивает мальчик, хотя он уже сотню раз слышал эти истории. Бабушка Кренинг любит рассказывать их, она говорит, что такие вещи не должны забываться, и, может быть, однажды Эрих повторит их своим детям.

Вот тот, начинает она, — маленький франкский мясник, который помешался на своем ноже, а вот тот — лысоватый пастор в жесткой черной шляпе. На самом узком стволе — лицо Луизы, первой любви дедушки, которая вышла замуж за другого и умерла, не дожив до двадцати. Вырезая ее, дедушка был очень осторожен, чтобы рука не дрогнула. А Иоанн Креститель в овечьей шкуре? — спрашивает Эрих. А крючконосый ростовщик? Их дедушка Кренинг не знал? Да, не знал, кивает бабушка, но даже тот, кто никогда не видел волка, может изобразить его. И она укладывает мальчика на подушку и целует его в лоб. Очень странно. Она что, совсем не боится смерти?

Позднее, когда она уходит, у Эриха снова поднимается температура, а в саду поднимается ветер. Качает яблони, волнует озеро, дует в ульи. А пчелы влетают и вылетают из раскрытых губ. В груди — медовые сердца, в глотке — прозрачные, ломкие крылья. И мысли умерших черные с золотом. Деревянные фигуры начинают говорить, их истории распадаются на сотни гудящих голосов. Вот что я услышал, но не понял. Вот что Эрих услышал, но не понял. Простите, если где-то ошибся.

* * *

Я любила твоего дедушку, и моя сестра любила. И она пошла с ним в лес за дикими ягодами, и он выбрал ее, мою сестру, у которой пальцы были покрыты сладким соком, а от волос пахло деревьями. Я хотела утопить свое горе в озере и стать водой, а затем льдом. Я хотела, чтобы мое горе затянуло и мою сестру вместе с Антоном. Я вышла замуж за хорошего парня, доброго парня, за мою вторую любовь. Он не ходил в лес с другой,

не ел сладких ягод из ее рук. Когда я медленно умираю и остывшее тело моего новорожденного сына лежало рядом, я думала об Антоне, твоём дедушке. Я думала, он был прав, что выбрал мою сестру, ведь мы бы так быстро разлучились. И я повторяла его имя, а муж гладил меня по голове.

* * *

Мы часами шагали под августовским пеклом. Никто не пил из колодцев. Говорили, что французы отравили воду. Мы подоспели к концу битвы, когда наши взяли Гравелот и теснили французов в ложину. Те еле отступали, потому что земли было не видно под мертвыми телами. В Сен-Прива садилось солнце. Вечерний воздух гудел от выстрелов и всполохов французских ружей, а над дымом и схваткой грохотали митральезы. Мы строили брустверы из мертвых тел. Вестники на быстрых конях докладывают королю: двадцать тысяч. Утром нас похоронят, а пока мы будем стоять до последнего патрона. Дорога на Верден уходит за горизонт.

* * *

У меня самый сладкий мед — карманы моего длинного черного пальто полны золота, но я замешу свой хлеб на крови ваших детей.

* * *

Я так устал от них. Каждую неделю они выворачивают передо мной свои души. Они думают, что я могу снять любой грех. Но их грехи прорастают во мне: украденные монеты, побитые собаки, кощунство и вожделение. Я переполнен ими. Как я хочу, чтобы меня оставили наедине с моими собственными пороками, такими простыми и такими укромными.

* * *

Еще мальчиком я обучился от отца своему ремеслу — ремеслу убивать, — когда мы переходили от дома к дому. Пришло время, и мой сын перенял его от меня. Кровь была мне так же привычна, как молоко

фермеру, она брызгала нам под ноги, еще пульсируя жизнью. Нож был продолжением моей ладони, его крепкая ясеневая ручка нагревалась от работы. Откладывая его, я чувствовал утрату, с ним же я был спокоен, как младенец в колыбели. Мы собирали свернувшуюся кровь — мой отец и я, мой сын и я, — смешивали ее с жиром и набивали в размотанные кишки убитых животных. Это было чудом — новая жизнь плоти, перерождение. Длинные колбасы, как гибкие бескостные конечности неведомых тварей. Я все чаще и чаще думал о своем ноже. О том, как ладно он ложится в руку и приятно оттягивает ее своим весом. О том, что там его место. Но кто же тогда я? Я не он. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его^[9]. Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?^[10]

* * *

На следующий день доктор прослушивает легкие Эриха, и тот боится, что он услышит его мысли про снятые сливки и про порванные книжки — и про фройляйн Ильзу или Эльзу. Эти мысли вспыхивают в груди против воли мальчика, и хитроумный фонендоскоп наверняка их улавливает.

«Хм-м-м», — говорит доктор. И «ага», и «так-так». А Эрих лежит тихо-тихо и смотрит на часы, которые мама поставила на камин.

Когда Эриху становится немного лучше, он сам с собой играет в «Акулину» и всегда выигрывает. После завершения партии надо очень быстро убрать карты — потому что вещи полагается держать в чистоте и порядке, иначе явится Акулина и утащит его. Регулярно приходит фройляйн Эльза или Ильза, доктор слушает его грудь, волк смотрит на него из камина, птицы с лампы, пчелы из ульев, папа ходит туда-сюда по коридору без остановок, мелькая мимо детской как призрак.

Когда смерть окончательно покидает его, он вновь слышит голос доктора:

— Мальчик перестанет расти. Навсегда останется хилым.

Неправда, думает Эрих. Я победил болезнь. Я не умер.

* * *

В день парада с утра шел дождь. Мама то и дело подходила к окну,

чтобы проверить погоду, и пристально смотрела на облака, словно ее взгляд был способен их рассеять.

— Так быстро не кончится, — сказал папа. — Идет от Сомме.

К полудню небо очистилось, и Кренинги, нарядившись в воскресную одежду, отправились в Лейпциг. Весенний воздух гудел от голосов, как при роении пчел. Люди поправляли галстуки и воротнички, приглаживали волосы и одергивали полы пиджаков, то и дело поглядывая на черные стрелки. Плакаты и флаги свешивались из каждого окна и отражались в лужах, как будто вся земля была залита кровью. Звонили церковные колокола. Солнечные блики, отражавшиеся от самодельных подзорных труб, вспыхивали как сигналы. Папа купил всем по бумажному флажку на палочке. Когда показались первые солдаты, и толпа разом начала махать, воздух заколебался, изогнулся, сдвинулся. Эрих с высоты своего небольшого роста видел только красные всполохи, мелькающие на фоне синего неба. Папа поднял его высоко — и было в этом что-то похожее на то кружение с мамой в саду. Грянули неожиданно громкие приветственные возгласы, отражаясь от брусчатки. (Неужели так стройно кричали простые граждане, или все же были среди них люди в штатском?) Кренинги махали до онемения рук. Девочки бросали под ноги солдатам цветы. Наконец показалась машина фюрера и медленно двинулась вдоль толпы. Пассажир внимательно смотрел то налево, то направо, будто искал нужный ему адрес.

Эрих так крепко — до боли — сжимал свой флажок, что, даже когда они вернулись домой, у него на ладони еще оставался след — линия жизни, линия любви. Мама и папа отдали ему свои флажки, и он поставил их на подоконник в пустую банку из-под меда. У той был оббит край, так что по назначению ее уже не использовали. Мама включила радио и подпевала «Друзья, жизнь стоит того, чтобы жить». Эрих попросил папин альбом про фюрера. В нем еще оставались пустые места — папа собрал не все карточки и никогда уже не соберет, потому что теперь выпускают по темам «Живопись барокко» и «Англия — разбойничье государство», которым, конечно, не место в жизни фюрера. Эрих читал подписи и представлял недостающие изображения: «И снова дети не дают фюреру прохода», «Обычное жаркое — даже для рейхсканцлера», «Все хотят пожать руку фюреру», «Гитлер прислал нам еще танков», «Вот, мой фюрер, это моя внучка». Пустые страницы нравились Эриху больше всего — на них он воображал себя.

Я видел, как Эрих рос и взрослел: плавал в озере словно рыба, строил в лесу шалаши и думал, что мама не найдет его. Видел, как он лежит под ветками — тихо, тихо — прислушиваясь к голосам из ульев: над дымом и схваткой грохотали митральезы. Но кто же тогда я? Когда папа ушел воевать в Россию, мама сказала, чтобы Эрих больше не прятался. Он слишком привык играть один, сказала она, у него нет товарищей, а другие мальчишки в деревне играют в войну. Но теперь, в школе, ему бы уже пора обзавестись привязанностями.

— Не понимаю, что это значит, — говорит он.

— Друзьями, — объясняет мама. — Обзавестись друзьями. Разве тебе не скучно одному?

Пока он болел, остальные успели передружиться.

— Мне никого не осталось, — говорит он, и в этот момент я ощущаю мир его кожей, смотрю на мир его глазами.

Он показал маме игрушку, которую придумал сам: карточка, к обоим концам которой привязаны нитки. С каждой стороны нарисовано по поллица. Когда берешь за нитки и раскручиваешь карту, половинки сливаются в целое.

Восковая женщина

— сад,
Под дождем озябли пионы.
Двигается лето на —
Медленно, неуклонно.

Золотом каплет с веток
Листьев отрада.
Кротко —, прощается лето
С — сада.

Лишь возле розы впервые
Совсем недолго помедлит оно
И вскоре смежит большие
Глаза, — очень давно.

Сентябрь 1941. Берлин

— Чем ты занимаешься на работе? — спросила Зиглинда отца, когда они вышли на Кантштрассе. У Юргена день рождения, и вся семья отправилась в зоопарк. Мама с мальчиками ушла вперед, а Зиглинда не спеша идет с отцом и раскачивает его руку. На девочке брошка с неизвестным цветком из папиных молочных зубов. За нее то и дело цепляется косичка Зиглинды, что очень смешит папу.

— Хватит кусаться, — говорит она.

— Как вкусно, — отвечает папа.

Они свернули на Иоахимсталлерштрассе и вскоре увидели маму с Юргеном и Куртом, которые дожидались их у Львиных ворот (те вели вовсе не ко львам, а к слонам). На севере, на фоне ясного неба, возвышалась зенитная башня люфтваффе — как неприступная цитадель. В ней хранились картины, скульптуры и бесценные культурные памятники: голова Нефертити, алтарь Зевса. А еще там был госпиталь и вдоволь воздуха. И ее точно никто не будет бомбить.

— И все-таки, что ты делаешь на работе? — снова спросила Зиглинда.

— Слежу за безопасностью.

— За безопасностью чего?

— Вообще за безопасностью.

— Домов? Бомбоубежищ?

— Нет, совсем нет.

— Следишь, чтобы не было острых предметов? Лезвий? Битых бутылок?

— Нет, Зигги.

— Привязываешь веревки к пианино, чтобы люди могли спуститься из окна и спастись?

Папа снова улыбнулся.

— Следишь за водой? Небом? Воздухом? Разговорами?!

— Не говори глупостей. Нет, совсем не то.

— Тогда что же?

— Я изымаю опасные вещи, чтобы они не могли никому навредить.

— А, — сказала Зиглинда и подумала: полиомие-лит, освещенные окна, соседи? Она не стала задавать вопрос, потому что знала, отец на него не ответит. Папа не скажет, чем он занимается на работе, так же как мама не скажет, куда пропал доктор Розенберг и почему за его столом появился

другой врач. Вместо этого она спросила: — Что, если твою работу начнут бомбить?

— Невозможно, — ответил папа. — Здание замаскировано как лес, а в стороне выстроены муляжи. Не умно ли?

Зиглинда кивнула: конечно, очень умно.

Они дошагали до ворот, папа купил билеты, и все вошли внутрь. Первым был вольер со слонами. Правда, вольером это можно было назвать с трудом — скорее, просто площадка, огороженная шипами, чтобы слоны не могли подойти к людям. На хоботах тоже были шипы, чтобы слоны не объедали деревья. Каждый слон, наверное, сначала пытается пересечь границу или оторвать кору, прежде чем понять, что это невозможно? Зиглинда хотела спросить у папы, но все уже ушли дальше смотреть на шимпанзе Титину, которая каталась на велосипеде. Такое пропустить нельзя! Шимпанзе могут курить сигареты и пользоваться ложкой, совсем как люди. Юрген сказал, что хочет себе такого питомца, а папа возразил, что это нарушает естественный порядок вещей.

— Когда я была маленькой, — сказала мама, — здесь еще выставляли напоказ индейцев. Индейцев, эскимосов и африканских воинов с костями в носсах.

— Можно на них посмотреть? — оживился Юрген. — У них есть копья? А отравленные стрелы?

— Нет, что ты. Их уже давно не показывают, — огорчила его мама.

Когда они дошли до львов, папа сказал, что надо обязательно сфотографироваться: в клетке три детеныша и у них в семье — три ребенка. Фотограф был занят с другой семьей. Все засмеялись, когда служитель-француз подложил львенка в детскую коляску, прямо рядом с ребенком. Зиглинда потянула маму за рукав и спросила:

— А если они заберут львенка домой, а ребенка оставят здесь?

Но мама ничего не ответила, потому что разговаривала с матерью того самого ребенка:

— Шесть детей! Ничего себе! Вам, наверное, и присесть некогда.

Когда наступила очередь Хайлманнов, они устроились на лавочке, и служитель-француз посадил им на колени львят. Один все время норовил укусить Курта за нос. Служитель утверждал, что это просто игра, но Курт ревел не переставая, так что фото было загублено.

Медведь неподвижно сидел у прутьев и смотрел в пустоту, не обращая ни малейшего внимания на посетителей зоопарка, что было очень невежливо с его стороны.

— Похоже, ему тут не нравится, — заметил Юрген.

— Выглядит унылым, — согласилась Зиглинда.

Люди стояли у вольера и ждали, когда же медведь покажет зубы, зарычит или встанет на задние лапы, как было нарисовано в брошюре зоопарка. Стоявший рядом мужчина нетерпеливо взглянул на часы. Молодой солдат закричал на медведя, однако тот и не пошевелился. За прутьяной стеной весь мир исчез^[11].

— Сломался, — бросил солдат.

— Самася, — повторил Курт, пробуя новое слово.

— Он сломался? — воскликнул Юрген, чуть не плача.

— Нет, конечно, нет, скажете тоже, — проговорила мама, неодобрительно взглянув на солдата.

— Но ему плохо, — вставила Зиглинда.

— Думаю, он просто устал, — заключила мама. — С чего ему быть несчастным? У него есть все, что нужно.

— Никто не обращается с животными лучше нас, — сказал папа. — В Америке проводят эксперименты на обезьянах, во Франции живьем варят лангустов...

— Спасибо, Готлиб, — перебила его мама.

— Я хочу сказать, что мы заботимся о животных. Даже волки находятся под защитой.

* * *

Зиглинда говорит маме:

— Наша квартира выросла.

Я смотрю через окно вместе с вороной. Правда, что мертвые превращаются в птиц? Мы ждем, мы слушаем.

Мама отвечает:

— Глупости, Зигги. Хватит выдумывать.

У нее в руках коробочка с компактной пудрой, она смотрится в зеркальце и пробегает по лбу и подбородку маленькой подушечкой, чтобы спрятать все дефекты.

— Гостиная стала больше. Раньше, когда я садилась на диван и вытягивала руки, Курт доходил до меня от дальней стены за десять шагов.

Когда он добирался до сестры, та подхватывала его, и сажала его себе на колени, и целовала его в нос, а он визжал от удовольствия и гордости за свои достижения.

— А теперь за пятнадцать.

— Ох уж эти дети. Сегодня они сами завязывают ботинки, а завтра зовут маму. Сегодня они едят сами, а завтра размазывают яблочное пюре по волосам, как мартышки, и маме приходится их от-мывать.

Подушечка снова и снова опускается на лицо — пожалуй, достаточно, чтобы выглядеть естественно. Ворона стучит в окно, клюв барабанит по стеклу.

— Мартышки едят бананы, — говорит Зиглинда.

— Все верно. Ты умная девочка, Зигги. Не надо больше выдумок.

В зеркальце ворона наклоняет голову.

* * *

Супруги Хайлманн счастливы в браке. Взгляните на них: здоровая пара, достойный пример. Никаких искривленных костей, никаких нарушений, никаких лишних примесей крови. Да, они счастливы. Все говорят, что они счастливы, хоть нервы у Бригитты и сдают при звуке самолетов. Они просто разбрасывают листовки, успокаивает ее Готлиб. Обычный воздушный налет. Но она продолжает вздрагивать от каждого громкого звука, от каждого резкого движения. Рядом с ней Готлибу приходится двигаться будто под водой. Однако когда он начинает сравнивать ее с другими женами, у которых плохие зубы, двойные подбородки, вены и бородавки, рыхлый бюст, — он понимает, насколько ему повезло. Бригитта не носит штаны и туфли на каблуках, не мажет губы, не завивается, не сидит на диете и не красит волосы. Ей было всего восемнадцать, когда они поженились. Приличная девушка из приличной семьи в Целле — податливая, словно воск. Она откликнулась на его объявление в газете, и в этом нет ничего неприличного: многие порядочные немцы ищут жен подобным образом. Правда, ни Бригитта, ни Готлиб стараются не вспоминать об этом и уж тем более не упоминать вслух.

— Англия, — напоминает он ей. — Мы воюем с англичанами. Не с Великобританией.

— Конечно, — соглашается она.

— Надо говорить, что воюем с англичанами. Именно так.

— Но все знают, что речь идет о Великобритании.

— Да.

— Тогда почему бы так и не сказать?

— Потому что мы воюем с островом, а не с империей. Когда мы победим, скажем, что завоевали империю, но пока это просто остров.

Понедельник, утро. Готлиб Хайлманн прибывает на работу — как всегда на десять минут раньше срока. Вешает шляпу и пальто на крючок со своим именем, убирает портфель в правый ящик стола, садится на стул и снимает чехол с печатной машинки. Поднимает зеленую крышку, заправляет простую и копировальную бумагу — и буквы начинают воздевать вверх свои чернильные руки. «Выбор, — печатает он. — Мнение. Любовь». В их отделе дюжины таких кабинетов — или даже сотни — он точно не знает, но его имя написано на двери из матового стекла. Это единственная примета, по которой можно определить, что пришел на свое место и не сбился с пути — а в их здании очень легко заблудиться. Но вот он сидит на своем месте — за стеклянной дверью, на которой написано «Хайлманн». Буквы выведены золотом и оттенены черным, чтобы придать глубину, иллюзию глубины, будто они высечены на надгробье. Я сказал «кабинет», потому что все говорят «кабинет», однако за стеклянной дверью нет привычных нам стен — вместо них панели из матового стекла, словно покрытые вечной изморозью, а над ними плывут вздохи и шепот. Через шероховатое стекло Готлиб различает смутные фигуры коллег, но не их лица.

Забавно, думает Готлиб, когда он поступил в отдел в 1939 году, то даже не умел печатать на машинке. Как оказалось, его взяли только из-за того, что он искусно владел ножницами и бритвой. Сосед герр Шуттманн видел его силуэты и знал одного чиновника, который знал другого чиновника, — так информация дошла до начальства. На собеседовании Готлибу показалось, что решение уже принято. Когда его попросили продемонстрировать способности, он достал из портфеля ножницы и бумагу и тут же вырезал крошечную копию колонны Победы, на которой черная Виктория потрясала своим лавровым венком.

— Меня интересуют только немецкие достопримечательности, — сказал Готлиб, и это было правдой, его не прельщали чужеземные памятники — Тадж-Махал, Парфенон. Он воссоздавал в фигурах только свое отечество — ведь абрис раскрывает истинный смысл. Он никогда ничего не придумывал и гордился тем, что повторял все в мельчайших деталях: поднятые копыта лошадей на Бранденбургских воротах, накренившиеся фальшивые руины в Сан-Сусси, крышу замка Нойшванштайн, раскинувшуюся, словно крылья ворона, остроконечную башню ратуши в Мюнхене с ежедневно гибнущим рыцарем.

Человек, проводивший собеседование, забрал бумажную колонну Победы и убрал ее в папку. Готлиб не запомнил его имени и не стал переспрашивать, когда они встретились вновь. В первый рабочий день человек без имени показал Готлибу его кабинет и объяснил, чего от него ждут. Каждую фразу он заканчивал вопросом, который не требовал ответа: «Вы поняли? Все ясно?» Готлибу придется самому печатать отчеты и письма. Каждое утро ему придется писать сводку по работе, проделанной за прошлый день: указывать количество слов в каждой категории и подкатегории, а также общее число внесенных правок. В конце необходимо ставить подпись, подтверждающую, что все отбракованные материалы утилизированы должным образом. Не прекращая инструктаж, человек выдвинул ящик — стальное дно поблескивало, боковые ограничители напоминали стенки детской кровати, которые не дают упасть беспокойно спящему ребенку. Готлиб провел рукой по холодному металлу. Не в таких ли ящиках хоронят безымянных мертвецов? Самоубийц и утопленников, жертв стихии? Сюда следует складывать ежедневные отчеты, сказал человек. Регистрировать по названию исходного текста. Если в отчет попадает несколько текстов, то для каждого из них должна быть сделана копия с соответствующим названием и ссылкой на другие тексты, входящие в отчет.

Готлиб всегда считал, что подобными вещами занимаются секретарши, аккуратные и ухоженные девушки с быстрыми пальчиками. Он даже надеялся, что ему выделят такую помощницу — Хильду или Минну, — которая будет во всем его слушаться и которой он будет дарить маленькие подарки на Рождество и день рождения. Принимая от него знаки внимания, она будет трогательно смущаться и не будет запихивать их в ящик письменного стола, даже не раскрыв, не будет заносить их в gross-бух вместе с наволочками и суповыми мисками, не будет разбивать их и просить его склеить. Она будет хранить даже коробочки: складывать туда любовные письма, ракушки и сухие цветы. Будет нежно разглаживать оберточную бумагу с названиями роскошных магазинов «Hertie», «KaDeWe», «Wertheim». Товары там высшего класса. И к тому же они находятся в немецких руках.

— Видимо, здесь какое-то недоразумение, — сказал Готлиб человеку без имени. — Меня взяли на должность старшего цензора в издательский отдел. Так было в письме.

Готлиб достал из чемодана документ — с печатью и подписью, но человек даже не взглянул.

— Все сотрудники отдела сами ведут свою документацию, даже

министр. Ни у кого нет доступа к чужим бумагам. Так безопаснее. В конце концов, слова — это лишь носитель.

— Ни у кого нет доступа?

— Ни у кого.

— А мои отчеты? Кто будет их читать?

— Я же сказал, так безопаснее.

Человек снял крышку с печатной машинки и показал на нее рукой, будто представляя почетного гостя. Готлиб молча смотрел на ряды черных клавиш. Они же расположены не в алфавитном порядке!

— Это несложно освоить, — сказал человек без имени.

А Готлиб смотрел и думал об аккордеоне дяди Генриха: о том, как дядя по памяти подбирал мелодии с закрытыми глазами, и о том, как он сам не мог взять ни одной верной ноты, и инструмент скрипел и стонал под его негнущимися пальцами. И мама тогда покачала головой и сказала: «Мальчик совершенно немзыкален». Человек без имени закончил инструктаж и собрался уходить, оставляя его один на один с работой. Нужно было задать еще столько вопросов, но Готлиб молчал.

Неужели с того дня прошло уже два года? Теперь Готлиб без труда печатает отчеты — почти вслепую. Ему повезло, что его взяли в отдел. Что-то, видимо, в нем разглядели — какое-то потаенное зерно, которое пустило корни. Внутри него целый лес, наполненный звуками, которых теперь нигде не услышишь. Они перелетают с ветки на ветку, порхают под темным пологом и поют, поют.

Готлиб берет скальпель: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

* * *

Каждое утро на фабрике начинается с проверки. Новенькие фюеры шеренгами стоят на столах и поблескивают на солнце. Они уже готовы — остыли и затвердели. Я вижу, как к новорожденным идут женщины: обхватывают их крепкими ладонями, вертят, осматривают. Прежде чем появиться на свет, эти малыши проходят через десятки рук, так что случиться может всякое: неточности и искажения, трещины и дыры, загрязнения и морщины. Никогда нельзя угадать, что выйдет из формы.

Фрау Мюллер: Этот бракованный.

Фрау Миллер: Вся партия негодная.

Фрау Мюллер: Кончик носа, левое ухо...

Фрау Миллер: Надеюсь, это не дурной знак.

Фрау Мюллер: Хватит разглядывать.

Фрау Миллер: Только бы с ним ничего не случилось...

Фрау Мюллер: Хватит болтать.

Фрау Миллер: А некоторые женщины берут их с собой в постель и целуют в холодные губы.

Фрау Мюллер: Да, слышала такое.

Фрау Миллер: Можно ли их осуждать?

Фрау Мюллер: Нет, нельзя.

Головы фюрера легче, чем кажутся. Их отливают из простого металла и красят под бронзу. В руках женщин они нагреваются и оживают. Но стоит их перевернуть, оказывается, что внутри пустота: вогнутые глаза и губы, темный купол черепа. Женщины ощупывают изгибы, пустоты и пятна, решая, что можно исправить с помощью окраски и полировки, а что придется отбраковать. Дырка в виске, рана или врожденное уродство — такие экземпляры отправляются в печь на переплавку. Я видел это: искаженные лица вспучиваются и опадают, превращаясь в бесформенную массу.

И тут появляются дети.

— Это особая фабрика, мальчики и девочки. Наверняка у каждого из вас есть дома такой фюрер. Поднимите руки, у кого есть... Хорошо, хорошо. Хильтруд, а у тебя? Ирмгард? Нет?! Как же так? Может, родители просто поставили его повыше — на почетное место, и вы не заметили? Мои родители так и сделали. Это правильно. Ну а те, у кого нет фюрера, пойдут домой и скажут мамочке и папочке, чтобы они устранили это досадное упущение. И как можно скорее.

* * *

Бригитта Хайлманн давно заглядывалась на самовар своей золовки. Когда бы они ни пришли в гости, тот восседал на изящном столике, как дорогой трофей, шипел и посвистывал, заполняя неловкие паузы в разговорах.

— Вмещает сорок чашек, — утверждала Ханнелора.

Очевидно, что имелись в виду русские граненые стаканы, а не нормальные немецкие чашки. Но Бригитта была слишком хорошо воспитана, чтобы затевать спор.

По словам Ханнелоры, раньше — до того, как попасть к ее родителям

— самовар принадлежал семье российского императора. Это было похоже на правду: серебряный с ножками в виде львиных лап и ручками из красного дерева, он смотрелся очень величественно.

— Никогда не видела ничего красивее, чем самовар твоей сестры. Как бы я хотела такой...

Бригитта повторяла это своему мужу по несколько раз в год, но он, человек не слишком чуткий, не понимал намеков.

* * *

Бригитта никогда раньше не бывала на аукционах, хотя, проходя по Кудамм, видела, как другие перебирали обломки чужих жизней, придирчиво изучали клейма, расспрашивали про старых владельцев, проверяли прочность стульев и упругость диванов, выискивали сколы на хрустале и пятна на белье. Было что-то отталкивающее в чужих вещах — кто знает, кому они принадлежали. Но в последнее время в газетах появлялось все больше и больше объявлений о распродажах имущества. И одно из них привлекло внимание Бригитты: «Предметы домашнего обихода: столовый гарнитур орехового дерева, перины разного размера, пианино, мягкие персидские ковры, швейная машинка, часы, столовое серебро, настольные лампы, бижутерия, антикварный самовар, газовая плита, пишущая машинка и многое другое». Бригитта задумалась. Антиквариат — это не подержанное старье, это вещь с историей. Да и к тому же из-за постоянного дефицита — который, конечно, неизбежен в военное время — в магазинах стало трудно найти что-то стоящее.

По дороге на распродажу Бригитта очень волновалась, непрерывно качала Курта на коленях и переживала, что трамвай едет слишком медленно. Зиглинда напросилась с мамой. После школы она сразу побежала домой, вместо того чтобы, как обычно, шататься по улицам с друзьями, выменивать осколки снарядов и кормить белок в Тиргартене. Времени было в обрез, некогда болтать с папой и рассказывать ему, как прошел день. Вдруг кто-то еще хочет заполучить самовар. Вдруг он окажется не антикварным, а помятым, испорченным или второсортным. В газетах любят приукрашивать...

Был чудесный субботний день, стояла ранняя осень, на небе ни облачка (если сильно не присматриваться), листья пожелтели, но еще не опали. И воздушные налеты не повторялись уже несколько недель.

Нужный адрес оказался в жилой части города, где не было аукционных

залов.

— Мама, ты не ошиблась? — поинтересовалась Зиглинда.

Бригитта вынула газету из кармана и еще раз сверила адрес: нет, все верно. Может, опечатка? А если распродажа уже началась и другая женщина в эту минуту покупает ее самовар?

— Быстро, Зигги! — крикнула Бригитта и стремительно покатила детскую коляску по булыжной мостовой. Курт даже не проснулся. Они пролетели мимо лотка с газетами — «Кто наш враг?», мимо мясной лавки с одинокой свиной тушей в витрине. Дальше по улице перед домом, среди клумб с астрами, толпится народ, не очень-то походивший на охотников за антикварными самоварами, но все же... Бригитта решительно прокладывала себе дорогу к подъезду и вверх на четвертый этаж. Коляску с Куртом непросто было тащить по лестнице, они отдыхали после каждого пролета, игнорируя жалобы напирających сзади. Позор народу, не уважающему своих женщин и матерей, думала Бригитта, он обрекает себя на гибель. Пахло картошкой, и у нее урчало в животе. Ради аукциона пришлось пропустить обед — иногда нужно чем-то жертвовать. Из-за закрытых дверей слышались обрывки разговоров, музыка и срочные сводки новостей о недавних победах. Добравшись до четвертого этажа, Бригитта остановилась перевести дыхание, поправить шляпку и пригладить прическу Зиглинды. Она даже пропустила вперед двух или трех конкурентов, чтобы не показаться слишком напористой и нетерпеливой. Курт проснулся и старался выбраться из коляски.

— Добрый день, — Бригитта кивнула женщине, стоящей у входа, и направилась в сторону гостиной, где виднелся стол с аккуратными стопками постельного белья.

— Пойдем, солнышко, — позвала она Курта, который уселся на ковер в прихожей и играл с бахромой. Зиглинда уже пробралась на кухню и рассматривала буфет с мраморной столешницей.

— Подождите! — крикнула женщина. — Надо зарегистрироваться. Получить номер.

И постучала обкусанным ногтем по стопке бланков.

— Конечно, — Бригитта заполнила бумаги и улыбнулась — несмотря на спешку, она прекрасно понимала важность установленных правил. — Сегодня много народа.

— Бывало и больше, — пожала плечами женщина. — На прошлой неделе на Дельбрюкштрассе, в Груневальде, было не протолкнуться. Целая вилла — три этажа — первоклассных товаров. Канделябры и всякое такое. Хотя кому нужны канделябры?

— И правда, — пробормотала Бригитта. — Зигги, сюда!

В гостиной было многолюдно — Курта приходилось держать за руку, чтобы не потерялся. Бригитта осмотрела табурет для пианино, пару подставок для книг, оловянные часы. И тут заметила его... Самовар восседал на кресле, как радушный хозяин.

Зиглинда воскликнула от восторга:

— Прямо как у тети Ханнелоры!

— Да? По-моему, даже лучше, — бросила Бригитта.

Не исключено, что он тоже когда-то принадлежал венценосной семье. Мягко поблескивало старинное серебро и гладко отполированные ручки черного дерева.

— Мама, ты только взгляни на краник! — воскликнула Зиглинда. Он был сделан в форме рыбы с изогнутым змеиным телом и изящным хвостом, а вместо рта — отверстие для кипятка. В комплекте к самовару шел серебряный поднос.

— У тети Ханнелоры нет подноса, — проговорила Зиглинда.

— Ты права, золотце.

До начала аукциона оставалось совсем немного — они отправились осматривать другие комнаты, Курт плелся сзади. Кухня оказалась очень хорошо оборудована. Две отдельные раковины! Такого Бригитта еще никогда не видела.

— Одна для сковородок и кастрюль, другая для тарелок и чашек, — предположила Зиглинда.

— Пожалуй, — согласилась мама. Зигги очень смышленная, вся в отца.

На столе, покрытом нарядной скатертью, валялись хлебные крошки — как тропинка в лесу. Бригитта, не задумываясь, стряхнула их на пол. Так-то лучше. Рядом с плитой стоял буфет с мраморной столешницей. Она провела рукой по прохладному камню — то, что нужно для хорошей выпечки. Если бы у нее был такой, она бы смогла приготовить идеальный яблочный штрудель, любимое лакомство Готлиба. Зиглинда открывала маленькие фарфоровые ящички для пряностей: гвоздика, корица, мускатный орех, имбирь. Запахло Рождеством.

— Осторожнее, Зигги. Не просыпь, — предупредила Бригитта.

Ее ящичек для пряностей был крохотным, как кукольный комодик. Она поискала на буфете каталожный номер, но не нашла. Попыталась отодвинуть буфет от стены, но оказалось, что он прикручен.

— Продается? — спросила Зиглинда.

— Вряд ли, — отозвалась Бригитта.

— Его бы на нашу кухню! Тут полно корицы. А у нас как раз

кончилась.

В ванной внимание Бригитты привлек душ — огромный, как головка подсолнечника. Она представила, как обильные струи падают ей на волосы и стекают по телу. Персональный домашний ливень. С края ванны свисало засохшее полотенце, Бригитта слегка пихнула его ногой. Оно упало с глухим звуком, будто книга выскользнула из рук уснувшего полуночника. Курт поднял полотенце и начал жевать. Хорошо, Зиглинда заметила, отобрала и отвлекла мальчика, прежде чем тот успел расплакаться.

В спальне две женщины осматривали детскую люльку. Одна хмыкала, рассматривая облупившуюся краску, другая стучала по матрасу и подушке.

— Мама, смотри! — Зиглинда показывала на туалетный столик. Там стояла белая фарфоровая ваза в виде руки, точно такая же, как у них, только не расколотая и не склеенная.

Зиглинда дернула маму за пуговицу.

— Мама, ты перепутала.

Бригитта посмотрела в гардеробное зеркало: блузка была застегнута криво. Почему женщина, которая регистрировала их на входе, ничего не сказала? Неужели никто не следит за своими соседями? Ничего, успокоила она себя, поправляя оплошность, люди с положением сразу заметят, что блузка хоть и криво застегнута, но сшита из качественного материала, а не из низкопробной вискозы, которая сейчас в ходу. Бригитта следила за качеством вещей.

В платяном шкафу висели пустые плечики, обитые шелком нежнейших пудренных тонов: персиковые, лимонные, мятные, голубые — с крошечными бантиками на петлях. Бригитта не удержалась и провела по ним рукой — те закачались.

Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что самовар — ее самовар! — осматривает и крутит какой-то мужчина. Крышка упала и загремела. Бригитта вздрогнула, но промолчала — она здесь не хозяйка. Отвернувшись и стала показывать Курту детские книжки. Как странно, думала она, сейчас самовар никому не принадлежит, а меньше чем через час станет ее, и тогда можно будет с полным правом пожаловаться на любого, кто позволит себе такую бесцеремонность.

«Сообщаю, что сегодня некий гражданин испортил нашу семейную реликвию, передающуюся из поколения в поколение. Несомненно, что этот гражданин не имеет ни малейшего представления о ценности подобных вещей и является чуждым элементом германской нации».

Ведущий аукциона занял место за маленькой кафедрой, будто намереваясь читать проповедь, и действие началось. Руки взмывали вверх и

тут же опадали. Женщина с обкусанными ногтями показывала лоты. Все шло на продажу: цветы в горшках, грампластинки, ковры, занавески. Поддавшись моменту, Бригитта торговалась за то, что не планировала покупать, за то, что даже не успела как следует осмотреть.

Когда Бригитта с детьми выходила из дома, какая-то женщина хмуро смотрела на затоптанные астры.

— Безобразие! Придется направить жалобу в соответствующие инстанции.

В трамвае Бригитта держала самовар на коленях. Лицо отражалось в полированном серебре, согретом ее теплом — изгибалось, растягивалось, приобретало странные, неожиданные выражения.

* * *

Дни становятся короче, серое небо наваливается на город. Война тучами сгущается на горизонте. Продолжают уходить эшелоны. Все будто истончается. Из книг исчезают слова — остаются одни дыры. Некоторые страницы так изрезаны, что расползаются под пальцами.

На востоке бойцы вермахта теснят противника к Москве, еще чуть-чуть, и гнилое Советское государство с грохотом рухнет. В Берлине Гитлер инспектирует кладбища. Могилы должны содержаться в чистоте и порядке, как дома истинных немцев. Мертвые исполнили свой долг — теперь живые обязаны чтить их память. Именно так проявляется чувство достоинства и национальный дух. Фюрер инспектирует мертвецов. На его лице чернеют усы, как почтовая марка, посланная из страны мрака. Деревья отдают честь, трава стоит навтыжку, молчаливые камни держат строй, ветер стих — глубоко под землей мертвые салютуют своему командиру.

* * *

«Первый раз в жизни он оказался лицом к лицу с —, которую невозможно смягчить и развеять — и —, унять — и песней, заглушить звоном шпор и оружия, убаюкать и очаровать легкомысленными —. Впервые за свою двадцатичетырехлетнюю жизнь он чувствовал себя —, —, —. — были таковы: его ребенок —, завтра ему придется вернуться в полк и оставить Корнелию один на один с ее — и —.»^[12]

— Смотри, — Бригитта показала мужу страницу из книги. — Вся в дырах.

Готлиб промолчал. Он узнал свою работу по четким, аккуратным вырезам. Бригитта не понимает, насколько опасны неотредактированные тексты. Говорят, в Стокгольме есть библия, написанная по наущению дьявола, — и с его огромным портретом. Так вот, разворот с дьяволом самый замызганный, засмотренный и затертый. Людей притягивают такие вещи. Сквозь страницу были видны фрагменты его жены: маленький зеленый глаз, губа, завиток русых волос. Несомненно, это его работа. Он гордился точностью своих вырезов: подкладывал картон под страницу, не захватывая соседние слова. Он чувствовал скальпель и проводил отрез четко по границе, где белое переходит в черное, а черное в белое.

Тем не менее жалобы по поводу книг продолжали поступать. Они были приняты во внимание, упорядочены, задокументированы и подшиты.

— Может, стоит просто закрашивать слова? — предложил Готлиб, демонстрируя, как ему казалось, стратегическое мышление, которое поможет выиграть войну. Его предложение рассмотрели. Оно разрослось до подробного отчета в трех частях. Его проанализировали, отредактировали и отрецензировали.

И дали отрицательный ответ. Потому что хоть и закрашенные, крамольные слова останутся на месте. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что и вырезание не было идеальным методом. Сильно страдал текст с обратной стороны. К тому же в образовавшиеся отверстия проглядывали слова с соседних страниц, что искажало значение. Более того, некоторые осмеливались вставлять в пропуски собственные слова. Как это упустили из виду?

В результате была принята новая процедура. Готлибу и его коллегам дали указание срезать только верхний слой бумаги и раздали специальные лезвия из хирургической стали, настолько тонкие и острые, что их почти не было видно, если смотреть вдоль режущей кромки. Конечно, пришлось потренироваться, прежде чем освоить новый инструмент. Не обошлось без порванных страниц и порезанных пальцев, но все же новый способ стоил того.

Редактирование Библии оставалось самой трудной задачей. Страницы не слушались и расползались прямо под пальцами. Для таких случаев была установлена специальная процедура, позволяющая соскрести только краску, не повреждая бумагу, чтобы можно было без труда заменить «Бог» на «Гитлер».

Хотелось ли Готлибу забрать вырезанные слова с собой? Рассовать по

карманам, вывалить дома на обеденный стол, вставить в другие книги или разбросать на улице, как конфетти, как пожелания благоденствия? Нет. Это было не в его характере. В конце рабочего дня он относил их в подвал и высыпал в люк печи. А по дороге к метро видел, как из высокой трубы поднимался дым. Слова теряли свой смысл, растворялись в воздухе. Превращались в крошечные облачка.

Иногда Готлиб выходил на остановку раньше, чтобы прогуляться по Тауэнциенштрассе и Кудамм и посмотреть на витрины. Они напоминали ему открытки, выставленные на камине. Женщины в кимоно, плывущие на усыпанных цветами лодках. Водопады, вихри и полотна ткани. Ботинки без ног, перчатки без рук, шляпы без голов. Большинство товаров нельзя было купить из-за дефицита, но магазины выставляли их, чтобы создать иллюзию изобилия. Сегодня в одной из витрин женщина собирала мужчину. Прикручивала ноги и руки и наряжала в осеннюю одежду. Она уже наклеила сухие листья на стекло — вполне живописно. Прикрутила рояльные струны к потолку и к полу, чтобы получился дождь. Погода менялась, и тот, кто не имел дома, терял последнюю возможность его обрести.

На углу Бляйбтройштрассе Готлиб бросил монетку уличному музыканту, игравшему песню из его детства. После битвы на Сомме дядя Генрих вернулся домой без голоса. Доктора не находили никаких повреждений, однако дядя молчал. Зато говорил аккордеон: когда его сестре не везло в любви, он играл «Все парни — проходимцы»; в поминальное воскресенье — «Пять диких лебедей кружат над домом»; когда хотел выпроводить надоевших гостей — «Звезды зажглись»; когда хотел пить — «Налей бокал вина». Иногда по воскресеньям он водил Готлиба в луна-парк, давал хлебнуть пива из своей кружки и держал за руку, когда скатывались с водяной горки в озеро. Они вместе оступались на трясущейся подвесной лестнице, смотрели на сомалийских воинов, бьющих в барабаны, и на падающий дом, и на бесстрашных канатоходцев. Потом, придя домой, Готлиб пытался рассказать обо всем своим родителям, но те не интересовались подобными развлечениями, а дядя Генрих молча улыбался и играл «Не каждый день воскресенье».

Когда дядино сердце остановилось, аккордеон выпал из его рук. Грохнулся об пол, меха разорвались, клавиши рассыпались, как выбитые зубы. Куда его дели? Заперли вместе с дядей в гроб? И теперь они лежат вдвоем, опутанные корнями, в сырой земле. Встаньте, поднимитесь, боевые товарищи.

Нынешняя война не чета той. Германия стала сильнее. Навстречу

Готлибу попадались только калеки с ампутированными руками и забинтованными головами и женщины в трауре, однако он ощущал небывалый подъем духа. Какое-то чувство, похожее на счастье, бурлило в его груди и толкало домой. Счастье? А почему бы и нет? Его тоже можно производить, если как следует постараться. Перед Олимпийскими играми весь народ был счастлив. Германский трудовой фронт объявил Неделю радости, и все жители Берлина пребывали тогда в жизнерадостном и бодром расположении духа, в соответствии с указаниями Партии.

* * *

В одно из воскресений в квартиру Хайлманнов постучали. Бригитта переписывала столовые приборы и рассчитывала, что откроет муж. Однако он прокричал, что не может оторваться от силуэта. Иногда Готлиб настолько погружался в свое любимое занятие, что Бригитте казалось, будто он заточен в темных бумажных конструкциях и, чтобы выбраться наружу, ему самому приходится прорезать двери и окна.

Постучали еще раз. Бригитта отложила ручку и пошла открывать. Одиннадцать, повторяла она про себя, одиннадцать. Наверное, это из гитлер-югенд, опять собирают ветошь, макулатуру, пустые бутылки, жиры, старые лезвия, кости или что там еще. Им всегда что-то надо, этим вежливым мальчикам с их неизменным приветствием «Кровь и честь» и списками имен. Однако за дверью оказалась соседка по площадке.

— Фрау Левенталь? Как поживаете?

— Спасибо, хорошо. Я хотела вас спросить... Если вы не торопитесь.

Бригитта не знала, стоит ли приглашать ее внутрь. Или лучше оставить на пороге — вдали от выставленной посуды и разложенных ножей. Да и к тому же нехорошо, если увидят, что она пускает к себе в дом такую гостью. От них все беды! Это они развязали войну! Кровь германского народа на их руках!

Стоя в дверях, Бригитта видела прихожую в квартире Левенталей. Она была такая же, как у них: та же форма и размер, только в зеркальном отражении. Вся квартира была такой, насколько Бригитта могла судить снаружи. За одним исключением: у соседей в прихожей висели темные пальто с недавно пришитыми желтыми звездами. Что ж, это благоразумно. Это закон. Левентали благо-зумные люди, они отослали детей еще до того, как начались бомбежки. Хотя Бригитта сама никогда не решилась бы расстаться со своими детьми. Левентали не выбрасывают в мусорные баки

кочерыжки, очистки и корки, которые привлекают грызунов (в отличие от других, менее сознательных жильцов их дома, имена которых Бригитта даже может назвать). Они следят, чтобы ведра с водой и песком на их этаже были полными. Не выбивают ковры в неположенное время. И не спускаются вместе со всеми в подвал, когда звучит сирена. Это тоже закон.

— Что случилось, фрау Левенталь?

— Не сочтите меня сумасшедшей... По ночам я слышу шум.

— Шум?

— Да, из вашей квартиры. Я ни в коей мере вас не обвиняю, — поспешно добавила она.

— Что за шум? — поинтересовалась Бригитта.

— Сложно описать. Будто тащат или двигают что-то тяжелое. И наша квартира, наша гостиная... Не знаю, как объяснить... По-моему, она уменьшилась.

— Это невозможно! Уменьшилась? Вам, наверное, показалось. Сейчас хмурая погода, недостаток света... В любом случае, я ничего не слышала. Ни звука.

Бригитта закрыла дверь и вернулась к своей посуде. На чем она остановилась? Ножи свалены в кучу. Сколько их? Девять? Двенадцать? Непорядок. Она вздохнула и принялась пересчитывать ножи заново, укладывая в обитую войлоком коробку и стараясь не думать, о том, что сказала ей фрау Левенталь. Неслыханное дело, чтобы соседи приходили в воскресенье, без предупреждения, и высказывали всякие нелепые догадки. Ничего не происходит. Ровным счетом ничего! А даже если бы и происходило — какие-то передвижки или корректировки, — то они, вне сомнения, не в их ведении. И нечего совать нос! Девять, считала Бригитта про себя. Пробили часы. Десять. Одиннадцать. Двенадцать.

Закончив с посудой, Бригитта пошла в гостиную и села в кресло. Перед ней стояло закрытое пианино, она не играла уже несколько месяцев — было не до музыки. Готлиб вырезал новый силуэт: церковь, уничтоженная при бомбежке, восставала вновь под его пальцами. И куда складывать все эти тени? Бригитта не знала, как заносить их в свой грессбук. Порой ей хотелось самой взять в руки ножницы и вырезать другой силуэт, разрушенный и рассыпающийся на части, с каждым днем все более обезображенный. Она взглянула на портрет фюрера, висящий над диваном. Говорят, стена с ним устоит, даже если в дом попадет бомба. Она присмотрелась, похоже, стена и правда отодвинулась, освобождая место для теней. Но, может, это просто оптическая иллюзия, вызванная хмурой погодой, как она сказала фрау Левенталь. Звучит логично.

Самовар, отмытый и отполированный, стоит на буфете. Бригитта специально поставила его так, чтобы Ханнелора не могла не заметить. Однако та ни словом не обмолвилась, придя в гости. Пожалуй, следовало его затопить, однако Бригитте не хотелось зря рисковать. Вдруг что-нибудь случится? Поцарапают чайной ложечкой, ударят о раковину... Всякое бывает. В свой последний визит Ханнелора застыла при входе в гостиную. Неужели заметила? Но она спросила:

— Вы что-то передвинули?

И продолжала осматриваться, старясь понять, что изменилось.

— Да, мы сделали перестановку, — ответила Бригитта.

— Как ловко! — откликнулась Ханнелора. — Стало гораздо просторней.

Бригитта знала, что стены не двигаются сами собой. Такого не бывает! Памяти нельзя доверять. Если бы ее попросили отвернуться и нарисовать комнату, она бы наверняка ошиблась. Перепутала бы размеры и перспективу. Даже когда дело касается чего-то родного и близкого, память подводит, что уж говорить про комнату. Нет, стена осталась на месте. Фюрер висит, где раньше.

Готлиб поднял глаза от работы.

— Исключительное сходство, — кивнул он на портрет. — Как живой.

— Ты видел его? — удивилась Бригитта.

Вполне возможно. Почему ей раньше не приходило это в голову? Работа ее мужа (чем бы он там ни занимался) имеет национальное значение. Фюрер наверняка инспектировал их. Они обменялись рукопожатиями? Говорили?

— Нет, — сказал Готлиб. — Я его не видел. А даже если бы и видел, то не сказал бы.

— Значит, видел! — воскликнула Бригитта. — Представляю лицо Ханнелоры...

Да, Ханнелоры, которая носит не снимая свой почетный крест немецкой матери, которая одна занимает огромную квартиру в Далеме, которая получает кофе из Бельгии и меха из Норвегии от своих четырех сыновей, служащих в Вермахте, которая игнорирует Бригиттин самовар (хотя тот гораздо изысканнее, чем ее собственный) и которая теперь еще и работает в пункте первой помощи по ночам. Бригитте никогда с ней не угнаться.

— Не стоит говорить Ханнелоре, что я его видел. Или что не видел. А я не видел.

— Ясно... Ты не видел его.

Готлиб продолжил вырезать силуэт.

* * *

Я знаю, что Готлиб Хайлманн никогда его не видел. Говорят, рейхсканцлер время от времени заезжает в их отдел. И в один из своих визитов был представлен некоторым коллегам Готлиба, включая его непосредственного соседа. Готлиб верит, что видел эту встречу через матовое стекло: суматоха вскинутых в приветствии рук, обмен шутками, которые он не расслышал. Размытые фигуры, похожие на призраков. И почти сразу удаляющиеся шаги по безупречно чистому коридору. Прямо скажем, не много. Но даже это Готлиб не считал нужным рассказывать своей жене. Не надо, чтобы посторонние знали о перемещениях фюрера. Так безопаснее. Кто знает, возможно, он везде. Как Господь Бог всемогущий, как газ в герметичной камере.

Немецкое лицо

Птица, ты —?
В руки сестер — тебя отдаю,
Чтобы легкую — твою, удержать на краю,
Или ты, как —, растаешь?
В темных зрачках твоих
Я вижу отблеск иных...
Но они угасают в мгновенье.
Пусть — была —,
Даже самая горькая —
Несет —.

Июль 1942. Близ Лейпцига

В банке из-под меда, стоящей на подоконнике, Эрих хранит свои сокровища: раковину улитки, желудь, мертвую пчелу — у нее даже крылышки целы. Интересно, пчелы, когда умирают, тоже превращаются в прах? Но ведь эта цела. Тогда почему вся земля вокруг не усыпана нетленными трупиками пчел? Еще в банке стоят флажки с парада; они выцвели и стали серо-розовыми, как вечернее небо, предвещающее хорошую погоду. А на дне банки лежит банкнота в десять тысяч марок, еще из тех времен, когда деньги стоили так мало, что в городах люди не могли купить буханку хлеба за целую корзину таких бумажек. Папа подарил ее Эриху перед тем, как уйти на войну.

— Что ты видишь? — спросил тогда папа, показывая на купюру.

— Человека, — ответил Эрих.

— Посмотри внимательнее.

Эрих стал всматриваться в портрет. Там был человек, одетый в старомодный костюм и шляпу; он смотрел на нули и, казалось, хмурился, не веря своим глазам.

— Переверни, — сказал папа. — Что ты видишь?

— Еще одного человека.

— Что на шее у крестьянина?

— Это крестьянин?

— Не похож?

— Не очень.

— Взгляни на его шею. На воротничок. Видишь?

— Да, папа, вижу.

Но Эрих не видел ничего, кроме крестьянина, лежащего на боку и будто придавленного сверху нулями, как тяжелыми камнями.

В этот день к ним пришел представитель Имперского продовольственного комитета, чтобы измерить поля, пересчитать кур и взвесить коров. Когда папа разговаривал с ним, Эрих снова достал подаренную банкноту и долго рассматривал ее то с одной, то с другой стороны. Смотрел и смотрел, пока не заболели глаза: отодвигал ее и прищуривался, подносил к самому носу так, что затертая бумага касалась ресниц. И пахла осенью. Он ничего не видел.

Уже два года, как отца нет дома. Но и без него на полях росли пшеница и ячмень, наливались початки кукурузы, Ронья таскала телегу, коровы давали молоко, мама рубила курам головы. Все без папы.

— Фюрер о нас позаботится, — не уставала повторять мама.

Когда на ферме появились работники-иностранцы, она удовлетворенно кивнула:

— Вот видишь?

Работники спали в сарае, часть которого они сами приспособили для жилья. Эриху запрещалось ходить туда одному и разговаривать с ними, потому что они чужеземцы, и кто знает, что у них на уме, даже если выглядят они вполне миролюбиво. Они почти не говорили по-немецки и, если замечали, что их слушают, тут же замолкали. Однако до Эриха иногда доносились их разговоры через раскрытое окно детской. Их говор был мягче и свободнее, чем у немцев. Эрих повторял про себя те слова, которые ему удалось услышать. Они свистели и жужжали у него на языке, и ему казалось, что еще чуть-чуть, и он поймет их смысл. Надо только как следует сосредоточиться. Но значение ускользало, как сон после пробуждения.

Маме приходилось объясняться жестами, давая задания работникам. И те из них, которые находились вне маминого поля зрения, улыбались, наблюдая, как она доит невидимых коров, ощипывает невидимых кур и копает невидимые ямы невидимой лопатой.

* * *

Эрих лежал в высокой траве и крутил свою игрушку, растягивая нитки между большим и указательным пальцами. Он наблюдал, как половинки то сливались в одно лицо, то разделялись. То сливались, то разделялись. Ульи гудели, пчелы летали. «Стать водой, а затем льдом», — плакала Луиза. «Никто не пил из колодцев», — рассказывал дедушкин брат. Было сложно понять, высоко ли летают пчелы: может, это пылинки, кружащие перед глазами, а может, огромные птицы, парящие в вышине. В школе учительница повесила схему, как выглядят немецкие и вражеские самолеты с земли, чтобы все заучили их силуэты и знали, когда надвигается опасность. Странно, думал Эрих, но некоторые боятся пчел: застывают как вкопанные или начинают беспорядочно махать руками, будто тонут. Вот, например, Лина из Имперской службы труда. Ее, как и работников, прислали к ним на ферму для помощи, потому что все немцы должны

исполнить свой долг, и вообще труд — это почетно.

Эриху очень хотелось, чтобы к ним на ферму поселили какую-нибудь семью из города, пострадавшую от бомбежек. Он завидовал тем одноклассникам, у которых жили эвакуированные: это все равно, как вдруг получить братика или сестричку. Но мама была против. Она считала, что им достаточно работников и Лины, которая не знает, с какой стороны подойти к корове, и трясется при виде пчел.

— Успокойся, — сказала мама, когда обнаружила испуганную Лину в конюшне. — Бояться нечего.

— Конечно, — пробормотала Лина, кроша дрожащими руками солому. — Извините.

— Наверное, надо объяснить тебе кое-что про пчел?

Лина кивнула.

— Да, они могут ужалить, когда напуганы. Да, они не наделены разумом. Но в наших силах подчинить их себе. Мы можем изменить природу: остановить поток и направить его в нужное русло. Верно?

Лина опять кивнула.

— Пчелы не обладают разумом, — продолжала мама, — зато мы обладаем.

— Да, — пробормотала Лина.

— Мы позволяем им изредка жалить себя — для нашей же собственной безопасности. Это совсем не больно. Не больнее укола булавкой. И это очень быстро, даже заметить не успеешь.

— Точно, — подтвердил Эрих. — Совсем не больно. Ты привыкнешь.

Лина кивала и соглашалась, но я знаю, о чем она думала: «Куда я попала? Какая безопасность?» Вероятно, ее пугали не столько пчелы, сколько сами улы: лица, которые следили за ней, когда она искала в траве упавшие яблоки. Она старалась держаться от них подальше. Обходила стороной, а устав от работы, убегала на задний двор собирать лютики и болиголов. Сбрасывала туфли, стягивала носки, высоко подтыкала платье. На ее ногах серебрился легкий пушок, лицо и плечи светились от солнечных лучей. Она была как девушки из книги, которую тетя Улла принесла маме. Там обнаженные люди занимались гимнастикой в полях и лесах и собирали урожай совершенно нагими.

Эрих показал Лине, как надевать папин пчеловодный костюм, закрывающий все тело. Чтобы не получилось, как у Зигфрида с липовым листком, пошутил он, но Лина не поняла. Когда она заправила штаны в ботинки, надела перчатки и опустила сетку, можно было представить будто это папа вернулся с войны. Сейчас возьмет Эриха за руку и предложит

посмотреть альбом про фюрера, и будет показывать свои любимые картинки, и вздыхать, что удалось собрать не все. Однако Лина закашлялась, когда мама зажгла дымарь, запнулась о торчащий корень и убрала сетку ото рта, хотя мама предупредила, что пчелы летят на дыхание. Нет, это был не папа.

— Надо продолжать писать ему, — говорила мама. — Надо писать о хорошем. Только о хорошем.

По воскресеньям после обеда они садились за кухонный стол сочинять письма. Мама то и дело заглядывала Эриху через плечо, чтобы проверить, так ли он пишет, но искала она не орфографические ошибки, а признаки уныния. Эрих написал про работников-иностранцев (убери, сказала мама), про Лину (это подойдет) и про парней из гитлерюгенда, которые приезжали к ним на ферму помогать со сбором урожая и показали ему свои блестящие пряжки и ножи (отлично, сказала мама). Написал, как высоко поднялись лиственницы (да) и как ему хочется, чтобы папа вернулся к осени, когда они начнут менять цвет (нет). Написал, что научился сам обрезать и чистить копыта Ронье (да) и что им повезло, ведь она уже старая и армии не нужна (нет). Написал, как фрау Ингвер принесла в класс схему германского лица и сравнивала с ней всех учеников. Надо было выходить к доске по одному и стоять смирно, пока она измеряла череп, нос, челюсти. Оказалось, что Эрих — идеальный немец. Представитель чистой нордической расы. В качестве награды учительница посадила его на свой стул перед всем классом и дала остальным задание зарисовать у себя в тетрадях его идеальное германское лицо.

— Ты мне не говорил, — удивилась мама.

— Это хорошая новость? Подойдет для папы? — спросил Эрих.

Я вижу, как учительница поздравляет Эриха, жмет его руку и усаживает на свой стул, прямо под портретом фюрера. Все глаза устремлены на него. Одноклассники срисовывают его правильный лоб и соответствующие стандартам уши, а он сидит как на иголках. Некоторые хмурятся, глядя в свои тетради, поднимают глаза на Эриха и хмурятся еще сильнее. Перечеркивают — идеальное немецкое лицо им не дается. Эрих до сих пор ощущает холодный металл кронциркуля на висках, прикосновения чужих рук на губах и шее. Он смотрит на дальнюю стену, где висит карта мира, утыканная флажками со свастиками, которыми отмечают продвижение немецких войск. Каждый раз, когда учительница переставляет флажки, на карте остаются едва заметные отверстия, пунктирные линии, армия пустоты. В конце концов, пустота сожрет всю землю.

— Это что? — Фрау Ингвер склоняется над Хайнцем Куппелем и, прежде чем тот успевает что-то ответить, вырывает его рисунок из тетради и выкидывает в мусор. — Чудовищно! — восклицает она.

Хайнц, конечно, не хотел изобразить чудовище, но наказание неизбежно даже за случайную оплошность. Фюрер не приемлет искусства, которое искажает и извращает реальность. Фрау Ингвер идет к своему столу, достает оттуда брошюру и находит нужную страницу. Я вижу, что еще лежит в ящике: сломанная расческа, стеклянный шарик, фотография мужчины с белой кошкой. Эрих тоже все это видит, хотя он должен был отвернуться, нехорошо подглядывать. Фрау Ингвер сдерживает слезы? Мне сложно понять, у меня было мало времени, чтобы узнать, что такое слезы. Но раньше она плакала. Плакала, когда рассказывала, как фюрер на время потерял зрение в прошлой войне. Плакала, когда показывала фотографию камеры, в которой он провел девять долгих месяцев. Плакала, когда читала детям речь рейхсминистра Геббельса в честь дня рождения фюрера: «Нужно видеть его, пусть хоть на фотографиях, чтобы собрать необходимое нам мужество». Она не любила наказывать детей, однако делала это из чувства долга.

Фрау Ингвер закрывает ящик стола, и слышно, как в его недрах катается стеклянный шарик.

— Начинай отсюда, — говорит она Хайнцу Куппелю и кладет перед ним брошюру.

Мальчик начинает переписывать: «Смелость — характерная черта германской крови. В прошлом Германия считалась частью Германской империи. Но пришел фюрер и возвестил германскому народу, что Германия — это все, в ком течет германская кровь. Границы государства — не природная данность, как раса или народность, они устанавливаются людьми. Очевидно, что государственные границы Германии гораздо уже, чем германский народ».

Когда рисунки были готовы, фрау Ингвер сказала, что теперь все (кроме Хайнца Куппеля) идут собирать лечебные травы: тысячелистник от кровотечений, ромашку от болей, наперстянку от сердца, липовый цвет для успокоения нервов. Сушили их на душном школьном чердаке, тщательно взвешивали, записывали и отправляли на фронт. Каждому ученику полагалось заготавливать по два килограмма в год, чтобы доказать Отчизне свою любовь и стремление к общей победе. Но, конечно, было бы прекрасно, если бы их школа перевыполнила план и показала лучший результат в регионе, потому что Имперская ассоциация по изучению лекарственных растений и Служба обеспечения лекарственными

растениями ежегодно публикуют результаты, и каждому видно, в каких школах учатся ленивые и неблагонадежные дети, а в каких — правильные и достойные.

Каждую неделю фрау Ингвер отбирала двоих мальчиков, которым поручалось отнести наверх собранные травы. Эриха она всегда обходила, считая его слишком маленьким. Он никогда не бывал на школьном чердаке, но представлял его цветущим лугом. Именно так он и описал его в письме к папе, но мама запретила рассказывать, что лекарства для раненых солдат делают из трав, собранных школьниками.

* * *

Тетя Улла тоже писала письма. Ее жених Герхард воевал где-то в пустыне. Точнее никто не знал — как и про папу, было известно только, что он воюет в России. Улла никогда не видела Герхарда: она случайно оказалась на вокзале, когда его поезд проходил через Лейпциг. Состав замедлил ход, но не остановился, потому что вез солдат в степи, в пустыни, на океан — всюду, где предстояло сдвинуть границы. Девушки на платформе махали солдатам, а те бросали записочки со своими именами: Иоахим Кальб 09589В, Петер Экштайн 18608А, Ульрих Портнер М13039. Так Урсула и нашла своего Герхарда. Она схватила записочку с его именем, когда та пролетала мимо. Эту историю они будут рассказывать своим детям (да-да, дети непременно появятся). Урсула не видела Герхарда, Герхард не видел Урсулы, но теплый вихрь от промчавшегося поезда взъерошил ее волосы, как рука влюбленного. Урсула писала жениху в пустыню и даже послала свою фотографию в пестрой блузе, в которой ее ключицы выглядят гораздо привлекательнее, чем на самом деле. И Герхард писал Урсуле. «Называй меня Улла», — разрешила она всего через месяц. В одном из писем он прислал ей пригоршню песка, и тот высыпался прямо ей на колени, когда она открыла конверт. И пусть песок — всего лишь прошлое, превращенное временем в пыль, для нее он был знаком будущего: солнечный день на пляже, соленая вода на разгоряченной коже, гладкие камешки, спрятанные в карман.

— Как ты думаешь, можно влюбиться по письмам? — спросила Урсула сестру.

— Конечно, — ответила Эмилия.

Что она могла еще сказать, если вместо мужчин остались одни бумаги? Письма, фотографии, извещения. Маленькие записочки из проходящего

поезда, короткие телеграммы.

* * *

Вечером Эмилия снимает косынку и причесывает волосы. Незаплетенные и неподколотые, они спускаются водопадом до самой талии. Именно такой ее увидел впервые Кристоф. Тогда она мечтала о доме, полном детишек, и придумывала им имена: Марко, Аннегрет, Густав, Лотта.

Имена поднялись со дна ее памяти, и она вспомнила, как высчитывала благоприятные дни для зачатия, жила по календарю. Проходили месяцы, но ничего не получалось. Она прижимала руки к чреву и не могла понять, что не так. В хлеву телята вставали, пошатываясь, на слабых ножках, в курятнике наседки грели гнезда, в ульях матки откладывали тысячи яиц. Почему я бесплодна, недоумевала она. Сестра заваривала ей целомудренник, пар поднимался над кружкой, как надежда, Эмилия вдыхала его и пила отвар маленькими глотками.

Каждое утро Эмилия молилась бронзовой голове, которую Кристоф купил в Лейпциге, и однажды ночью бронзовый человек пришел к ней во сне. Он ласкал ее бронзовыми пальцами, а потом навалился прохладным блестящим телом и взял ее. Она лежала на траве и слушала плеск озера, пока бронзовый любовник делал свое дело. Маргаритки и одуванчики упирались ей в спину тычинками.

Когда муж оставил в ней свое семя, она почувствовала, что в чреве наливается тяжесть, весомый металлический груз. Представляла, как внутри зарождается и начинает расти бронзовый младенец, медовый младенец наполняется сладостью.

Потом в больнице ее уложили на белоснежную койку и попросили раздвинуть ноги. Так надо, уверяли они. Хорошо, что вы согласились на операцию. Они сказали не бояться маски и дышать как обычно, считать в обратном порядке и вдыхать газ. Эмилия не боялась, никогда не боялась, и не просто согласилась на операцию, а сама просила о ней, ведь таким был ее долг, а свой долг она всегда исполняла с радостью. Десять. Девять. Восемь.

* * *

К концу осени ульи затихают: все трутни изгнаны, старые и больные пчелы оставлены умирать на холоде. Эрих заглядывает внутрь и говорит: «Не переживайте. Папа скоро вернется». Да, когда окна покроются морозными узорами, они вместе с папой будут греть пфеннинги на печке и прикладывать их к стеклам, чтобы увидеть заснеженный сад, будут рассматривать альбом про фюрера. Сколько месяцев уже прошло без папы? И кто знает, сколько еще пройдет (и кто знает, сколько у него за спиной смертей и пожаров).

— К Рождеству война закончится? — спрашивает Эрих.

— Хорошо бы, правда? — откликается мама, но ведь это не ответ, а вопрос.

На следующей неделе мама и тетя Улла берут Эриха в церковь в будний день.

— Кто-то умер? — спрашивает Эрих, потому что церковь полна народа.

— Нет, — отвечает тетя Улла. — Надо решить, какой колокол оставить.

— Зачем? — удивляется Эрих.

— Остальные фюрер забирает для войны.

Эриху хочется спросить, что фюрер собирается делать с колоколами. Может, они нужны ему для парада победы? Отпраздновать окончание войны? Но тут появляется бургомистр.

— Осанна — самый старый и поэтому самый ценный колокол. Предлагаю оставить его.

— Святой Павел красивее, — замечает герр Куппель. — Какая изящная у него кайма из виноградных листьев, какая изысканная надпись...

— Лютер превосходит прочие по техническим характеристикам, — вмешивается фрау Ингвер. — Об этом писал известный колокольный мастер.

— Лучше всех звучит Архангел Гавриил, — говорит пастор. — Мне было шесть лет, когда я первый раз позвонил в него. Веревка потянула меня за собой вверх, мне показалось, еще чуть-чуть, и я достану до неба, а воздух вибрировал от нежного звона.

— Лютер самый тяжелый.

— Осанну слышно даже в Лейпциге.

— Архангел Гавриил спас деревню от пожара.

Как выбрать?

— Можно ведь и ничего не отдавать, — раздался голос из задних рядов.

Все обернулись, чтобы посмотреть, кто решился высказать такое немыслимое предложение. Бабушка Кренинг.

— В других деревнях и городах жители прячут колокола. Заваливают бревнами, закапывают в землю. Они знают, чем это грозит, и все же...

Жители здешней деревни были не такими.

Когда слуги фюрера пришли за колоколами, они забрали их все.

* * *

В январе Эрих с мамой каждый день ходят на озеро и проверяют толщину льда, каждый день продвигаются чуть дальше по затвердевающей шкуре. Когда мама решит, что лед встал, они привяжут к ногам коньки и понесутся по застывшей воде. Мама научит Эриха кружиться. Выбери неподвижный ориентир, скажет она. Смотри на него. И если Эрих вдруг потеряет равновесие, если мир вдруг наклонится и лед начнет стремительно приближаться, то на мгновение Эрих заметит темные тени, скользящие в глубине. Но мама поймает его за руку и удержит. И щеки ее зарумянятся от мороза. Королева льда! Эта картина несказанно мучает меня. У меня нет ориентира. Я нигде. Я ничто. Я никогда не держал маму за руку и не скользил по воде. Не слышал, как с веток осыпается снег. Не видел свое дыхание на морозе.

* * *

Когда приходит весна и луга расцветчиваются лютиками, примулами и фиалками, мама отправляет Эриха в сад следить за вылетом пчел. Она отпускает его одного, только просит не разговаривать с работниками.

От Лины, пожалуй, была какая-то польза, признает мама, но Лина отработала у них полгода, как и положено, и теперь им придется обойтись без нее.

Эрих сидит, запрокинув голову, среди ульев и смотрит на солнце — хоть мама и запрещает так делать. Когда он закрывает глаза, солнце не пропадает. Остается темный фантом на призрачном небе — мир наоборот. Он слышит, как просыпаются пчелы.

Папа научил его ловить вылетающий рой и направлять в новый улей. А что, если загнать пчел в коробку и отправить папе в Россию? Папа выпустит крылатых чудесных бойцов, которых не берут никакие пули. И

они набросятся на врагов и будут жалить их в горло, в глаза, в сердце. И добудут победу ценой своей жизни.

Эрих оглянулся. Кто здесь? Работники спрятались в саду и шепчутся на своем языке, плетут заговоры? Нет, никого не видно. Только улы тихо рассказывают истории, вперив в Эриха пустые глаза. Дядя Густав, погибший при Сен-Прива. Прекрасная Луиза, дедушкина первая любовь. Франкский мясник. Пастор в черной шляпе. Ростовщик. Иоанн Креститель. «Когда я медленно умирала, мы часами шагали под августовским пеклом». Голоса смешиваются, перебивают друг друга. «Мы подошли к концу битвы, они выворачивают передо мной свои души».

Эрих вспомнил, как бабушка рассказывала ему про улы, когда он лежал с воспалением легких. Она тогда спросила, хочет ли он, чтобы папа так же вырезал его лицо, Эрих кивнул, а в голове стучало: «Нет, нет, нет».

Ты тоже принадлежишь фюреру

Ни — о — от —,
Ни — об —,
Лелеющие —,
Которая, ускользя, обнажает —.

Ни —,
Ни —
Не пробудят в юности —,
Спящую в —.

Апрель 1943. Берлин

«Пробежать 60 метров за 14 секунд. Прыгнуть в длину на два метра. Бросить мяч на 12 метров. Сделать два кувырка вперед, встать без помощи рук, сделать два кувырка назад. Пробежать под крутящейся скакалкой. Вас ждет проверка мужества».

Вечером накануне двадцатого апреля Зиглинда Хайлманн достает из шкафа новую униформу: коричневый пиджак и темно-синюю юбку. До церемонии еще долго, но ей не терпится примерить. Форма сидит отлично. Все так, как надо. Волосы причесаны и заплетены в тугие косы. Лицо отмыто — никаких признаков нечистой крови. Белая блуза застегнута на пуговицы с дубовыми листьями. На левом рукаве пиджака — нашивка, белые края точно подвернуты, так что видна только черная кайма. Пятки и носки коричневых ботинок подбиты металлическими пластинами, чтобы чеканить шаг на марше. Справка о состоянии здоровья. Настольная книга — из нее не вырезано ни единого слова. Очень много правил, вздыхает мама, но Зиглинде нравится книга и нравятся правила. С ними всегда понятно, что делать и как жить. Зиглинда заучивает их наизусть.

«Гордиться собой может лишь тот, кто беспрекословно подчиняется вожаку и всегда аккуратно исполняет долг. Девочки в возрасте 10–11 лет раз месяц принимают участие в однодневном походе с рюкзаками. Протяженность маршрута — не менее 10 километров, скорость передвижения — 3 километра в час, после каждого часа ходьбы — перерыв не менее 15 минут. Если по каким-то причинам вы не можете посетить общее собрание, спортивное мероприятие или поход, следует заблаговременно отпроситься у вожака группы. В случае пропуска по непредвиденным обстоятельствам следует принести объяснительную записку. В случае пропуска по болезни следует принести справку сразу после выздоровления. Если болезнь длится более недели, следует предупредить вожака. Когда вам станет лучше, следует отчитаться. Если вы хотите на каникулах поехать в путешествие с родителями или навестить родственников, следует обратиться к вожаку за освобождением на неделю. Если вы не можете участвовать в каких-то мероприятиях по состоянию здоровья (например, если противопоказано плавать из-за болезни ушей), следует обратиться к врачу Союза немецких девушек, чтобы он провел обследование и дал письменное заключение. Отсутствие без уважительной причины не допускается».

И вот долгожданный час настал. Зиглинда и другие девочки присягают флагу и фюреру, приносят себя в дар на его день рождения. Теперь им разрешается посещать еженедельные заседания Союза (явка строго обязательна). Там они узнают об отважных германцах, защищавших в былые времена свое Отечество: об Арминии, а точнее Германне, который разгромил три римских легиона в Тевтобургском лесу и объединил Германию; о Генрихе фон Плауэне, который защитил Мариенбург от кровожадных поляков; о королеве Луизе, которая согласилась на встречу с Наполеоном ради Пруссии; о борце за свободу Андреасе Гофере, который не позволил завязать себе глаза перед казнью, отказался встать на колени и сам дал команду стрелять. Не обязательно становиться взрослым, чтобы отдать свою жизнь за Германию. Вспомните Герберта Норкуса, ему было всего пятнадцать, когда коммунисты забили его до смерти на Цвинглиштрассе, кстати, это совсем недалеко отсюда. Он был из простой, бедной семьи. Но разве он искал неприятностей? Первым лез в драку? Нет, он просто раздавал листовки. Выполнял долг, порученный ему Партией, чтобы донести слова правды до людей в то непростое время. И за это он получил шесть ударов ножом. След его окровавленных рук остался на стене, как память. Он умер за правду, за флаг, который дороже жизни.

На собраниях девочки разучивают песни: народные баллады, военные марши и колыбельные. Вожак Юлия читает им сказки — из толстой книги в красном переплете с золотым обрезом. Книга хранится в шкафу вместе с кистями, красками, ножницами, катушками ниток, лоскутами ткани, клубками шерсти, мотками веревки, крышками бутылок и деревяшками. Из подручных материалов девочки мастерят счастливые кукольные семьи, крепкие домики, чистые поезда с чистыми пассажирами, выглядывающими из всех окон, — их столько, что хватит на целую деревню, на целый город.

— Правда, что неподалеку построили фальшивый Берлин, чтобы сбить с толку врага? — спрашивает Эдда Кнопф.

— Возможно, — отвечает Юлия, — вполне возможно. Построили же на Литцензее плавучие дома, чтобы с воздуха они казались обычным пригородом. А с колонны Победы сняли позолоту. Мы, немцы, очень изобретательны.

Девочки кивают.

Юлия читает им сказки про обманы и превращения: семь сыновей обратились в воронов, портняжка стал королем, отрубленный мизинчик, как ключ, открыл стеклянную гору, косточка вышла из-под земли и пропела имя убийцы. Юлия рассказывает им о фюрере. О том, как он освободил Германию от уз мошеннического договора, подписанного в зеркальном

и рук, и ног. Да, я знаю про инвалида на Александрплац. Он сражался за наше Отечество в прошлой войне, и поэтому у него есть определенные привилегии. И к тому же, он очень вежливый и просит милостыню на безукоризненном немецком языке. Некоторым из вас не мешало бы взять с него пример. Насколько мне известно, наш гауляйтер доктор Геббельс планирует повторить конкурс на звание самого вежливого жителя Берлина. Я вот принимала участие в прошлый раз, правда, приз не получила, зато хорошие манеры остались со мной.

Дети, полюбуйтеся на медали и значки, которые вы сможете получить, когда подрастете. Изо дня в день рабочие полируют и начищают их, чтобы они блестели как серебро и золото, хотя в них нет ни грамма драгоценного металла. Правда, они прекрасны? Прекрасные награды за ужасные дела. Ой, простите, что-то я не то сказала. Беру свои слова обратно. Я этого не говорила.

Вот штурмовой знак. Каждую неделю их выпускают тысячами. Чудесно, правда? Некоторые из вас наверняка видели такой на груди у своего отца, если, конечно, он не убрал его подальше вместе с другими ценными вещами. А вот медаль «За строительство Западного вала». Туннели и бункеры запутают врага, зубы дракона задержат танки. Мы надежно защищены. Вот знак за борьбу с партизанами, живучими, как гидра: отрубишь одну голову — вырастет десять. Вот Восточная медаль, для тех, кто нынешней холодной зимой ковал нашу победу на востоке. Красный цвет ленты символизирует пролитую кровь, белый — русский снег, черный — смерть. То, что я вам показываю — просто образец. Зима кончилась, бои прекратились, фабрика больше не выпускает такие медали — вам, увы, не придется их получить. А вот знак «За уничтоженный танк». Учтите, танк надо уничтожить самостоятельно, без чьей-либо помощи. Взгляните, нашивка снайпера: зоркий орел высматривает добычу. Чтобы получить ее, надо убить двадцать врагов, если вы хотите с серебряным кантом — сорок, если с золотым — шестьдесят. Каждый факт уничтожения должен быть засвидетельствован, задокументирован и подтвержден.

Я обращаюсь к вам «дети», но имею в виду, конечно, только мальчиков. Всегда лучше уточнить, что имеешь в виду. Наши генералы в неформальной обстановке обращаются к солдатам «сынки». По-моему, это очень трогательно. Женщинам ни к чему гнаться за мужчинами: им не быть ни снайперами, ни уничтожителями танков, ни истребителями партизан, их единственное дело — рожать. Фрау Мюллер, вы покажете нам почетный крест немецкой матери? Они бывают бронзовые, серебряные и золотые. Да, как олимпийские медали. Нужно родить не менее четырех детей.

Мертворожденные не считаются. Но это не все: наплодить детей может каждый, взять хоть цыган. Главное — качество детей. Поведение и кровь матери должны быть безупречны. Если вы получите такой крест, вам больше никогда не придется стоять в очередях, все — даже старики — будут уступать вам место в трамвае, и мясники будут приберегать для вас лучшие куски.

И напоследок знак «За ранения». Он дается пострадавшим от действий противника. Что это значит? Это значит, что не обязательно быть солдатом. Можно получить ранение, сидя в собственном доме. Изувеченное лицо, мозговая травма, слепота — все считается. Только если это не врожденный порок. Пороки — следствие нечистой крови, а не действий противника. Чувствуете разницу?

* * *

Лежа в кровати, Зиглинда слушает, как стучат напольные часы и как голоса родителей мешаются с голосами из народного радиоприемника. От свитера чешется шея — папа велит всем спать одетыми. Надо быть готовыми. Всегда готовыми. В школе поселили жителей из разрушенных домов. У большинства не осталось ничего, кроме одежды, которая была на них во время бомбежки. Девушки из гитлерюгенда приносят похлебку, и они с жадностью бросаются на нее. Они не были готовы.

Зиглинда поднимает светомаскировочную штору и открывает окно. Небо иссечено лучами прожекторов. Все спокойно. В песочнице разваленный замок Юргена. Зиглинда думает: вот моя левая рука, вот моя правая рука, вот мой левый глаз, вот мой правый глаз. Вперед. Вперед! Юность не ведает страха.

Человек-тень

Дом —,
—,
В комнатах бродит —.
Кто, тот —?
Отец, который не в силах —,
Когда дитя —.

Ноябрь 1943. Берлин

Однажды зимним утром, подходя к своему кабинету, Готлиб заметил, что соседняя дверь открыта. Такого не случилось за все четыре года его службы в отделе. Он никогда не видел ни своих коллег, ни их рабочих мест. Знал только имена, потому что они были написаны на дверях. Готлиб остановился и заглянул внутрь: все точно так же, как у него, только в зеркальном отражении. Сосед сидел спиной к двери и печатал отчет, на нем был точно такой же костюм, как у Готлиба. Такие же каштановые волосы, зачесанные набок. Он открыл архивный шкаф, точно такой же, как у Готлиба. Их отдел, подумал Готлиб, — пример того, какой будет новая Германия: прогрессивные приспособления для решения вековых проблем, рукотворный рай. Будет возведена триумфальная арка в десять раз больше парижской, и на ней выбьют имена двух миллионов павших в Великой войне. Из гранита и мрамора построят зал Славы, такой огромный, что внутри с легкостью поместится собор Святого Петра. Такой огромный, что внутри будет собственный климат: дыхание десятков тысяч человек будет подниматься кверху облаками и опадать вниз росой и дождем. Целый мир, возведенный из камня.

Готлиб задержался у открытой двери на несколько мгновений и поспешно отошел, пока сосед не обернулся.

Утро Готлиб, как всегда, начал с отчета за вчерашний день. Закончив печатать, он заметил, что копия получилась очень бледная, видимо, пора заменить копировальную бумагу. Он не транжирил канцелярию, ведь каждый сэкономленный лист бумаги, каждая капля чернил приближают победу. Раз в месяц он составлял отчет по израсходованным материалам и убирал в тот же ящик, куда складывал ежедневные отчеты. Готлиб прислонил лист копировальной бумаги к стеклу. Тусклый зимний свет просачивался через нагромождение букв, через тени слов, которые он неумоимо вырезал из дня в день. Наложённые друг на друга, они сливались и деформировались, навсегда погребая под своей грудой значения.

Он работал очень плодотворно. Тонкое лезвие летало над текстом как сорока, подбирающая все блестящее: «утрата», «милосердие», «память», «надежда». Обычно Готлиб не раздумывал над теми словами, которые вырезал. Забывал о них в то же мгновение, когда они исчезали в печи — как предписывали правила. Это же просто обрезки. Но в тот раз они

почему-то остались с ним, преследовали его, то и дело вспыхивая в голове. Зимой темнело рано — когда он вышел, на улице было уже темно. Готлиб плелся по тротуару, как старик, еле уворачиваясь от идущих навстречу. Окна домов темнели словно провалы, рестораны пустовали, не горели, вывески кино и театров. Во тьме виднелись луна и колючие звезды, приколотые к черной груди неба, — такие же бессмысленные, как жестяные медали.

* * *

Я вижу, как он вглядывается в темноту. Кто знает, что там впереди? Газеты писали, что все животные, разбежавшиеся из зоопарка после бомбардировки, пойманы или ликвидированы. Но что там шуршит у канала? Кто рычит на огородах? Все вокруг не то, чем кажется. Пекари добавляют в хлеб картофельные очистки. Женщины рисуют на ногах стрелки от чулок и носят украшения из макарон. В магазинах продают суррогатные яйца и фальшивые устрицы. Раненых лечат травами, вместо плазмы вводят в вену кокосовую воду. Стены в подвалах сложены без раствора, так что их можно разобрать руками. Кофе — уже не кофе, шелк — не шелк, храбрость — не храбрость, любовь — не любовь, и мед делают совсем не пчелы. Где привычные доктора и портные? Вещи меняют обличье, стоит только отвернуться. В ночном небе вырастают рождественские ели, пронзают облака призрачными ветвями, стараясь нащупать там вражеские самолеты. Мы едим репей и крапиву, делаем жаркое из вымени и сердца, мажем на хлеб «масло Гитлера». Повсюду притворство. Клетки разбиты бомбами, и ягуары гуляют по улицам.

* * *

— Мальчики и девочки, строимся! Вы же не дикие звери, а воспитанные, послушные детки с хорошими манерами. Вот и фрау Мюллер, она пустит нас внутрь, внимательно всех пересчитает. Проходя мимо нее, не забудьте сказать «спасибо», вы же милые вежливые дети, а не дикие звери. Спасибо, спасибо. Благодарите без напоминания. Другие — негерманские — дети, не говорят «спасибо», они грубые и грязные, не умеют себя вести. Они — дикие звери. Или даже грибы. Да, грибы, но не такие, которые растут в здоровом лесу и которые ваши мамы добавляют в

ароматный суп. Они — ядовитые грибы, которые отравляют почву. Они смертельно опасны и поэтому должны быть вырваны с корнем. А вы не ядовитые грибы, вы чистокровные немцы, которые слушаются, подчиняются, ходят ровным строем и всегда говорят «спасибо».

Вот мы и внутри. Взгляните, эти женщины трудятся не покладая рук — куют нашу победу. А ведь у них наверняка есть дети, которых надо кормить, обстирывать, воспитывать. Пока их матери работают на благо Отечества, дети сидят в школе, учатся разным полезным вещам, как вы здесь сейчас. Или, возможно, дети этих самоотверженных женщин... Кто знает значение слова «самоотверженный»? Спасибо, Анна, верно. Запомните его, пожалуйста. Все мы должны быть самоотверженными. Так вот, возможно, дети этих самоотверженных женщин эвакуированы в деревню по приказу нашего прекрасного гауляйтера. Многие ваши одноклассники уже уехали, правда? Но нам повезло остаться в городе, потому что у ваших отцов ответственная работа — и пусть не прекращаются налеты, и пусть зимние запасы угля горят прямо в вагонах, и дым пожарищ закрывает солнце. Дети, отправленные в деревню, наверняка скучают по своим мамочкам. Конечно, а как же иначе? Однако их специально отправили туда, потому что там безопасно. Это совсем не значит, что здесь, у нас в Берлине, опасно. Тут почти как в деревне: во всех парках устроены огороды, на кладбищах растет мак, чтобы делать морфий. Спокойно и безопасно. Но за городом очень спокойно и очень безопасно, поэтому детей туда и увозят. И мы, возможно, тоже скоро туда поедem — все вместе, всем классом. Тогда в школе будет больше места для тех, кто остался без дома. Для раненых солдат, которых привозят на поездах по ночам и укладывают в спортивном зале и чьи руки и ноги потом сжигают в крематории. Сегодня мы не будем об этом говорить, сегодня мы будем наслаждаться нашей поездкой на чудесную фабрику, где работают самоотверженные женщины. Только взгляните на них, дети, как усердно они трудятся, чтобы защитить нас от яда. Из блестящих машин выходит прекрасная яркая ткань — целые рулоны. Какой веселый желтый цвет, как у лютиков, правда? Лютиков, которые мы с вами будем собирать в деревне без мамочек. А теперь на ткань наносят узор: пропускают ее через другую машину, очень умную машину. И вот ткань выходит с другой стороны этой изощренной машины... Что значит «изощренный»? Да, Юрген, правильно. Запомните это слово. Все мы должны быть изощренными. Видите, на желтой ткани появился узор в виде одинаковых звезд — ряд за рядом. Правда, похоже на лоскутное одеяло, чудесное одеяло, под которым всем нам будет тепло и бе-зопасно? А вот и выход. Фрау Мюллер открывает

дверь, снова пересчитывает нас. Еще раз скажем ей спасибо. Спасибо, что показали нам свою чудесную фабрику.

* * *

Готлиб давно не прикасался к жене — пожалуй, ни разу за последний год. Не потому что она подурнела, как другие мамы, у которых нет талии, грудь висит, глаза мутные, а кожа дряблая. Бригитта Хайлманн следила за собой: ее тонкая фигура нисколько не расплылась, темные волосы и зеленые глаза не потеряли блеска, пальчики всегда были наманикюрены. Готлиб замечал, что мужчины смотрят на нее с интересом, а женщины с завистью. Он ощущал гордость, и это пробуждало в нем чувство, которое принято называть любовью. Вот уже месяцев шесть или больше Бригитта поворачивалась к нему по ночам, прижималась всем телом, поглаживала ступней его ногу, клала руку на грудь.

Их дети подросли: Зиглинде скоро исполнится одиннадцать, да и мальчики стали вполне самостоятельными. Однако Готлиб замечал, что Бригитта всегда останавливается на улице, чтобы полюбоваться на младенцев. Она хранила всю детскую одежду и даже переписала ее в свой гроссбух. Регулярно стирала и проветривала, чтобы шерсть не пожелтела, а хлопок не выцвел. Жалко будет, если испортятся такие хорошие, добротные вещи, ведь они еще могут послужить. Она показывала Готлибу журнальные статьи о неполноценности детей, имеющих мало братьев и сестер; то и дело упоминала в разговорах знакомых женщин, которые родили четырех детей и получили почетный крест немецкой матери. Вот Ханнелора, замечала она, вообще свой не снимает, прикалывает на все платья, даже на шелковые, и не боится испортить ткань.

Готлиб пытался объяснить жене, как он вымотан, как ему нужен полноценный отдых, особенно сейчас, когда по ночам почти невозможно спать из-за постоянных воздушных налетов. А ведь у него очень ответственная работа, и нельзя допустить ошибку. Но Бригитта не понимала, а он не мог объяснить лучше, ведь про работу рассказывать запрещено. Когда она прижималась к нему ночью, он отстранялся и бормотал, что очень устал, — или просто делал вид, что спит, не обращая внимания на ее близкое тело, на ее ступню... И осторожное касание ее руки не вызывало в нем никакого трепета, будто это молчаливая птица слетала ему на грудь во сне. Говоря начистоту, дело было не только в работе. Зачем заводить еще детей, если их все равно рано или поздно увезут? Из Берлина

уходили целые эшелоны эвакуированных.

Готлиб помнил, что его родители спали отдельно. Их комнаты находились рядом и соединялись дверью, запиравшейся с обеих сторон. Оклеенная обоями, она была почти неотличима от стены. Когда он прибегал к маме, напуганный ночным кошмаром, то не раз слышал, как поворачивается и дребезжит дверная ручка.

— Очень странно, — заметила Бригитта, когда он рассказал ей. — Тебе так не казалось?

— Я тогда об этом не думал.

— А теперь?

— А теперь принято спать в одной кровати, и супруги со всеми своими привычками всегда друг у друга на виду.

— Да, — сказала Бригитта. — Так и есть.

Когда Готлибу было девять лет, он изрезал страницы учебника, и родители посадили его под домашний арест. Тогда это казалось ему несправедливым, ведь изрезанные главы про франко-прусскую войну они уже прошли, а ему хотелось сделать снежинки для рождественской елки.

— Ты опозорил всю семью, — заявил отец. — И к тому же сейчас только май.

— Какой бес в тебя вселился? — воскликнула мать.

В выходные они не пустили его в луна-парк и даже не дали увидеться с дядей Генрихом. Готлиб слышал, как тот играл в гостиной «По юной зелени душа моя тоскует сумрачной зимой», а потом разразился какой-то безумной рваной мелодией, у которой не было ни названия, ни слов. Она ворвалась в комнату Готлиба и заполнила ее ярмарочным весельем: сутолокой и толчеей, дрожанием поджилок на трясущейся лестнице и упоительным головокружением в падающем доме.

Из окна Готлибу были видны только верхушки платанов, растущих вдоль дороги. Их сучковатые ветви сплетались, не пропуская солнце. А в саду в леднике хранилась зима, обложенная соломой. В доме то и дело звонил телефон: мама звонила из зала папе в гостиную, фрау Крукель звонила из кухни маме в зал. Папа сидел в глубоком кресле с высокой спинкой, мама слушала музыку и писала друзьям и важным людям приглашения на бесконечные званые обеды и ужины: «Мы будем рады видеть Вас в субботу 25 числа. Зацветут розы, и фрау Крукель приготовит сорбе из лепестков роз».

В передней внизу стояла широкая дубовая скамья с танцующими медведями на спинке. Они вскидывали мощные лапы, совсем как люди, и сверкали глазами в темноте — так и манили Готлиба. К сожалению, сидеть

на скамье было запрещено.

Когда пришло время ужина, горничная принесла хлеб с сыром и разрезанное на четвертинки яблоко — а еще ножницы и черную бумагу «от фройляйн Ханнелоры». Именно тогда Готлиб вырезал свои первые силуэты — лица родителей. Естественно, ему приходилось работать по памяти, но получилось похоже: придя в следующий раз, горничная сказала, что у него талант, и принесла еще бумаги от старшей сестры.

Готлиб хотел объяснить родителям, что, разрезая страницы учебника, он не разрушал, а творил. И чтобы доказать, разложил перед ними результаты своей работы. Родители посмотрели сначала на силуэты, затем друг на друга и признали, что да, у сына есть талант. Когда Готлибу разрешили спускаться вниз, в нарядные комнаты с французскими дверями, ведущими в сад, где над мимозой порхали легкие стрекозы, он не расстался с ножницами и черной бумагой. Постепенно ему наскучили лица, и он перешел к архитектуре и пейзажам. Их суть было проще ухватить.

Через несколько дней после освобождения Готлиб пробрался с ножницами в гардеробную и проделал дыру в одном из маминых платьев. Зачем? Он и сам не знал. Вокруг качались наряды, заглушая звуки. Атлас, блестящий, как молодая листва. Бархат, переливающийся, как пыльца в глубине цветка. Чинные ряды туфель, набитых папиросной бумагой. Готлибу казалось, что пол под ним ходит ходуном, как на трясущейся лестнице или в падающем доме в луна-парке. Отражение раздваивалось в кренившихся зеркалах: два Готлиба прорезали дырочку — настолько маленькую, что ее даже не заметят сразу, только через несколько месяцев. Да и тогда мама решит, что она сама ее прорвала острым каблуком.

* * *

— Дети, посмотрите сколько замечательной одежды! Видите, как хорошо мы заботимся о нуждающихся? Видите, как тщательно работники проверяют каждую вещь? Фрау Миллер просила ничего не трогать. Она здесь главная, поэтому мы должны ее слушаться, даже если нам очень захочется прикоснуться к этим замечательным вещам. Мы, немцы, никогда не забываем о тех, кто обделен судьбой. Мы не жертвуем им обноски. Смотрите, здесь шелковые платья, выходные туфли, сумочки из крокодиловой кожи, кружевное белье. Можно подумать, что мы случайно забрели в один из роскошных берлинских универмагов, если бы те не лежали в руинах после бомбежек. После тщательного осмотра и очистки

вещи передаются жертвам вероломных вражеских налетов, если, конечно, они смогут доказать, что лишились аналогичного имущества. Что значит «аналогичный»? Никто не знает?

Думаю, все согласятся с фрау Миллер, что здесь самое интересное место на фабрике. Чем занимаются эти женщины? Почему они так внимательно осматривают и прощупывают швы? Что они ищут? Похоже, они не говорят по-немецки, так что спрашивать их бесполезно. Но что это? Они разрезают нитки, распарывают перекрученные торопливые стежки, которые напоминают судорожные послания, нацарапанные трясущейся рукой. Посмотрите, ткань в швах не выцвела и не износилась. Она ослепляет своей яркостью. А что же там зашито в этих швах? Серьги с бриллиантами, жемчуга, перламутровые камеи, медальоны с лицами мертвецов. За одну брошь можно купить пятьдесят пуль, за один бриллиантовый браслет — пять пистолетов. Видите, дети, у нас ничего не пропадает, все идет в дело — даже утраченное имущество.

Ноябрь 1943. Близ Лейпцига

— Расскажи, как я был маленьким, — просит Эрих, когда они с мамой за руку идут домой из церкви.

— Ты все еще маленький, золотце.

— Мне восемь!

— Да, восемь.

— Значит, я уже большой. Бабушка Кренинг говорит, что мне уже можно читать папины детские книжки. Расскажи, каким я был, когда только родился.

— Возможно, бабушка права, — замечает мама и, прежде чем Эрих успеет задать вопрос, спрашивает: — Какая из папиных книжек тебе нравится больше всего?

— «Завещание Инки», «Через пустыню», «В империи Серебряного льва», но самая любимая, как у фюрера, — серия про Виннету.

Эрих рассказывает маме про старину Шаттерхенда, немца, героя Дикого Запада, который мог убить медведя гризли одним ударом, и про его индейского друга Виннету, вождя апачей.

— Они были кровными братьями. И могли читать мысли друг друга.

— Полезное умение. Особенно сейчас, — говорит мама, усмехаясь; ее дыхание клубится белыми облачками пара в морозном воздухе.

— Так каким я был в детстве? Еще когда не умел ходить?

— Каким? — повторяет мама, поднимая взгляд в стылое небо. — Ты был хорошим мальчиком. Никогда не кричал. Лежал так тихо, что я приходила посмотреть, на месте ли ты, не унес ли дьявол тебя из колыбельки. Папа ее сам сделал из сосны и украсил резными желудями.

— Расскажи какую-нибудь историю про меня.

Мама молчит и опять смотрит в небо, а потом начинает говорить, и чем больше она рассказывает, тем ярче становятся картины прошлого.

В теплую погоду она выносила колыбель на улицу, в тень серебристой липы. Шелест листьев заглушал все звуки, кроме крика горлицы на три такта. Эрих помнит это? Да, помнит. А желуди, вырезанные на колыбели? Да. Или ему только так кажется, ведь колыбель до сих пор хранится у них дома, и он не раз ее видел. Эрих помнит, как он смотрел на улья, на темные провалы ртов, в которых кишат пчелы. Однажды пчелиный рой вылетел из улья. Из улья с лицом Луизы? Да, пожалуй. И завис над колыбелью в поисках нового места для гнездования. Да, Эрих помнит, как над ним

нависло темное облако и опустилось на резную колыбель, на пеленки, на его ручки, на щеки, на легкие волосики, на веки. Он помнит, что не плакал тогда. Так и есть, кивает мама. Ты не испугался. Но что же это облепило его со всех сторон, как ночные кошмары? Где это место? И почему мама схватила и унесла его?

* * *

Я не могу до конца понять ее. И это то печалит, то радует меня. Удастся разглядеть лишь мертвые картинки, всплывающие со дна ее памяти. Вот она играет с темными гранатовыми бусами на бабушкиной шее. Вот сидит у очага и замороженно перебирает кости рыбьего черепа, а затем поднимает растерянные глаза на отца, чтобы тот помог решить ей эту головоломку. Вот катается на коньках и кружится-кружится, пока ей не начинает казаться, что она разлетится на тысячу звезд.

Вот она ждет в морозный сочельник, когда цветущее дерево принесет плоды, реки потекут вином, драгоценные камни сами выйдут из гор, колокола прозвонят под морем, и младенец Христос сбросит белые перья, — а сестра щипает ее за руку за такие глупые фантазии. Вот она, молодая жена, осматривает новый дом с белыми стенами, который примет ее, воздушную пуховую кровать, которая примет ее, крепкие мужские руки, которые примут ее. Разглядывает тени лип за домом, вслушивается в крик горлицы, запоминает, какие оконные рамы заедают и какие половицы скрипят, учит имена лошадей, стараясь забыть те, что остались в прошлой жизни. Она обходит ферму, стоит в конюшне, запрокинув голову к высокому, как у церкви, потолку, пересчитывает квохчущих куриц, примеряется к дубовым ульям с человеческими лицами. Я вижу, как в ней прорастают новые мысли — услышанные от мужа, от соседских жен, витающие в воздухе — будто озерная вода вздымается, охватывает и несет ее: скоро голод прекратится, Германия воспрянет, крестьяне поднимут Германию, нужно остановить расползающуюся заразу, спаситель — это тот человек, чей портрет висит у них на стене вместо лиц предков, это их защитник, их гарант, что они единственно надежная основа народа с точки зрения крови.

Вот она среди исступленной толпы, из каждого окна свешиваются красные флаги, земля устлана еловыми ветками, сочащимися смолой. На митинге все поют «И даже если мир неверным станет, мы верность сохраним», а ей эти слова кажутся бессмысленными: откуда взяться

верности в неверном мире. Вот поднимается занавес, и на сцену выходят актеры в черных шляпах, из-под которых свешиваются черные пряди, и в черных пальто, из карманов которых сыплется золото. Они крадут у крестьян дома, урожай и права, дарованные Богом, и те, несчастные и обездоленные, устремляют взгляд к нарисованному горизонту. И тут сцену заполняют кружащиеся девушки и крепкие светловолосые юноши — стройными рядами, как налитые колосья. Они будто пашут землю и дружно взмахивают косами на фоне восходящего солнца. Зал взрывается аплодисментами, она тоже хлопает, но себя не слышит — только чувствует, как горят ладони.

* * *

Каждое утро Эмилия кладет перед бронзовой головой румяные яблоки, свежие лесные орехи или блюдечко с медом.

— Он же не ест, — удивляется Эрих.

— Ты еще мал. Вырастешь — поймешь.

— Но еда пропадает, а фюрер хочет, чтобы к еде относились бережно.

— Ничего не пропадает, — начинает раздражаться Эмилия. — Тут совсем другое дело.

— Но... — начинает было Эрих.

— Хватит, — отрезает Эмилия, и голос ее звучит чересчур резко: в самом деле, пора бы ему уже научиться не задавать ненужных вопросов.

Каждое утро Эмилия аккуратно протирает бронзовую голову мягкой тканью. Пишет на маленьких бумажках самые сокровенные желания и вкладывает их внутрь, затем молча встает на колени и закрывает глаза. Чувствует, как бьется сердце, как поднимается жар и охватывает ее кости, словно пламя пожирает длинные белые свечи. Она будто возвращается в детство, когда в Сочельник с трепетом ждала звона колокольчика из-за закрытых дверей родительской спальни. Ее с закрытыми глазами подвели к рождественской ели, вокруг которой витал аромат хвои и горящих свечей, рассыпанных на ветвях словно упавшие звезды. Она чувствовала, как еле заметно колеблется воздух от кружения деревянной рождественской пирамиды — и замирала в ожидании чуда.

— Смотри, — говорил отец. — Здесь был младенец Христос.

И показывал на рассыпанные по полу перья, белоснежные, словно самые чистые мысли.

В один из тихих декабрьских дней, когда пчелы в ульях и коровы в хлеву жмутся друг к другу, а гусей подвешивают за шеи, мама с Эрихом отправились на рынок.

— Выбирайте, — предложил торговец рыбой в длинном черном переднике, лоснящемся, словно угорь.

Эрих заглянул в бочку, чтобы выбрать рыбину. Все они казались одинаковыми. Лениво кружили, будто ища выход. Чешуя переливалась, словно монетки на дне. Эрих вспомнил, как мама дала ему пфеннинг и велела бросить его в озеро, загадав желание. А он не знал, что попросить, какое блестящее будущее для себя выбрать. Но мама смотрела, и тогда он разжал кулак.

— Ну, молодой человек? — поторопил торговец, приготовив сачок.

— Вот тот хорош, жирненький, — заметила мама. — Нравится?

Прежде чем Эрих успел ответить, торговец выловил рыбину из бочки, приговаривая, что это отличный выбор. Карп подрагивал на морозном воздухе и смотрел на Эриха, открывая и закрывая рот, будто силясь что-то сказать.

Дома мама выпустила карпа в ванну.

— Ты будешь присматривать за ним, — сказала она Эриху.

— Что он ест?

— Ничего. Его не надо кормить. Он должен быть чистым.

— Он же и так чистый. Он живет в воде.

— Он должен быть чистым изнутри, — ответила мама. — Это очень важно — не только для рыб, но и для мальчиков.

Эрих встал на колени и стал наблюдать за карпом. Поначалу тот держался в отдалении, что не удивительно. Эриху самому было не по себе в их белоснежной ванной. В сверкающих плитках многократно отражалось его искаженное бледное лицо, будто это был не он, а какой-то другой мальчик. (Жесткий деревянный табурет, женщина в белом, холодные прикосновения кронциркуля — этого Эрих не помнит.) Он перебирает пальцами в воде, и, наконец, рыба подплывает ближе, проскальзывает прямо под его вытянутой рукой, словно тень от облака, которую не удержишь и не ухватишь. До него доходит лишь колебание воды. Эрих знает, как выглядит мир, если смотреть на него из-под воды. Все становится зыбким и расплывчатым. Он научился задерживать дыхание больше чем на минуту. Лежал неподвижно с открытыми глазами, а у него

на руках, ногах, ушах, ресницах оседали крошечные пузырьки воздуха. Однажды мать вошла в ванную, когда он лежал под водой. Он видел, как шевелятся ее губы, но слышал лишь отдаленный шум, будто птица шуршит под застрехой.

* * *

Неделя за неделей мама понемногу откладывала сахар и муку в специальные жестянки, к которым Эриху запрещалось прикасаться. Их долг, говорила она, как следует отметить Рождество даже без папы, даже когда ветер приносит запах пожарищ из разбомбленного Лейпцига. Наконец, дом наполнился ароматом лесных орехов, корицы, гвоздики и миндаля. Подвязав волосы косынкой, мама суежилась на кухне: месила и раскатывала пряное тесто, вырезала из него елочки, звезды и месяцы, покрывала их сахарной глазурью. Сладкие фигурки лежали на противне, как замеченный снегом ночной лес. Эриху ужасно хотелось выскользнуть через окно своей спальни, когда мама спит, и отправиться в лес за фермой, прогуляться в душистой темноте, разглядывая черные ветви. Но это было небезопасно — повсюду скрывались дезертиры, предатели и враги, повсюду таились злобные тени.

Карп подрос. Когда им нужно было помыться, Эрих пересаживал его в ведро, где из-за тесноты тот изгибался, как вопросительный знак. По ночам Эрих слышал плеск, и каждое утро ему приходилось протирать пол в ванной, чтобы никто не поскользнулся и не свернул шею. С рассветом карп затихал и почти не двигался, но стоило Эриху поманить его, как тот подплывал близко-близко, касаясь руки мальчика. Каждое утро мама начинала с молитвы бронзовой голове, которая блестела почти как карп. Только карп был живой, а голова нет. Хотя ее глаза — пустые, без зрачка и радужки — казалось, неотрывно следили за всеми в доме.

В Сочельник мама убила карпа. Взяла папин молоток и убила. А потом ножом вспорола брюхо. Оказалось, что он совсем не чистый изнутри, хотя прожил в ванне столько дней. Значит, мама была права. Эрих рыдал, зарывшись лицом в зеленые диванные подушки — в мягкую прохладную темноту. Он не слышал, как мама говорит, что немецкие мальчики должны быть храбрыми, должны быть готовы встретиться со смертью лицом к лицу. Он чувствовал, как бабушка гладит его по спине, и там, где проходила ее рука, у него вырастал плавник, и он плыл в мягкой темноте, а зеленые водоросли расступались и принимали его в свои объятия.

За ужином мама зажгла свечи и села на папино место. В центр стола она поставила блюдо с рыбой. Прежде такие гибкие, плавники и хвост стали сухими и ломкими, будто семена платана. В брюхе виднелся лук и петрушка, сок растекался по семейному блюду, которое перешло по наследству маме от ее мамы. На елке висели маленькие деревянные ангелы: они катились на санках и дули в трубы, как мы с вами. Но это было вовсе не удивительно, ведь они — умершие люди, а если так, то почему бы им не прокатиться с горы или не поиграть на трубе. Эрих хотел спросить бабушку, помнят ли ангелы свою земную жизнь, но тут мама начала резать рыбу. Она дала всем по куску и попросила Эриха прочесть молитву. Он не хотел благодарить Бога или кого бы то ни было за то, что лежало перед ним на тарелке, поэтому он пробормотал знакомые слова с открытыми глазами, не склоняя головы. Когда он закончил, мама сказала «Аминь», как говорила своей бронзовой голове каждое утро, и принялась за еду, вытаскивая мелкие косточки, чтобы не подавиться. Эрих подцепил на вилку кусочек рыбы и поднес ко рту — мама улыбалась, подрагивало пламя свечей, по стенам ползли тени, падал снег, полая голова смотрела на него, как отец. Эрих ощущал, что рука, держащая вилку, была чужой, как и рот, принимающий пищу. Это не он, а какой-то другой мальчик положил теплый кусок рыбы на язык... а потом жевал и глотал, жевал и глотал. И просил добавки.

* * *

Я вижу: Эмилия на кухне берет с грязной тарелки голову карпа с глазами белыми, как пуговицы на воскресных перчатках. Она обсасывает остатки плоти с костей, рассматривает их, поворачивает так и эдак. Отец когда-то показывал ей, как сложить из костей горлицу — талисман от ведьм, защиту домашнего очага. Когда он подносил фигурку к очагу, костяная птичка будто наполнялась светом, и Эмилия верила, что ничего плохого не случится. Но это было очень давно, и она уже не помнит, как складывать кости. Рыба есть рыба, ей не стать птицей.

Той ночью я лег ей на сердце — как тяжелый груз, пусть я и невесом. Смотри, мертвецы оставляют свой дозор и тихо заходят в твой дом — ты не услышишь стука их тяжелых сапог, они не хотят быть замеченными. Их окостеневшие, покрытые землей пальцы тянутся к нежной детской коже.

Декабрь 1943. Берлин

— Дети, возможно, это последняя наша экскурсия, потому что скоро все мы переедем в деревню. Так? А там не будет фабрик, которые могут в любой момент разбомбить враги. Так что давайте наслаждаться нашей сегодняшней поездкой. Это рождественский подарок всем нам. Дети, тут изготавливают волосы. Хотя мы и не видим, откуда они берутся, мы можем вообразить, что они подобны волосам ангелов, которых уже очень скоро все мы повесим на елки. Хотя мы и не видим, откуда они берутся, мы можем рассмотреть, как работницы во главе с фрау Мюллер изготавливают из них всякие полезные вещи: матрасы, чтобы нам сладко спалось, теплые носки для солдат, чтобы они не отморозили ноги, плотную ткань для шинелей, потому что на восточном фронте очень холодно — гораздо холоднее, чем у нас в Берлине, а еще кровельный материал и ковры для наших домов. Просто удивительно, сколько полезных вещей можно сделать из обычных волос, которые сами по себе совершенно бесполезны. Ну, то есть сами по себе они никак не приближают нашу победу, но эти прекрасные женщины дают им вторую жизнь. Это чудо, дети! Просто чудо!

* * *

Когда в Берлине появились первые плакаты с человеком-тенью, никто не знал, что и думать. Его загадочный силуэт подстерегал горожан повсюду: на тумбах с афишами, на опорах мостов, на пустых стенах жилых домов. Сначала не было никаких слов, только белый знак вопроса на фоне темного силуэта. Что это? Секретный сигнал партизанам? Предупреждение священникам в черных одеждах, вещавшим со сломанных кафедр о всепрощении и непротивлении?.. По утрам человек-тень напоминал кусок ночной темноты, выцветающий с приближением дня. Порой из-за игры света казалось, что он лезет прямо из стены — темное пятно сочится из домов обычных людей, спешащих по своим делам. Потом поверх фигуры появилось слово. Одно слово, как пометка — «Тсс!». Люди говорили его друг другу, сами не понимая зачем: «Тсс! Тсс!» Повсюду: в трамваях, на рынках, в кафе, в подъездах, в парках и в кино — слышалось «Тсс!», будто из города выпускали воздух. Но кто скрывался за этой тенью, было так и не ясно. С тенями всегда так — они могут оказаться кем угодно.

Однажды воскресным утром Бригитта увидела, как двое мальчишек клеят плакаты на фасад разрушенного бомбежкой здания, и остановилась, чтобы понаблюдать за их работой. На пряжках ремней блестел девиз «Кровь и честь». На плакатах были обычные люди: мужчины выпивали в баре или беседовали в тамбуре поезда, каменщики за разговором позабыли, что сохнет раствор, телефонистка болтала с кем-то, не обращая внимания на сплетающиеся кабели, парикмахер замер с бритвой, слушая рассказ клиента с намыленным горлом. И везде была тень. «Тсс! Враг слушает!»

— Мама, кто это? — спросила Зиглинда, разглядывая человека-тень.

— Трудно объяснить... — ответила Бригитта и обратилась к мальчикам, клеящим плакаты. — Извините. Кто здесь изображен?

Мальчики не ответили. Небо потемнело, похоже, опять собирался дождь. Поговаривали, что погоду портят зенитки: они пробивали облака.

— Думаю, это может быть кто угодно, — проговорила Бригитта.

Мальчики молчали. Пока один разворачивал плакат, второй обмакивал кисточку в ведро с клеем. Их лица показались Бригитте смутно знакомыми. Уж не они ли приходили к ним собирать кости?

— Что это значит? — спросила она, но мальчики уже двинулись дальше, отыскивая подходящий фасад.

Теперь вопросы часто оставались без ответа. Люди боялись говорить — доносили все на всех. Никогда раньше дети не слушали своих учителей так внимательно, готовые в любой момент сообщить куда следует о сомнительных взглядах или досадных отступлениях от учебного плана. «Не верь лисице на поле»^[14], — повторяли они друг другу. В каждом слове выискивали скрытые смыслы. Разговоры, разобранные на части, досконально изучались, как детали неработающего радиоприемника.

* * *

Фрау Мюллер: Что слышно от Ханса-Георга?

Фрау Миллер: Почему вы спрашиваете?

Фрау Мюллер: Дитер давно не писал. Я подумала, может, у вас есть какие-то новости.

Фрау Миллер: Это не нашего ума дело. Да и какие в письмах новости.

Фрау Мюллер: Да, письма тоже режут. Последнее письмо Дитера было все в дырах. Пустота.

Фрау Миллер: Где он сейчас?

Фрау Мюллер: Почему вы спрашиваете?

Фрау Миллер: Не могу сказать.

Фрау Мюллер: Все правильно. В прошлом месяце мне вырвали зуб без обезболивания, чтобы я не болтала лишнего.

Фрау Миллер: Я говорю себе, что они просто уехали и скоро вернутся домой.

Фрау Мюллер: Точно, они только что уехали и уже возвращаются домой.

Фрау Миллер: Соседка остановила фрау Эрхлих на лестничной клетке и шепнула по секрету, что Иоганн — младший Эрлихов — в безопасности. Она слышала по вражескому радио.

Фрау Мюллер: Надеюсь, фрау Эрлих доложила об этом куда следует.

Фрау Миллер: Конечно.

Фрау Мюллер: Правильно.

Фрау Миллер: Я совсем не против дыр в письмах. Лучше так, чем извещение в конверте с черной рамкой. Где, когда и как. Убит или пропал без вести.

Фрау Мюллер: (шепотом) Думаю, нам не все сообщают. Почему не публикуют списки убитых и раненых?

Фрау Миллер: Что? Кажется, подобное пишут в листовках, которые разбрасывают с вражеских самолетов. Я должна принять ваши слова к сведению.

Фрау Мюллер: Не надо. Я хотела сказать совсем другое. Это ничего не значит.

Фрау Миллер: Все что-то значит.

Фрау Мюллер: Вообще-то листовки, которые падают с неба, читать запрещено. Их надо сжигать, не глядя.

Фрау Миллер: Совершенно верно. Я так и делаю. Но иногда глаз цепляется за какую-нибудь фразу. Хочешь не хочешь, а замечаешь.

Фрау Мюллер: Не надо замечать.

Фрау Миллер: (шепотом) А ведь с неба падают не только листовки. Поговаривают еще про маскировочные полоски из серебра.

Фрау Мюллер: Я слышала, они радиоактивные.

Фрау Миллер: Я слышала, они зараженные.

Фрау Мюллер: Я слышала, ботулизмом.

Фрау Миллер: Я слышала, сибирской язвой.

Я тоже слышал эти разговоры, но можно ли им верить? Они как миражи, как фальшивое эхо, как искусственные облака, которыми глушат радар.

Февраль 1944. Близ Лейпцига

Бабушка Кренинг любила поговорить. Когда она приходила в гости, Эмилия старалась помалкивать, особенно про то, что хотела сохранить в тайне, но это почему-то не помогало. Свекровь всегда все знала или, не стесняясь, выпрашивала. В тот день она следовала за Эмилией на кухне по пятам: учила, как правильно готовить картошку, советовала, когда вынимать яблочный пирог. Эмилия несколько раз обожглась.

— Может, вы подойдете к Эриху? Он всегда так ждет вас.

Эрих играл на полу в гостиной. Бабушка села на край дивана и стала наблюдать. Через минуту она наклонилась к внуку, лицо ее сморщилось и приняло странное выражение.

— Рассказать тебе историю?

Вот что я услышал.

Давным-давно где-то в Саксонии, на холме над озером, стояла крепость. Стены у нее были шириной, как три человека, стоящих плечом к плечу. Если бы враги рискнули приблизиться, то попали бы под град стрел из узких бойниц. Если бы прорвались к воротам, то сварились бы в потоках кипящего масла, сдирающего кожу с плоти, а плоть с костей. Если бы враги добрались до винтовой лестницы, ведущей к укрытию, где прятались женщины и дети, то свернули бы шеи на опасных ступенях, по которым умели взбираться лишь местные жители. Крепость спокойно спала по ночам, и никогда тень врага не падала на ее стены. Однако секрет неприступности был совсем в другом. До начала строительства, когда крепость существовала только на пергаменте, выделанном из кожи нерожденных телят, среди местных жителей стали искать тех, кто готов отдать своего ребенка, чтобы его замуровали в основание. Одна женщина согласилась продать своего сына. Когда начали возводить стены, было слышно, как он кричал: «Мама, я все равно тебя вижу. Мама!» А когда поднялись высоко — «Я уже не вижу тебя, мама!».

Эмилия вошла в комнату и сказала:

— Что вы рассказываете? Ему будут сниться кошмары!

— Чушь! Это же выдумки. Все любят в детстве слушать такие истории. Неужели мама тебе не рассказывала?

Эмилия не стала спорить. Облака плывут надо мной и сквозь меня, и я не знаю, настоящее это, прошлое или будущее.

В марте в доме Кренингов появился какой-то мужчина. Мама сказала, что это папа, но Эрих не верил. Папа никогда не был таким молчаливым и никогда не носил бороду, да и одежда сидела на нем как-то странно: она была не велика и не мала, а просто с чужого плеча. Мама попросила пришельца сбить масло, но он слишком увлекся и испортил всю партию. Он словно не мог остановиться: когда мама поручила ему выбить ковер, он продолжал стучать даже после того, как перестала лететь пыль. Эрих изучал его лицо, рассматривал то с одной стороны, то с другой. Иногда, под определенным углом, при определенном освещении — обычно в сумерках, когда свет приглушен и небо приобретает цвет рыбьего брюха, Эриху казалось, что он видит тень у него на горле.

Мужчина, выдававший себя за его папу, привез им подарки: для мамы — янтарную брошь в форме цветка с камешком, сверкающим, словно бриллиант, а для Эриха — наручные часы с толстым кожаным ремешком и странными инициалами на задней крышке: буквами N и R в зеркальном отражении. Когда Эрих принес альбом с карточками про фюрера, пришелец уставился на обложку, словно не узнавая ее, а затем, перелистывая страницы, пытался поддеть ногтем фотографии, словно желая отклеить их, испортить свою же кропотливую работу.

Однажды Эрих заметил, как пришелец — давайте уж звать его папой, раз мама так хочет — склонился над бронзовой головой и кусочек за кусочком съел весь хлеб с медом, который положила мама. Он даже облизал пальцы, чтобы не пропало ни крошки. Эрих думал, что мама рассердится, а она просто вымыла пустую тарелку и положила новый кусок хлеба, хотя Эрих знал, что тот был последним, и очень надеялся съесть его сам. Потом мама вложила записочку в бронзовую голову и вернулась к штопке, ведь дыры на рубашках не затягиваются сами собой.

За обедом мама спросила:

— Там холодно?

Папа ответил:

— Нет, вполне сносно.

Мама спросила:

— Вы не голодали?

Папа ответил:

— Нет, еды было достаточно.

Мама спросила:

— Вы ходили в церковь?

Папа ответил:

— Каждое воскресенье.

«Ты, ты, ты», — прокричала горлица. Монотонное пчелиное гудение напоминало неоконченный вопрос.

* * *

Мама собирала скорлупки от яиц. Не разбивала их, а аккуратно протыкала иглой с двух сторон, выдувала содержимое и промывала водой. И теперь, за неделю до Пасхи, папа с Эрихом сидят за кухонным столом и раскрашивают их. Эрих очень осторожен, не сжимает хрупкие стенки и не давит кисточкой. Он рисует фиалки, колокольчики и пчел, а папа рисует белый снег и черные кляксы, напоминающие пауков, но давит слишком сильно, и скорлупа трескается у него под пальцами.

— Извини, извини, — бормочет он.

— Ничего, — успокаивает его Эрих. — У нас еще много.

Через две недели папа уехал. Мама сказала, опять в Россию, в огромную страну на востоке, которая в несколько раз больше Германии. Эрих подумал, что она имела в виду Советский Союз, однако не стал ее поправлять. Папины письма всегда приходили без обратного адреса и были предельно корректны. Он не писал ни про секретные операции, ни про тайное оружие. Он мог быть где угодно: потягивать в Москве чай из стакана в серебряном подстаканнике, или прохаживаться по Зимнему дворцу, где все статуи и трон сделаны из льда, или мчаться по степи сквозь морозный воздух в санях, запряженных волками, и снег вокруг рассыпался звездами... Мама писала каждую неделю. И Эрих писал. Рассказывал, что куры трудятся изо всех сил, чтобы снести положенное число яиц, и что инспектор из Имперского продовольственного комитета заставляет маму сажать свеклу и подсолнухи вместо пшеницы. Когда он не знал, что писать, — просто рисовал: пчел, марширующих друг за другом вдоль кромки листа, маму в пчеловодной шляпе с опущенной сеткой и в клубах дыма, напоминающих крылья. Рисовал ульи в яблоневом саду: Иоанна Крестителя и пастора, Луизу и Густава, мясника и ростовщика — с черными бородами из пчел. Они рассказывали истории — грустные истории из прошлого семьи Кренингов. *Я хотела утопить свое горе в озере, говорили, что французы отравили воду, я замешу свой хлеб на крови, украденные монеты, побитые собаки, порождения ехидны.* Но мама

бдительно вымарывала все признаки грусти, так что Эрих хранил их истории в себе.

* * *

И где, скажите, был папа, когда Ронья упала, и некому стало тащить жатку? Может ли он объяснить, почему молоко сворачивается, а куры несут яйца с мягкой скорлупой? Почему мелеет озеро? Все без него пошло не так. Яблони засыхают, пчелы улетают из ульев, словно проклятья сыплются с деревянных губ. Кто починит сломавшуюся телегу? Кто восстановит черепицу, упавшую с крыши? Кто поймает сорвавшийся флюгер — эту стальную птицу, которая мечется по полям и ищет, кому бы перерезать горло или вонзиться в сердце? Папы нет — и некому остановить ее. Кто уберет оставшуюся пшеницу? Нет Роньи, нет папы. Никто не приходит на помощь из гитлерюгенда, и иностранным рабочим нельзя доверять, а Эрих еще слишком мал и может только наблюдать, как мама тяжело взмахивает серпом. И вздохи наполняют пустой воздух.

— Папа вернется, когда придет время копать картошку? — спрашивает он.

Нет, папа собирает иной урожай, говорит мама. Свистит серп — *вжик, вжик*. Эрих знает, что папа собирает чужие жизни. А молоко скисает на солнце, и вода из озера уходит под землю. И болиголов уже засох. И ни к чему знать, откуда дует ветер.

Апрель 1944. Берлин

Юлия держит открытую книгу — девочки вглядываются в разворот, стараясь понять, что изображено на рисунках и фотографиях. Кто это? Мальчик? Вообще человек? Перед ними раздавленная пустая оболочка, руки и ноги оторваны, голова вдавлена в осевшую грудную клетку.

— Я согласна, — говорит Юлия, хотя пока никто еще не произнес ни слова, — на первый взгляд, ничего примечательного. Обычный мальчик. Не то что другие выдающиеся германцы.

И правда, у этой высохшей кожи нет ничего общего с Хорстом Весселем, Карлом Маем или Квексом из гитлерюгенда, который хоть и выдуманный герой, но все равно выдающийся. Да и кого сейчас удивишь трупами? Только по пути на собрание Зиглинде попались на глаза три штуки. Свежие трупы никого не интересуют, а этому телу — «болотному телу» мальчика из Кайхаузена — более двух тысяч лет. Представьте, предлагает Юлия, если бы он заговорил, сколько бы интересного мы узнали. Некоторые девочки еле сдерживают тошноту, представляя, как раздуваются высохшие легкие и шевелится обезображенная челюсть. Однако никто не отводит глаза. Вдруг заметят? Тогда появятся вопросы, почему их тошнит при виде выдающегося германца.

Богатая немецкая почва сохранила тело почти нетронутым, продолжает Юлия. Два тысячелетия оно пролежало в топи болот, пока его не нашел мужчина, резавший торф. Взгляните на кожу — она такая же мягкая, как на лучших зимних перчатках ваших матерей. Чудо, что его не тронуло разложение. Все мы, в конце концов, истлеем и исчезнем. Таков порядок вещей, тут ничего не поделаешь. Мужчина, нашедший тело, сразу понял, что столкнулся с чудом, и разболтал про свою находку. А мы все знаем, как важно не распространять слухи и как дорого порой обходятся разговоры. Враг не дремлет, так что все должны держать язык за зубами. Мужчина сообщил о находке в музей — что правильно: обо всех происшествиях надо докладывать в соответствующие инстанции. Но помимо этого, он разболтал о теле другим людям, обычным людям, и прежде чем власти успели извлечь тело и отправить его на исследования, эти обычные люди стали растаскивать его по кусочкам на сувениры. Конечно, в какой-то мере их можно понять, соблазн слишком велик. Сейчас я кое-что вам покажу. Здесь у меня в коробочке большой палец того мальчика из железного века. Можете потрогать, можете взять в руки. Ему

десять лет. Ему две тысячи лет. Очень жаль, что доктора не могут исследовать все тело целиком. Теперь за воровство отрубают голову.

Юлия показывает пальцем на рисунки. Посмотрите, мальчика несколько раз ударили ножом в горло. Руки затянули петлей. Связали ноги. О чем все это говорит? Что значит? Он был преступником, нарушил закон (или просто люди боялись, что мертвец восстанет, и поэтому скрутили его покрепче)? В чем он провинился? Доктора выяснили, что он сильно хромал из-за вывихнутого бедра. От мальчика не было никакого проку, а кормить его приходилось, так что его просто устранили как бесполезный элемент. Видите, уже две тысячи лет назад наш народ понимал, что таким уродам нельзя позволить вырасти и завести детей, ведь их потомство тоже окажется дефективным. Еще тогда, когда другие народы не брезговали каннибализмом, мы жили по цивилизованным законам, защищающим общественное благо. И теперь продолжаем по ним жить, и доказательство тому — тело из Кайхаузена.

Юлия пустила книгу по кругу, и все девочки разглядывали иллюстрации, чтобы другие не подумали, будто им противно или неинтересно. Когда пришла очередь Зиглинды, она низко склонилась над книгой. Страницы пахли пылью и плесенью, прелыми листьями и гнилым деревом, спертым воздухом в закрытых комнатах. Она смотрела на лежавшее навзничь тело и думала, что сама засыпает в такой же позе.

— Хочешь взять ее домой? — предложила Юлия, заметив, что Зиглинда разглядывает книгу дольше остальных. Она всегда все замечает.

Из-за увесистого тома ранец заметно потяжелел и оттягивал плечи, когда Зиглинда пробиралась по Кантштрассе домой, осторожно шагая по разбитому стеклу и перепрыгивая через огромные лужи, вытекавшие из прорвавшихся труб. У себя в комнате она села на краешек кровати и поставила открытую книгу на комод, чтобы, засыпая и просыпаясь, видеть сморщенную кожу мальчика. Теперь она научилась легко различать очертания тела в бесформенной массе.

Зиглинда слышала, как мама говорит папе, что это отвратительно, но знала, что мама не права. Отвратительными были трупы, лежавшие на улицах. Девушки из гитлерюгенда накрывали их простынями и привязывали к запястьям бирки с именами (если, конечно, оставались руки). А мальчик из Кайхаузена напоминал стоптанный башмак или пустую грелку.

Когда Зиглинда с родителями сидела в подвале, а дом сотрясался от ударов бомб и пулеметных очередей, мальчик выскользнул из книги, гибкий словно водоросль, и прошелся по квартире Хайлманнов на своих

кривых ногах. Разглядывал их вещи, смотрелся в их зеркала, глотнул недопитого чая и надкусил оставленный ломоть хлеба. Умылся в ведре с водой, запасенной на день. Потрогал осколки, свисающие с потолка в комнате Зиглинды, лег в ее кровать и стал наблюдать за тем, как они кружатся и мерцают, словно струи дождя, принесенные ветром. Мы связываем мертвецов, прижимаем их тяжелым грузом, закапываем глубоко в землю, чтобы они не вернулись. Но, видимо, этого недостаточно.

Июнь 1944. Берлин

— Сколько у вас рубашек? — спросила женщина, подкладывая копировальную бумагу под бланк.

— Четыре, у двух износились воротнички, — ответил Готлиб.

— Ваша жена, конечно, уже перелицевала их?

— Несколько месяцев назад.

— Вы не представляете, сколько необоснованных заявлений на рубашки нам подают!

— Уверяю вас, жена заменила воротнички в феврале, фрау...

Женщина постучала по табличке со своей фамилией.

— Фрау Миллер.

— Мы еще вернемся к рубашкам, — сказала она. — Зимнее пальто?

— Одно.

Женщина сделала пометку.

— Костюмы?

— Два.

— Повседневные пиджаки?

— Тоже два.

Женщина заполняла бланк, не глядя на Готлиба.

— Ботинки?

— Три пары.

— Брюки, не являющиеся частью костюма?

— Одни.

— Ткань?

— Да... Они сшиты из ткани.

— Из какой ткани, герр Хайлманн? Твил, саржа, габардин?

— Из габардина.

— Носки?

— Пары? — уточнил Готлиб.

— Да, герр Хайлманн, пары.

— Думаю, шесть. Но, по-моему, жена сейчас вяжет мне еще одни.

В первый раз женщина оторвала взгляд от бланка.

— То есть она вяжет что-то, но не говорит, что?

— Да, фрау Миллер. У меня день рождения через две недели.

— И вы думаете, что она подарит вам носки?

— Именно так.

— Все равно странно...

— Уверяю вас, я непременно принесу их на проверку, если получу в подарок.

— И правильно сделаете, герр Хайлманн. В конце этого приема я назначу вам дату следующего.

— Спасибо, фрау Миллер.

— Пожалуйста. Продолжим. Сколько у вас нательных маек?

— Четыре.

— Заштопаны, изношены?

— Одна зашита по плечевому шву.

— Трусы?

— Тоже четыре.

— Разумно, когда того и другого поровну. Заштопаны, изношены?

— Двое изношены на поясе.

Фрау Миллер снова оторвала глаза от бланка и, кусая ноготь, уставилась на Готлиба.

— И вы подаете заявку только на рубашки.

— Я знаю, что ткань нужна Рейху для производства военной формы. И бинтов.

— Хм-м.

Готлиб молча ждал.

— Ваш патриотизм весьма похвален. Через три месяца вам следует прийти, чтобы подать заявку на нижнее белье.

— Спасибо, фрау Миллер.

— Пожалуйста. Я назначу вам дату приема в конце этого приема, после того, как назначу дату следующего приема.

— Спасибо, фрау Миллер.

— Так, вы подаете заявку на две новые рубашки. Верно?

— Верно.

— У вас с собой пуговицы от старых рубашек, вместо которых вам выдадут новые?

— Да, — кивнул Готлиб и выложил пуговицы на стойку.

— Старые рубашки можете оставить себе и пустить на тряпки. Мы должны заботиться о чистоте, это наш национальный долг.

— Я понимаю, фрау Миллер. Спасибо.

— Пожалуйста.

Она дала Готлибу подписать заполненный бланк, а затем поставила печати на всех четырех копиях.

— Забрать новые рубашки можно на Хоэншенхаузер-штрассе, на

другом конце города.

* * *

Если бы мать увидела его в этих зашитых майках и в рубашках с перелицованными воротничками! Его мать, всегда так элегантно и изящно одетая. Зиглинда часто просила рассказать о ней: какие цветы та любила, какие истории рассказывала, в какое время отправляла Готлиба спать, добавляла ли сахар в горячий шоколад и как умерла. Однако больше всего Зиглинду интересовал гардероб. Она могла часами рассматривать несколько оставшихся фотографий, сделанных в ателье: бабушка восседает в подушках или опирается на спинку стула, волосы уложены безупречной волной, на груди маленькая брошка из молочных зубов, на шее нитка жемчуга.

— Какого цвета это платье? — спрашивала Зиглинда отца. — Оно шелковое? С вышивкой?

Так постепенно Готлиб рассказал обо всем, что в идеальном порядке хранилось в надушенных шкафах и в гардеробной его матери, где всегда царил идеальный порядок.

— Где же теперь эти вещи? — спрашивала Зиглинда.

И правда, куда исчезли шелковые и меховые накидки, расшитые сумочки, вечерние платья? Лайковые туфли с блестящими пряжками, бархатные бальные туфли, шляпки-клош и узкие юбки?

— Их продали? Распороли? Перешили?

— Не знаю, — отвечал Готлиб.

В его памяти сохранилось детское воспоминание об одном из званых вечеров в доме родителей. Он спустился тогда вниз из своей комнаты, чтобы найти маму. Пробираясь мимо болтающих дам, задевал их юбки, и те шелестели и качались, словно головки цветов. Вокруг, как облака, трепетали воздушные ткани, усыпанные мельчайшими бусинами, сверкающими, будто капли дождя, в свете свечей. Тысячи капель складывались в причудливые узоры: павлиньи перья, цветы лотоса. Словно отдельные мазки на картине импрессиониста, словно солнечные лучи, проходящие сквозь тело. Расшитые платья были такими тяжелыми, что их не вешали, чтобы не порвать, а заворачивали, как покойников, в полотно и укладывали во всю длину. Когда мама надевала вечернее платье, ее голос начинал искриться и смех тоже, так что Готлибу казалось, будто вся она соткана из блестящих бусин. (Неужели бывают такие матери? Неужели? Я

даже представить не могу.)

Вдруг руки мамы подняли Готлиба, будто два белых крыла выросли у него за спиной, и перенесли к камину, к пестрому мрамору и темным зеркалам. Она наклонилась и шепотом напомнила, что нужно делать. Холодные и жесткие бриллианты, висевшие на ее шее, задели его плечо. Все в комнате замолчали, и он прочитал без запинки:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты [\[15\]](#).

Раздались аплодисменты, его гладили по голове, а затем выставили из сияющей комнаты, и ему пришлось идти наверх и ложиться в кровать. Без колыбельной.

* * *

Именно такой всегда представляла мать в рассказах Готлиба: в сверкающих драгоценностях и в шикарных нарядах. Он никогда не рассказывал Зиглинде о том, что было после экономического кризиса, из-за которого они потеряли все. Люди, подобные Хайлманнам, стараются обходить эту тему, а если и говорят, то только о потере имущества. Не о разорении, крахе или загубленной жизни — все это про тех, кто живет в съемных комнатах без горячей воды и нормальной мебели. Загубить можно репутацию непристойным поведением, или пирог, передержав его в печке, или пикник, назначив его на дождливый день. Нет, все это не про них. Такие люди, как Хайлманны, всего лишь потеряли свои деньги, столовое серебро, мейсенский фарфор, телефонные аппараты и автомобили — словно те закатились под шкаф, или были забыты на чердаке, или оказались под чехлами от пыли, которые снимут, вернувшись домой. А когда, по чистой случайности, пропажа найдется, хозяева снова будут устраивать танцевальные вечера и приемы, заказывать туалеты у портнихи, покупать

мягкие итальянские туфли и душистое французское мыло — и воспоминания о тяжелых днях бесследно испарятся из памяти. На это уповали Хайлманны первое время, пока не столкнулись с грубой, беспощадной реальностью. Сначала пришлось отказаться от канделябров и званых вечеров. Потом от слуг. Потом они потеряли друзей. Потеряли виллу и мебель. Сохранить удалось лишь буфет из вишневого дерева, напольные часы и дубовую скамью с танцующими медведями. Правда, все это смотрелось нелепо в съемных домах, которые становились все меньше. Когда же они поселились в квартире в Кройцберге, фрау Хайлманн жаловалась, что не может дышать, что ей мало места, что стены давят на нее, что это домик для кукол. Новая жизнь была ей невыносима, и вскоре она ее покинула. Готлиб помнит, как мать лежала в гробу, ее локти упирались в обитые атласом стенки. Она попала в лучший мир, говорил он Зиглинде. На самом деле ее просто переселили в еще более тесную квартиру.

* * *

Фрау Мюллер: Как вы думаете, может ли сын донести на мать за то, что она приготовила ему рыбу не того сорта?

Фрау Миллер: За то, что приготовила рыбу?

Фрау Мюллер: Не того сорта.

Фрау Миллер: Почему вы об этом спрашиваете? Что-то случилось? Я не понимаю, к чему вы клоните.

Фрау Мюллер: Вчера я приготовила Дитеру на ужин селедку. Он очень ее любит, как и его покойный отец.

Фрау Миллер: Все любят селедку.

Фрау Мюллер: Он спросил, уверена ли я, что это германская селедка. Я сказала: «Ну конечно, родной». Потому что я и правда так думала. А он ткнул ее ножом и сказал: «Что-то нос великоват».

Фрау Миллер: Разве у селедки есть нос, фрау Мюллер?

Фрау Мюллер: Я так ему и сказала. Я сказала: «Разве у селедки есть нос?» А он опять ткнул ее ножом и сказал: «Будем считать, что это помесь германской и итальянской селедки». Но вид у него был очень несчастный. Очень.

Фрау Миллер: Все мы хотим счастья своим детям. Ради этого мы и развязали войну. Он съел селедку?

Фрау Мюллер: А каким тоном он говорил со мной, фрау Миллер! Как

он смотрел на нее. И на меня.

Фрау Миллер: Он должен быть счастлив, что у вас вообще на столе есть рыба. Моря сейчас кишат минами.

Фрау Мюллер: Точно.

Фрау Миллер: Нужно поменьше баловать детей. Это нарушает естественный порядок вещей. Он съел селедку?

Фрау Мюллер: Да, съел.

Фрау Миллер: И не донес на вас?

Фрау Мюллер: Не донес.

Фрау Миллер: Так о чем волноваться?

Фрау Мюллер: Знаете Рихарда Грэбера? Родная дочь донесла на него на прошлой неделе за то, что он рассказал шутку про фюрера. Я не стану сейчас ее повторять, даже если бы знала, а я и не знаю.

Фрау Миллер: Я слышала.

Фрау Мюллер: Шутку? Про фюрера?

Фрау Миллер: Нет, о том, что София Грэбер донесла на своего отца.

Фрау Мюллер: Что, кто-то придумал про это шутку?

Фрау Миллер: Я слышала только то, что герру Грэберу присудили двадцать пять ударов палками на... Ну там...

Фрау Мюллер: На Принц-Альбрехт-штрассе?

Фрау Миллер: Но им пришлось остановиться после пяти ударов из-за несоответствия палок национальным нормам. Герр Грэбер заметил это и сказал: «Мне кажется, палка не соответствует национальным нормам». Пришлось остановить допрос. Так они и не выяснили, от кого герр Грэбер узнал ту шутку.

* * *

Бомбы подминают под себя город. Чистое небо наводит ужас. Где теперь те берлинцы, которые прежде при ясной погоде — погоде фюрера — неспешно прогуливались, принимали солнечные ванны, катались на велосипедах и делали дыхательную гимнастику? Лунные ночи больше не манят влюбленных, теперь им спокойнее при низкой облачности или в густом беззвездном тумане. Мало кто спит по ночам. Заранее примеряя траур, люди завешивают окна черной тканью. И зорко следят, чтобы соседи не нарушали правила затемнения. Горе тому, кто случайно оставит открытой дверь или легкомысленно откинёт занавеску! Смерть на металлических крыльях, как дебошир, бьющий фонари, сбрасывает бомбы

на город. Машины с прикрытыми фарами на ощупь пробираются по темным улицам. Автобусы и трамваи, освещенные тусклыми синими лампочками, плывут по дорогам, как гигантские аквариумы, отбрасывая на тротуар зыбкие голубоватые блики. И кажется, будто земля уходит из-под ног и опускаешься в воду. Прохожие останавливаются на мгновение, моргая и осматриваясь, и белые бордюры напоминают полосу ракушек, вынесенных на берег морским прибоем. Но нет, грохот вдали — не шум океана. Тебя несет, бросает, скручивает и растягивает — сдирает кожу. Где земля? Где дом? Некоторые привязывают на запястье белый платок, чтобы не затеряться в темноте. И ты видишь, как плывут по воздуху бесформенные белые призраки.

А по пятам за тобой следует человек-тень. Разговоров не слышно, все превратилось в слух. Город словно онемел, ожидая гула самолетов и новостей, выискивая предателей. Человек-тень рыщет по безжизненным улицам и следит за каждым словом.

И я иногда, подобно прочим, слушаю и жду, когда раздастся предупреждающий сигнал по радио, напоминающий крик кукушки, когда завоет сирена, которая теперь тревожит горожан и ночью, и днем. Вместе со всеми я спускаюсь под землю, в темные подвалы с незакрывающимися дверями. Наблюдаю, как люди рассаживаются на складные стулья и походные кровати. А вокруг пахнет прахом. Пахнет землей. С неба с жутким волчьим воем падают бомбы — но не на нас, слава Богу, не на нас, слава Богу, мимо. Некоторые разрываются так далеко, что доносится только глухой удар, давление, ощущаемое где-то глубже барабанной перепонки, другие падают с гулом, напоминающим водопад. Не услышишь только свою бомбу. Когда снаряд падает рядом, дрожит земля, летит пыль и сыплется штукатурка. На этот раз дом устоял, однако он разрушается, как и весь город. Рассыпается, превращается в пыль. Мы же не сдаемся и повторяем про себя слова, развешенные на руинах ко дню рождения фюрера: «Рушатся стены, но наши сердца несокрушимы!» Правила знают и соблюдают все, даже самые маленькие дети. Для них есть занимательные настольные игры и яркие книжки про пожары, бомбежки, ранения. Практику они тоже освоили очень быстро.

Когда взрывы затихают, мы возвращаемся в свои квартиры к повседневным делам, а на улицы выгоняют лагерных заключенных. Те ищут неразорвавшиеся бомбы и обматывают их газетами, тряпьем и собственным страхом, откапывают и хоронят мертвецов. Следом на улицы высыпает дети — собирать быстро остывающие осколки. Лазают по руинам и откапывают искореженные кусочки металла, настолько

бесформенные, что в них, как в движущихся облаках, можно разглядеть что угодно. В предвкушении чуда, как в канун Рождества, расплавляют свинец над свечой и выливают в воду, стараясь разглядеть грядущее. Что там: меч, якорь, паук или крест?

Зиглинда и Юрген теперь ходят в школу в Ораниенбурге, конечно, путь неблизкий, но остальные городские школы уже эвакуированы. Брат с сестрой меняются со своими новыми одноклассниками найденными осколками, голубовато-серыми, маленькими и блестящими, как раковины, и широкими, как сердце.

* * *

— Это не игрушки, — заметила Бригитта, когда Зиглинда принесла домой выменянные осколки и разложила их у себя на комод. — А как же твои марки? Куклы? Готлиб, это вообще разрешено?

Разрастающаяся коллекция постепенно заполнила все подоконники. Оккупировала туалетный столик, где удваивалась, отражаясь в зеркале. Заняла кукольный домик и крошечную колыбель, покрыла плюшевые лапы игрушечных медведей и обезьянок. Спускалась с потолка на невидимых нитях, начинающих трепетать всякий раз, когда открывали дверь. Несколько осколков лежали перед раскрытой книгой о болотном мальчике, словно подношение.

Бригитту тревожили эти острые зазубренные предметы, переполнявшие комнату ее дочери. Зиглинда должна понимать, что это небезопасно: они могут порезать кожу и проникнуть внутрь. Не стоило тащить их в дом! Бригитта пыталась переписать их в свой гроссбук и всякий раз сбивалась, но не собиралась сдаваться: начинала с новой страницы, аккуратно описывала цвет и контуры каждого фрагмента, отличительные метки и вес. А осколки продолжали падать. Каждый день. От вражеских снарядов и от снарядов, пущенных на врага. Каждый день Зиглинда пополняла свою коллекцию. И Бригитта не поспевала.

— Зигги, у нас больше нет места, — убеждала она дочь.

Однако место было. По ночам, когда все спали в редких перерывах между воздушными налетами, Бригитта подходила к стене за диваном в гостиной. В лицо ей смотрел портрет фюрера, паркет охлаждал босые ступни. Она проводила рукой по стене — нет, это не сон, та отодвигалась. Буквально на пару сантиметров, но отодвигалась, будто отступая от ее легкого прикосновения. Бригитта слышала шум, ставший уже привычным,

словно кто-то двигает давно забытые тяжелые вещи на чердаке. Неужели стена двигается от ее прикосновения? Семейный буфет Хайлманнов, радиоприемник и кресла отбрасывали на нее свою тень. Комната теперь стала гораздо больше, это очевидно. Бригитта стояла не дыша. Что делать? Разбудить Готлиба? Доложить утром герру Шнеку, коменданту?.. Тут она услышала, как за стеной, у Левенталей, тоже кто-то проводит рукой по стене, чтобы убедиться в ее надежности и устойчивости. Там же, где только что прошла ее рука, только с другой стороны. Бригитта представила безмолвного двойника — дыру, оставшуюся от вырезанного силуэта. Заговорить? Спросить, кто там, за стеной? Назвать себя?

Портрет фюрера немного накренился, она быстро поправила его. И прикинула ухом к стене, но там царила тишина.

* * *

Следующим вечером она спросила Готлиба, не кажется ли ему, что гостиная изменилась.

— Нет, все по-прежнему, — ответил он, оглядевшись.

— Ты не замечаешь ничего странного?

— Странного?

— Неужели ты не видишь? Она стала больше. Гораздо больше!

— Бригитта, наша гостиная всегда была такой. У тебя шалют нервы из-за бессонных ночей. Как она может вырасти?

Действительно, как? Это невозможно. Так она и сказала Зиглинде, так она и сказала фрау Левенталь, так ей сейчас и сказал Готлиб. Так она и будет говорить всем впредь. Да, она понимала, что если их квартира растет, то чья-то уменьшается. Да, она понимала, что покупает самовар, который раньше принадлежал кому-то другому. Такова жизнь. Она же не сама двигает стену, и она не стала бы покупать самовар, если бы его не выставили на продажу. И кто-нибудь еще наверняка сообщит одвигающихся стенах, ведь не только же в их квартире такое происходит. Вероятно, это как-то связано с движением почвы, с уровнем подземных вод, а может, здесь раньше было болото. Конечно, кто-нибудь сообщит. Увеличение жилплощади — это замечательно, это удобно и повышает статус, однако нарушается устойчивость здания. Так что кто-нибудь наверняка поднимет вопрос и известит соответствующие инстанции, а пока остается ждать. Она сделала, что могла.

В следующий раз, когда герр Шнек пришел к ним на площадку, чтобы проверить наличие ведер с водой и песком, Бригитта решилась спросить его о соседской квартире — оттуда уже давно не доносилось ни звука.

— Извините, — сказала она, — эта дверь... Куда она ведет?

Комендант проследил за ее пальцем.

— Эта? За ней просто чулан, фрау Хайлманн. Для веников, швабр и прочего хозяйственного инвентаря. Она никуда не ведет.

Театр марионеток

Ты, что с — и вполне
Все — укрощаешь
И — вдвойне
Вдвое — наполняешь, —
Ах, к чему вся — и —!
— меня мой —!
—,
Низойди в — грудь!

Июль 1944. Берлин

Фрау Миллер: Так хочется помыться, а мыло выдадут только на следующей неделе. У меня очень густые волосы, вот посмотрите, прямо как у покойной матушки. Многие завидуют.

Фрау Мюллер: Знаете, фрау Миллер, я слышала, что женщины следят за собой только ради того, чтобы досадить другим представительницам своего пола.

Фрау Миллер: Не понимаю, о чем вы.

Фрау Мюллер: Я просто говорю, что слышала. Кстати, мне мыла хватит до конца месяца, а может, еще и останется. Я экономлю. Другие в начале месяца ни в чем себе не отказывают, моют голову сколько хотят, а в последние недели ходят грязными. Я расходую бережно, а еще массирую лицо каштанами и моюсь отваром из сосновых иголок.

Фрау Миллер: Я тоже. И листья плюща завариваю для стирки. Но у меня такие густые волосы, что мыла на весь месяц не хватает. К тому же мне еще приходится мыть шерсть Габи. Это нечестно.

Фрау Мюллер: Мы все вынуждены довольствоваться тем, что есть, фрау Миллер.

Фрау Миллер: Конечно. Ладно количество, а качество? Всюду одни заменители и суррогаты. Одежда из древесной стружки. Вставные зубы из жести.

Фрау Мюллер: Вы слышали про неудавшееся самоубийство. Мужчина хотел повеситься, но суррогатная веревка лопнула.

Фрау Миллер: Я думала, вы не пересказываете шутки.

Фрау Мюллер: Разве я сказала, что это шутка? А вы слышали, что толкуют про мыло?

Фрау Миллер: Я не слушаю сплетни.

Фрау Мюллер: Может, вам стоит спрятать волосы под платок? Глядишь, так и продержитесь оставшуюся неделю.

Фрау Миллер: Как русские бабы?

Фрау Мюллер: Почему же? Вы наверняка сумеете как-нибудь модно повязать, чтобы вас не принимали за русскую.

Фрау Миллер: Как уборщица?

Фрау Мюллер: Ну, фрау Миллер, если вы и дальше будете транжирить мыло...

Фрау Миллер: Я же сказала, у меня исключительно пышные и густые

волосы, и обычного мыльного пайка мне не хватает. Наверняка есть те, у кого мыло остается, — те, у кого жиденькие, невзрачные волосы. Мыло надо распределять в соответствии с густотой волос. Такая скользкая норма.

Фрау Мюллер: Скорее скользкая дорожка.

Фрау Миллер: Что за угрожающий тон?

Фрау Мюллер: Вы утверждаете, что у нас неэффективная система распределения мыла. Что организация, отвечающая за это, не справляется со своими обязанностями.

Фрау Миллер: Нет, я такого не говорила.

Фрау Мюллер: А прозвучало именно так.

Фрау Миллер: Не знаю, я такого не говорила.

Фрау Мюллер: А я слышала именно это. Надо быть аккуратнее в высказываниях, фрау Миллер.

Фрау Миллер: Конечно.

Фрау Мюллер: И с мылом надо аккуратнее.

Фрау Миллер: Да. Полностью с вами согласна.

* * *

Зиглинда почувствовала, что с нее стаскивают одеяло, и проснулась. Над кроватью склонилась мама.

— Надо торопиться! Вставай!

С маминой шеи свисала лисья горжетка. Легкий мех щекотал лицо, сухая лапка царапнула горло.

— Мне снился сон, — проговорила девочка.

— Скорее! Выбирайся, — торопила мама, будто сон был комнатой, охваченной пламенем.

Нужно слушаться маму — у нее расшатаны нервы. Зиглинда села. Как она проспала сирену? Та заполняла все пространство комнаты, заглушала мамины слова. Зиглинда очень устала. Почти всех детей давно отослали из города в соответствии с приказом гауляйтера. На вокзале они смеялись и махали разноцветными бумажными флажками. Их сажали в поезда целыми классами и везли на далекие фермы, где они будут доить коров, кормить цыплят и скакать верхом. Их везли в палаточные лагеря, где не было родителей с расшатанными нервами, а бодрые вожатые учили прыгать через костер, строить «живые» мосты и опознавать ядовитые растения. Там было полно еды, и им не приходилось пережевывать каждый кусок по

тридцать раз, чтобы паек не заканчивался слишком быстро, или прижимать руки к животу, чтобы заглушить голод. Уехали почти все одноклассники Зиглинды из старой школы, уехали сыновья Шутманнов и младшие дети Глекнеров, уехали многие девочки из ее группы гитлерюгенда. Дети соседей по лестничной площадке уехали несколько лет назад, еще до того, как начались бомбардировки. Как же их звали? И кузен Эдды Кнопф, у которого было что-то не в порядке с головой. Его тоже эвакуировали, но он умер от сердечной недостаточности, и прах прислали домой в жестяной коробке.

— Противогаз! — командовала мама. — Ботинки.

Каждую ночь повторялось одно и то же — лишних слов не требовалось.

Ну и пусть где-то там другие дети катаются верхом, сидят у костра и едят досыта, Зиглинда не хотела уезжать. Кто будет за ней следить? А вдруг она порежет ногу или захлебнется? Ехать к родителям матери в Целле она тоже не хотела. Она никогда их не видела. Папа сказал, что они как чужие.

Зиглинда выбежала за мамой на лестничную площадку. Папа застегивал Курту пальто, а тот приговаривал: «Надо лошадь подковать. Сколько гвоздиков нам взять?» Мама схватила мальчиков за руки и поспешила вниз, лисьи лапки подскакивали у нее на груди.

В подвале герр Шнек выговаривал семье Хоеров за то, что они разрешили своей собаке попить из ведра с водой на третьем этаже.

— А если начнется пожар, вылетят стекла и огонь выжжет весь дом? Что, Фритци спасет вас?

— Прошу вас, герр Шнек. Здесь дети, — проговорил папа.

— Пусть тоже слушают, — не унимался Шнек.

Он отправил герра Хоера на крышу тушить зажигалки и не преминул заметить, что те вспыхивают как спички, огонь мгновенно расплзается на другие дома, и, не успеешь оглянуться, пылает уже вся улица. Потом он записал в своей тетрадочке отсутствующих — тех, кому надоело жить, кто прячется от бомбежки под одеялом. Посмотрим на них, когда от ударной волны начнут вылетать стекла и рушиться стены. Это противозаконно, напомнил он всем присутствующим. Истые германцы такого себе не позволяют. И к тому же — он поднял вверх карандаш — рассчитывать на компенсацию могут только те, кого смерть застигла в подвале. А у недальновидных англичан подвалов нет, и им приходится во время авианалетов запирались в клетках у себя в гостиных. Шнек своими глазами видел картинки в берлинской иллюстрированной газете: довольные до поры до времени враги сидят за решеткой, как мартышки в зоопарке, а

днем используют свои укрытия, как столы для настольного тенниса. Посмотрим, как они запоют, когда Германия применит секретное оружие!

Зиглинда спросила:

— Папа, нас эвакуируют?

— Нет, конечно, ни в коем случае. Какая эвакуация? Детей отправляют на отдых, на каникулы. Но вас мы никуда не собираемся отправлять. Война почти выиграна.

Последнее, кстати, было правдой.

Зиглинда почувствовала, как на голове поднимаются волосы, — неподалеку упала бомба.

Когда удары прекратились и все вернулись в свои квартиры, она уложила братьев спать. Теперь это было ее обязанностью — у мамы щалили нервы. На улице пошел дождь. Тяжелые капли падали на песочный замок, построенный Юргеном, размывали неприступные стены, обнажая крошечную замурованную фигурку. В прихожей старинные напольные часы вызванивали «Нет, нет, нет», и казалось, будто звук идет откуда-то из глубины. Гири словно сжимали время, медленно давя на него своей свинцовой тяжестью.

* * *

У мамы расшатаны нервы, поэтому утром Зиглинда встает раньше всех и готовит завтрак, помогает Юргену найти учебники, а Курту одеться и почистить зубы. Сортирует белье для стирки, проверяет карманы и выворачивает носки. Химчистки теперь обслуживают только солдат, так что Зиглинда сама чистит и гладит два оставшихся папиных костюма. Она делает это очень аккуратно и даже смачивает стрелки слабым мыльным раствором. Когда она вытряхивает брюки, из них вылетает какая-то крошечная бумажка, очень тонкая и легкая, словно перышко. Зиглинда поднимает ее и видит, что там напечатано одно слово — «жалость». На обратной стороне пусто. Девочка осторожно сжимает ее в ладонях, чтобы не порвать, не помять и не потерять, и перекладывает в пустую жестяную коробку с портретом Фридриха Великого на крышке.

В следующие недели она находит еще слова за отворотами папиных брюк и аккуратно складывает их в коробку. «Обещание», «эвакуация», «истребить», «Версаль», «Бог». Неужели это и есть те самые опасные вещи, которые папа изымает? Фридрих Великий гарцует на вздыбленной лошади, бока которой уже начали покрываться ржавчиной. Бумажки совсем

ничего не весят, так что когда мама встряхивает коробку при своей ежедневной переписи, то ей кажется, будто она пуста.

* * *

Мама против того, чтобы Зиглинда ходила на собрания гитлерюгенда.

— Мне нужна твоя помощь дома, — говорит она. На самом деле она просто боится.

— Так положено, это закон, — отвечает Зиглинда. — Когда Юргену исполнится десять, он тоже будет ходить. И Курт.

(Интересно, что это за закон, который предписывает разучивать с детьми песни? Водить их в лес? Измерять длину прыжка и скорость бега?)

Мама начинает плакать. Приходит Курт, забирается ей на колени, предлагает недогрызенный сухарик и сопит в шею.

— Можно же пропустить неделю-другую. Просто не ходить — и все, — упрасивает мама. На самом деле она просто боится.

— Не говори так. Вдруг услышат, — увещевает ее Зиглинда, застегивает пиджак, целует на прощанье и идет на трамвайную остановку.

Она знает все бомбоубежища — с ней ничего не случится. Здания разрушены, в асфальте зияют дыры, пахнет газом. Девушка из гитлерюгенда, почти ее ровесница, приподнимает край полосатой простыни, из-под которой торчат ботинки, и прикрепляет к мертвой руке бирку. Юноши из гитлерюгенда разбирают руины и вытаскивают людей, которые напоминают живые статуи из-за плотно облепившей их известковой пыли. На углу девушка в униформе собирает деньги на топливо для бедных, на трамвайной остановке другая девушка пробивает билеты. Да, мы — молодая мощь. Победа за нами!

На собрании девочки рвут газеты, а Юлия, их вожак, мешает в миске клейстер. На всех фартуки, чтобы не испачкать униформу. Фартуки девочки сшили сами, они же будущие матери, а матери должны уметь все. Они опрятные и аккуратные девочки, из которых получатся хорошие матери. Славные девочки с чистыми волосами и правильными мыслями. Они сидят и рвут заметки о вероломных террористических атаках, стратегических отступлениях и потерях. Рвут объявления: «Я солдат. Мне 22 года. Имею светлые волосы и крепкое здоровье. Прежде чем отдать жизнь за фюрера, я бы хотел встретить достойную германскую женщину, чтобы оставить ребенка для Германского Рейха».

— Здесь портрет фюрера, — говорит Эдда Кнопф. — Его ведь нельзя

рвать, верно?

— Верно, отложи, — кивает Юлия.

Зиглинда и другие девочки начинают искать у себя портреты фюрера, но в любимчиках сегодня, конечно, Эдда. Ну и пусть, главное — работа в группе, а кто там что сказал — не так уж важно. Группа — все, ты — ничто. Ничто, и при этом можешь отличиться, как Герберт Норкус, получивший шесть ножевых ударов и умерший за общую свободу.

Юлия показывает, как сформировать шарик из газеты и обмотать его полосками, пропитанными клейстером. Надо аккуратно разглаживать бумагу и наносить слой за слоем, пока буквы и картинки не сольются в однородную влажную темную массу — к облегчению Ютты Шеннбрюнн, которая разорвала портрет фюрера еще до того, как Эдда Кнопф вылезла со своим замечанием. Постепенно бесформенная бумажная масса становится похожа на голову, тут и ведьма, и начальник стражи, и разбойник, и крокодил, и бабушка, и дьявол и, конечно же, Касперль с огромным кривым носом и вытянутым подбородком. Он может творить на сцене что угодно, подшучивать над остальными и грубить всем подряд, но сердце у него доброе. Естественно, все хотели сыграть его, однако Юлия отдала эту роль Маргарете Браун из-за ее звонкого смешного голоса.

Прежде чем разойтись по домам, девочки расставили бумажные головы на подоконнике для просушки. Всю следующую неделю Зиглинда переживала, как бы с ними ничего не случилось во время бомбардировок. Обошлось. Головы, затвердевшие и усохшие, встречали их, будто сморщенные трофеи свирепых дикарей. Девочки нарисовали лица, приделали волосы из шерсти, сшили костюмы из лоскутков и придумали сценки.

На представлении зрители, родные девочек, подбадривали Касперля и предупреждали об опасности: «Берегись! Берегись!» Это было очень кстати, потому что Касперль засыпал буквально на ходу. Явился начальник стражи и сказал, что в округе орудует разбойник, ворующий уголь, так что надо держать подвал на замке и остерегаться человека с черными руками и в грязной одежде. Зашла бабушка, чтобы подарить Касперлю шляпу, которую она связала специально для него. Та оказалась слишком велика и сползала на глаза, так что Касперль запнулся, пока готовил чай для бабушки, и облился кипятком. Все смеялись.

Только Касперль вернулся в кровать, в дверь постучали ведьма и крокодил. Они бросились обнимать Касперля и наперебой твердили, что они его родители и рады вновь обрести своего малыша.

— Какие родители? Я сделан из бумаги и клейстера, — отбрыкивался

Касперль.

— Так ведь и мы тоже, сынок! — воскликнула ведьма.

— Нет! Нет! — кричали зрители. — Берегись!

— Посмотрите, какой я красавчик, — заявил Касперль. — Как вы, такие уродцы, можете быть моими родителями? Моя мама наверняка прекраснее Кристины Зедембаум, а папа симпатичнее Карла Раддаца.

— Ну и грубиян, — вмешался крокодил. — Сейчас я тебя проглочу!

Но тут явился начальник стражи и спросил про разбойника. Касперль указал на самозванцев и отапортовал:

— Герр офицер, я застал этих мошенников, когда они лезли в мой подвал.

— Как ты мог так поступить со своими родителями? — кричали ведьма и крокодил, когда начальник стражи утаскивал их со сцены.

Зрители хлопали и смеялись.

Касперль опять лег в кровать и захрапел. В окно влез разбойник, пробрался в подвал и стал таскать уголь. Зрители кричали до хрипоты, а Касперль не просыпался. А потом явился еще один гость. Без стука он вошел в дверь, сел на кровать и разбудил спящего своим жарким дыханием. Это Дьявол пришел, чтобы забрать душу Касперля, но тот не растерялся и велел незваному гостю отправляться обратно в ад. Касперль заявил, что у него нет души, потому что маленькая девочка, которая сделала его из бумаги и клейстера, забыла про нее.

— Мальчик из бумаги? — удивился Дьявол. — Таких я еще не встречал.

— Ага, из бумаги, — кивнул Касперль. — Да еще из какой! Из «Фелькишер Беобахтер».

— Отличная газета, — заметил Дьявол. — Я сам ее читаю. Можно?

Он протянул руку, чтобы потрогать лицо Касперля, однако тот в мгновение ока вскочил с кровати и нацепил на Дьявола бабушкину шляпу по самый нос, а потом вытолкнул его из дома и запер дверь. Расправившись с незванным гостем, Касперль опять лег в кровать и крепко заснул — да так, что даже на поклон не вышел.

Возвращаясь домой, мама, папа, Зиглинда и мальчики шли по Шарлоттенбургскому шоссе, затянутому маскировочной сетью.

— Кем ты была? — спросила мама. — Мы так и не догадались. Удивительно!

И правда, удивительно — не узнать собственного ребенка.

— Она была разбойником, — предположил Юрген.

— Начальником стражи! — выпалил Курт.

— Я была крокодилом, — сказала Зиглинда.

— Вот видите! — воскликнул папа.

Зиглинда взяла его за руку и так шла до самого дома, мечтая, чтобы папа поменьше работал.

* * *

Фрау Мюллер: Я уж думала, мы его потеряли. Когда по радио объявили о покушении...

Фрау Миллер: Не поддавайтесь панике. Сохраняйте спокойствие. Он отделался ссадинами и порезами. Да еще штаны у него разорвало в клочья. И подштанники.

Фрау Мюллер: Штаны? Подштанники? В клочья?

Фрау Миллер: Так говорят.

Фрау Мюллер: Силы небесные!

Фрау Миллер: Оказался голым. Ниже пояса.

Фрау Мюллер: Вы слышали, фрау Миллер, что некоторые женщины пишут фюреру и предлагают ему себя?

Фрау Миллер: Что вы имеете в виду?

Фрау Мюллер: Они предлагают ему свое тело для плотских утех. Просят подарить им ребенка.

Фрау Миллер: Какого ребенка?

Фрау Мюллер: Его ребенка.

Фрау Миллер: Фюрер любит детей. И они к нему тянутся.

Фрау Мюллер: Вы могли бы послать такое письмо? Что бы вы написали?

Фрау Миллер: Нет! Зачем? А вы бы могли?

Фрау Мюллер: (молчит).

Фрау Миллер: Фрау Мюллер?

* * *

Ох уж эти женщины! Все они влюблены в него, в ненаглядного голубоглазого бога. Шлют ему свои локоны и отпечатки губ. Вожделяют его.

Август 1944. Близ Лейпцига

Вот уже несколько недель подряд мама занималась покрывалом. Сначала перебирала узоры, как новобрачная, которая так и эдак пробует писать свое новое имя. Пересчитывала нити концом булавки, тихо бормотала цифры и размечала ткань синим мелом. Каждый вечер училась делать крошечные стежки, пока они не стали напоминать мельчайшие красные и черные зернышки.

— Что это будет? — спросил Эрих.

— Подарок, — ответила мама.

— Какой?

— Особый.

Мама не спешила. Если стежки получались неидеальными, она безжалостно их распарывала, порой под нож шли труды целого дня. Извлеченные нитки она отдавала Эриху, чтобы он мочил их и скручивал для дальнейшей работы. Вблизи сложно было различить узор, красные и черные стежки напоминали густую траву или рябь на воде, но стоило отойти и внимательно присмотреться — как вырисовывалась огромная свастика, которая складывалась из свастик поменьше, а те в свою очередь из еще более мелких, словно пчелиные соты. Даже мама не знала их точного количества.

— Это для папы? — поинтересовался Эрих.

— Для папы? — проговорила мама, и он понял, что задал глупый вопрос. Куда отправлять подарок? В снега? В болота? От папы не было вестей уже несколько месяцев.

— Это для фюрера, — сказала мама. — Чтобы он чувствовал нашу любовь.

У Эриха на глазах навернулись слезы: именно его мама догадалась сделать особый подарок для их любимого вождя. Бомба, брошенная предателем, не навредила фюреру. Его невозможно убить! Всего через пару часов после покушения он говорил по радио. Эрих закрыл глаза и постарался представить его прямо здесь, у них в комнате.

«Долг каждого немца без исключения — беспощадно противостоять этой заразе. Выявив изменника, его нужно немедленно арестовать или, в случае сопротивления, расстрелять на месте».

Эрих представил, как лично преподносит фюреру их с мамой подарок. Фюрер улыбается и жмет ему руку под вспышки фотокамер. «Мальчик из

Саксонии дарит Адольфу Гитлеру великолепное покрывало». В горле стоял ком, но Эрих взял себя в руки, все-таки он единственный мужчина в доме, как постоянно напоминала ему мама.

* * *

Через неделю им принесли конверт: папа пропал без вести.

— Что это значит? — спросил Эрих.

— Никто не знает, где он. Его потеряли, — ответила мама.

Как варежку? Как любимую книгу? Эрих однажды потерял зачитанный том про Виннету и нашел его, когда Лина отодвинула стеллаж, чтобы протереть пыль. Папа что, тоже провалился куда-то?

— Надо сказать пчелам, — проговорила мама и повела Эриха через увядающий сад.

— Герр Кренинг мертв, — повторяла она, переходя от улья к улью. Тогда Эрих понял, что это значит.

«Герр Кренинг мертв. Герр Кренинг мертв. Герр Кренинг мертв», — снова и снова, пока от слов не остались одни бессмысленные, пустые оболочки — гул, сливающийся с жужжанием в ульях. «Мертв, мертв, мертв», — несло им вслед.

Через две недели пришло письмо от папы — с дырами:

«Мы вышли на поле с арбузами в —, и сами себе не поверили. Разрезали их штыками и ели, сплевывая семечки, как гнилые зубы. А еще я не могу поверить, что у меня когда-то был дом. Я забыл изгиб твоих губ. У меня не осталось —. — потеряно».

Мама попросила Эриха сжечь письмо, но он забрал его себе. Достал банку с сокровищами и стал раскладывать ее содержимое на подушке: раковина улитки по-прежнему пустовала, желудь так и не пророс, мертвая пчела не ожила, деньги ничего не стоили, флажки выцвели добела. Эрих вздохнул — крылышки пчелы затрепетали. Он расправил банкноту, но та свернулась; тогда он прижал ее двумя руками и стал рассматривать крестьянина. И вдруг он увидел — увидел то, о чем говорил отец: к горлу крестьянина присосалась бледная фигура, безобразная личина, скрытая в игре света и тени. И как он раньше мог не заметить этого вурдалака?

* * *

Мама зажгла лампу с птицами и поцеловала Эриха в лоб. Я здесь, я смотрю на него. Охраняю его сон. Или подкарауливаю момент, чтобы скользнуть меж приоткрытых губ, влезть в его кожу, стать им. Видеть то, что видит он. Чувствовать то, что он чувствует. Похоже ли это на любовь? Я завидую ему: у него есть комната с окнами, выходящими в яблоневый сад, есть блестящие стеклянные шарики, есть книги про вождя апачей. У него есть все. Порой я замышляю такое, что самому становится страшно. Я смотрю на лампу. От моего дыхания она крутится быстрее. Тени птиц пикируют на кровать, бьют его крыльями по щекам, словно мотыльки.

* * *

А осенью нашли летчика. Он упал, как падают листья. Я видел, как он выбросился ночью из подбитого самолета, как над ним раскрылся огромный шелковый купол и как ветер понес его, словно пушинку. Он был тяжело ранен. Я летел рядом с ним, держал его за руку и рассказывал о небе, о птицах и о солнечных бликах на трепещущих крыльях. В темноте было не разглядеть золотистых лиственниц, высаженных в форме свастики среди вечно зеленых елей, но я рассказал ему об этом чуде, появляющемся каждую осень. Он умер в воздухе, между небом и землей.

Эрих и мама вскочили с кроватей и побежали в сад. В свете луны они увидели чужака на выжженном ячменном поле — обгорелое тело на обгорелой земле. Уже издали было ясно, что он мертв, и все же они подошли. Мать и сын вглядывались в обезображенное тело, будто стараясь прочесть свою судьбу. На груди не было орла — не наш. Они стали заворачивать его в парашют, как в белый кокон. Работая, мама почему-то думала о своей сестре Улле, которой вскоре предстоит выйти замуж. Герхард воевал во Франции и не мог приехать, да и неважно: по всей Германии играли свадьбы без женихов.

— Принеси нож и лопату, — скомандовала мама.

И я побежал вместе с Эрихом домой через сад, а улы гудели нам вслед, словно предостерегая: *«Кровь брызгала нам под ноги, словно темный мед, и я чувствовал, как она течет между нами, моя кровь течет в нем. Я знал, что однажды эта кровь потечет по венам его сына, и так без конца. Не ходи в лес с другим. Не ешь диких ягод. Бог может из камней*

сих воздвигнуть детей Аврааму^[16]. Не пей из колодцев. Прячься за мертвыми телами».

Мы не слушали голоса ульев и поскорее принесли маме нож. Она разрешила стропы и стала копать яму, прямо там — на выгоревшем поле. Мы помогали ей. Прежде чем опустить в нее чужака, она на мгновение прикоснулась ладонью к его груди и к потемневшему лбу. Она не искала жетон с именем, потому что уже все для себя решила: он тот, кто пропал без вести и теперь вернулся домой. Мы похоронили его там, где он приземлился, потому что на ферме не осталось мужских рук — переносить тело было некому. Живые мужчины исчезли, а мертвых было столько, что они падали с неба, как дождь. Остатки парашюта мама сложила и унесла домой, словно выстиранное белье.

На следующее утро произошедшее показалось Эриху сном: белоснежный купол, нож, взрезающий стропы... Но под ногтями была земля, руки болели от непривычного труда, а на крыльце стояла лопата, облепленная свежей землей.

Обгоревший остов самолета они нашли в лесу, и он напомнил Эриху трутня, изгнанного из улья в конце осени. Удивительно, как эта груда искореженного металла могла летать.

— Где пулеметы? — недоумевала мама. — Где бомбы?

— Это «Спитфайр», он только фотографировал, — откликнулся Эрих.

— Фотографировал? Нас? Ночью?

— Может, сбился с пути...

Мать и сын разглядывали обломки.

— Ладно. Главное, что он не поджег папины листовенницы.

В кабине Эрих нашел кусок шелка. Сначала он принял его за случайно оброненный носовой платок и даже подумал, что причиной крушения — и смерти — стал не вовремя разразившийся насморк. (Нет, смерть обычно выбирает другие пути: люминал в чай, игла в сердце.) Когда он поднял ткань, то увидел, что это не платок, а сильно опаленная карта Германии со всеми реками, каналами, железными и автомобильными дорогами. Линии расходились от Берлина, Познани, Вены, Данцига, как трещины от ударов на стекле. Эрих сжал ткань в кулаке и ничего не сказал маме. Лесная горлица пела: «Ты, ты, ты», а от одного из ульев к открытой двери дома тянулась черная полоса: пчелы переселялись в бронзовую голову, чтобы строить свои соты вокруг маминых бумажек с желаниями. Они гудели внутри пустого черепа, и казалось, что тот вот-вот заговорит и начнет спрашивать, где папа, что с ним, когда он вернется и сделает еще одного ребенка для Германии. А где теперь маме взять этого ребенка? У ручья под

змеиным камнем? На склоне холма, насвистывая птичьи песенки? В озере, вычесывая улиток и водоросли из русалочьих кос? Или его принесет кукушка и подбросит в чужое гнездо?

* * *

Тетя Улла стояла на стуле в подвенечном платье и напевала «Наступит день, и чудо случится», пока мама подгибала шелковый подол. Никогда еще Эрих не видел ее такой счастливой.

— Невероятно, — повторяла она, разглаживая сияющую ткань. — Совсем как у Эмми Геринг.

Она нащупала в боковом шве крошечный карманчик, в который положат хлеб и соль, чтобы молодой семье никогда не знать голода.

— Не шевелись, — скомандовала мама.

— Герхард не знает про платье. Вот он удивится, когда получит фотографию.

— Нельзя рассказывать об этом в письме, — отрезала мама.

— Так я и не рассказывала, — пробормотала тетя Улла.

— Если кто-то...

— Как же мы объясним, откуда оно?

— Платье, семейное платье. Мы его просто перешили для тебя.

— Хорошо, — кивнула тетя Улла. — Семейное платье.

* * *

Через три недели пришла похоронка. Герхард пал в бою на востоке Франции.

— А как же свадьба? Платье? — спрашивала у всех тетя Улла.

Никто не осуждал ее за такие вопросы, потому что утрата была слишком велика. И пусть они с Герхардом никогда не встречались, было видно, что они любят друг друга. Да, она лишилась жениха, но почему должна лишаться свадьбы? Отсутствие Герхарда никого не смущало, так почему должна смутить его смерть? Спасибо фюреру — он разрешил немецким девушкам выходить замуж за мертвецов при условии, конечно, что у тех в жилах тоже текла немецкая кровь.

Эриху было жаль, что он никогда и не увидит дядю Герхарда, однако мама запретила ему грустить, ведь дядя отдал свою жизнь за Германию.

Эрих представлял, как тот погиб: не сдавал позиции до последнего, а потом пал смертью храбрых, так и не опустив винтовки.

Мама и тетя Улла отправились в ратушу за день до церемонии: подмели каменные ступени, помыли окна, протерли длинный темный стол и убрали стены ароматными еловыми ветками. На следующее утро мама заплела тете Улле косы и аккуратно подколола их под фатой, достала бабушкины украшения с темными, почти черными гранатами, помогла застегнуть платье, которое качалось и вздымалось при каждом шаге, словно еще помнило полет.

— Ты начистил ботинки? — спросила мама Эриха, но ответа не дождалась — пора было выходить. Эрих запряг Ронью в телегу, и они тронулись. Правил он сам. Небо закрывали стальные облака, оштукатуренные стены ратуши расплывались в белесом тумане, и казалось, будто часовая башня висит в воздухе.

На ступенях ратуши какая-то женщина пыталась успокоить плачущего младенца, дав ему пососать свой палец вместо груди, — воспитательная мера, ведь нельзя же кормить ребенка по первому требованию.

Встречая их, распорядитель посетовал, что свадьбы теперь, увы, редки. Родители жениха, приехавшие из Дрездена, молча сидели в первом ряду и озирались по сторонам с потерянным видом. На длинном темном столе между горящими свечами стояла фотография их сына. Невеста и свидетели сели на приготовленные стулья, на месте жениха лежала стальная каска. Тетя Улла опустила на колени букет из искусственных лилий, перевязанных плющом, и тот потерялся в воздушных складках ее платья. Она хотела, чтобы на свадьбе звучала музыка, поэтому все встали и спели «Двое предстали пред Богом, чтоб слиться в одно». От еловых ветвей шел густой смолянистый запах, свечи, окружающие фотографию на столе, трепетали, словно крылышки огненных птиц, и гости, попавшие в этот импровизированный лес, пели для живой невесты в чудесном платье и для мертвого жениха, тело которого навечно осталось на западном фронте, но душа, несомненно, витала здесь. Никто не плакал. Герхард, чисто выбритый и аккуратно причесанный, внимательно смотрел на всех из жестяной рамы, украшенной свастиками; в стекле отражались лица гостей, так что вместо жениха невеста видела молчаливого свекра, увешанного медалями. Никто не плакал, потому что это не похороны. Никто не плакал, потому что слезы — удел побежденных, а Германия не сдается, и кто скажет, что это не так, сам подпишет себе приговор.

Алхимия

Кто с — своих не ел,
Кто в — целыми ночами
На ложе, — , не сидел —
Тот незнаком с —.

Они нас в — манят —
Заводят — в —,
И после —:
Нет на Земле — без —!

Октябрь 1944. Берлин

Фрау Мюллер: У нас вчера забрали изгородь. Просто вытащили, и все.

Фрау Миллер: Нашу забрали еще две недели назад. Из нее уже, наверное, наделали пуль и бомб.

Фрау Мюллер: Теперь кто попало может разгуливать по нашему двору. И по вашему тоже.

Фрау Миллер: Ну и пусть! Зато есть чем отбиваться от британской армии.

Фрау Мюллер: От английской Фрау Миллер: Да, от английской.

Фрау Мюллер: И колокола все переплавили. Как теперь следить за временем? Как бить тревогу? Как поминать мертвых? И отгонять молнии?

Фрау Миллер: Словно жар, небо рдеет; но не утро то алеет^[17].

* * *

При первых же звуках сирены мы хватали чемоданы и противогазы и забивались в тесную дыру без окон с такими низкими потолками, что казалось, будто дом навалился сверху всем своим весом; мы спускались в собственные могилы, дышали угольной и кирпичной пылью, бились в паутине. Сырая земля крепко держала нас и не пускала обратно. Света обычно не было: в темноте и без того не слишком просторное убежище сжималось в крошечную каморку. То и дело кто-нибудь толкал соседа локтем под ребра, наступал на ногу, задевал рукавом по лицу или смахивал шляпу. Эти досадные мелочи занимали нас больше, чем непрекращающиеся удары. «Поаккуратнее, пожалуйста!», «Хватит...», «Постарайтесь не...». Какое-то подобие порядка удавалось навести — не без активного участия герра Шнека — только до следующей атаки. Но у нас хотя бы был собственный подвал. Нам не нужно было втискиваться в коллективное убежище, где детей приходилось сажать на плечи, чтобы они могли дышать.

Бригитта отдыхала на раскладушке, положив голову на тощую подстилку. Все пошло не так, думала она. Все могло бы быть совсем иначе. Если бы Хайлманны не потеряли свое состояние, она бы жила в особняке в Груневальде с тенистой подъездной аллеей и прудом с лилиями. С телефонами в каждой комнате. Увы, все это было продано еще до

знакомства с Готлибом. Бригитта никогда не бывала в их семейном особняке и рисовала себе картинки прошлой роскошной жизни по случайным рассказам мужа и по его детальным силуэтам, которые он сам считал неточными.

— Давай съездим и сравним, — предлагала она, а Готлиб отговаривался тем, что теперь их дом наверняка превратили в административное здание и все переделали.

Бригитта прикрыла фонарь рукой. Сквозь кожу в мрачной темноте подвала тускло просвечивала кровь. Она закрыла глаза и представила, как идет по утраченному особняку, снимает чехлы с венецианских зеркал, с пальм в кадках, с беэштейновского рояля, с позвякивающих канделябров. В передней медведи исполняют свой дикий танец на спинке дубовой скамьи, которую присвоила себе Ханнелора. Циферблат напольных часов мерцает, как зимняя луна. Здесь они не выглядят такими огромными, как в квартире. Бригитта открывает дверцу орехового дерева и поднимает гири. Интересно, который час. Раннее утро или вечерние сумерки? В саду вороны опускаются на замерзший фонтан, с дубов облетают сухие листья. Она открывает дверь в ледник и спускается по каменным ступеням, изо рта вырываются облачка пара. Это просто ее дыхание. Это не едкий дым, от которого сводит горло. Глыбы льда, вырезанные из пруда зимой и обложенные соломой, ждут своего часа, когда можно будет удивить гостей мороженым, сорбе из лепестков роз и освежающими коктейлями с мятой. А какие предстоят званые вечера! Модный ансамбль будет играть в японской пагоде: «Я тону в твоих голубых глазах, в этом танце я словно на небесах», на деревьях будут гореть разноцветные фонарики, в пруду будут плавать лилии, и у нее на плечах будет не эта простенькая лиса, а волк, белый волк. Соберутся самые состоятельные и высокопоставленные берлинцы, и все они будут восхищаться ее мягкими персидскими коврами, самоваром, садом и четырьмя чудесными детишками в белых матросских костюмчиках.

— Мы всегда мечтали о четверых, — скажет она и позвонит в колокольчик, чтобы няня забрала детей и уложила их спать.

После обеда один из гостей, весь увешанный медалями, возьмет ее за руку и проговорит:

— Вы непременно должны съездить на остров Пфауэн. Я покажу вам волшебных птиц и домик, где придворный алхимик делал рубиновое стекло.

Но тут сад начинает рассыпаться, шкура белого волка соскальзывает с ее плеч, фонарики падают с деревьев, из самовара течет горькая вода,

ледяные глыбы трескаются, как простое стекло. Вороны мечутся по небу с хриплым карканьем.

— Мама, — сказал Юрген и потряс ее за плечо. — Я хочу пить.

В руке у него болтался старый плюшевый мишка — без глаз и без когтей, зато с огромной дыркой в голове, через которую высыпалась набивка. Игрушку давно пора было выбросить или хотя бы зашить, но Юрген никому не позволял прикоснуться к ней. В углу Зиглинда напевала Курту старую детскую песенку про маленького морячка, который плавал по всему свету, а дома его ждала девушка без гроша за душой, однако не дождалась и умерла. Каждое слово сопровождалось жестом: Зигги прикладывала руку к виску, как моряки, описывала круг в воздухе, прижимала ладони к сердцу, рисовала в воздухе руками изгибы девичьей фигуры, потирала большой и указательный палец. Потом она провела ребром ладони по шее и нарисовала в воздухе вопросительный знак — «И кто же в том виноват?» — точка.

Поднявшись в квартиру, Хайлманны увидели, что выбито еще два стекла. Бригитта смела осколки и закрыла дыры картоном. Достала свой грессбух и пометила, сколько стекол осталось. Теперь они в дефиците, а скоро их и вовсе не станет. Будет темно, как в подвале. Мы свыкаемся с пустотой. В домах зияют дыры, мы завешиваем их и продолжаем жить. В качестве компенсации нам выдают пакеты с зимними пальто, маникюрными наборами, наручными часами. Чьи инициалы на них? Тени ли это звезд? Их стрелки не укажут путь на Волковыск или Белосток, на небо нет дороги, осталась лишь деревянная оболочка без мерно бьющегося сердца. И все же мы надеваем пальто, чтобы согреться, подстригаем ногти, следим за временем. Мы оставляем знаки богам: сажаем лиственницы среди сосен, чтобы каждую осень в опустевшем лесу вспыхивала свастика.

* * *

Мама пересчитывает ножи.

— Бригитта, — зовет папа, касаясь ее руки. — Бригитта!

— Подожди. Почти закончила, — отвечает она, не поднимая глаз, чтобы не сбиться.

Зиглинда хочет поговорить с папой, но он будто не замечает ее и берет маму за руку.

— Мне больно, — сердится та, хотя папа еле коснулся ее, и Зиглинда это прекрасно видела. Я это видел. Все это видели.

Мама сверяется со своим гроссбухом.

— Шесть столовых ножей, два ножа для очистки, два для хлеба, один для нарезки, три для овощей, четыре неопределенного назначения, один канцелярский.

— И мой кинжал, — вставляет Юрген, хотя его нож сделан из дерева, и им ничего нельзя разрезать.

— И кинжал Юргена, — кивает мама и делает пометку в гроссбухе.

— А мои запасные лезвия для скальпеля ты учла? — спрашивает папа.

— Запасные лезвия?

— Да, я ношу их в портфеле, чтобы они всегда были под рукой на работе. Я думал, ты видела.

— Я не лазаю в твой портфель, Готлиб. Вдруг там что-то официальное? Как мне потом убедить себя, что ничего не видела? Это очень трудно. Даже невозможно.

И правда, невозможно заставить себя забыть что-то. Зиглинда вспоминает о папиных бумажках в жестяной коробке.

— Ну и что? Лезвия лежат в портфеле, а портфель находится в квартире, — говорит папа, улыбаясь. Он подшучивает над мамой? Нужно ли Зиглинде и мальчикам тоже улыбнуться?

— Мне надо подумать, — отзывается мама.

Она вслух проговаривает вопросы и сама же на них отвечает, делает на бумажке какие-то пометки. Как долго находится портфель в доме в течение недели? Дневные часы значат больше, чем ночные? И если нет, то стоит ли вносить корректировки? Да, решает она, стоит. Тогда получается, что лезвия находятся в квартире большее количество времени, чем вне ее, значит, они являются частью домашнего хозяйства и должны быть занесены в гроссбух.

— Бригитта, пора ужинать, — говорит папа и тянется, чтобы закрыть гроссбух, однако мама хватает его и прижимает к себе.

Ножи валятся со стола, и один из них, самый маленький, царапает острым концом паркет. Все застывают в молчании, мама смотрит на раскрывшийся гроссбух, который выскользнул из ее рук на колени. Потом она встает и накрывает на стол. На ужин у них только картошка и хлеб. Ножи так и лежат на полу, никто не говорит про них ни слова. Встав из-за стола, Зиглинда берет Курта за руку и аккуратно, вдоль стены, выводит его из комнаты. Потом, когда папа занимается силуэтами, она поднимает ножи с пола и отдает маме один за другим. Царапину на полу почти не видно. Шесть столовых ножей, два ножа для очистки, два для хлеба...

В доме не осталось ничего, не учтенного мамой: дощечки паркета,

обойные гвоздики на диване, вздохи Курта во сне — все было занесено в гросс-бух. И осколки у Зиглинды в комнате, хотя тут баланс никогда не сходил. Бригитта ложится к ней в кровать и говорит:

— Сегодня, пожалуй, я начну с того угла...

— Да, с того угла, — откликается Зиглинда.

Она рассказывает маме, где нашла свои любимые экземпляры: Барбаросса-штрассе, Гарденберг-штрассе, Винтерфельдт-платц, их собственный двор.

— Смотри, — говорит она. — Этот похож на цветок, этот — на корабль, а тот — на кошку, выгибающую спину.

Мама выключает свет и на мгновение поднимает шторы, чтобы проверить улицу. Вагоны эс-бана замедляются, приближаясь к Савиньи-платц, отблеск голубого огня попадает в комнату и отражается от свисающих с потолка осколков. Зиглинда хочет, чтобы они с мамой сочинили какую-нибудь историю с фигурками, но мама возвращается в кровать и начинает считать шепотом: «Девяностоодиндевяностодвадевяностотри». Вся комната наполняется цифрами, и места для разговоров не остается. Одна Зиглинда помнит точно из довоенного времени: тогда мама была другой. В кого она превратилась? Кто она теперь? Что это за бледная имитация? Тусклая тень?

— Все хорошо, — повторяет папа. — Нам нечего бояться. Мы счастливы и надежно защищены. Так говорят по радио.

Радио... Его бормотание до сих пор раздается в гостиной. Оно обещает скорую победу, уверяет, что немецкие города почти не разрушены, прицел у вражеских орудий неточен, их бомбы не достигают цели и падают в полях и на кладбищах. Сигнал очень слаб, так что разобрать можно немного. Если папа отвлекается, чтобы почесать нос, мы пропускаем часть сообщения. Главное ясно: мы счастливы и надежно защищены. Даже если в небе то и дело вспыхивают огненные рождественские ели, хоть сейчас и не зима. Даже если хозяйки моют лестницы, которые ведут в темные подземные дыры. Даже если горящие осколки сыплются словно град, и мальчики собирают кости. Враги едят сырую картошку и гнилую репу, а у нас полно всего: правила, процедуры, секретное оружие, суррогаты и тени. Мы сильны, и в силе наша радость, работа делает нас свободными, мы отступаем, чтобы выиграть время, наши поражения — стратегический ход, чтобы заманить врага в ловушку. Мы побеждаем, мы славим войну, думать иначе — преступление, ни к чему сожалеть о потерях, ни к чему горевать об умерших.

Но если мы в безопасности, почему мама вздрагивает от малейшего

шума? Если мы счастливы, почему она не смеется, как раньше? А смеется только над кинохроникой, в которой показывают склады, ломящиеся от запасов масла и пшеницы?

— Тс-с-с, — шепчет Зиглинда маме на ухо, потому что больше никто в кинотеатре не смеется. Но все слушают.

Фильм еще не начался, на экране не выдуманная история, а реальные кадры. За нашими спинами, как гигантская муха, жужжит прожектор. В луче, выбивающемся из секретной каморки, беспорядочно кружат пылинки, словно поднявшийся со дна ил.

* * *

Я не знаю, где я и кто. Я ли это лежал связанный под пластами торфа? Звал маму сквозь каменные стены? Сидел привязанный к стулу в ожидании, когда сердце мое за искривленными ребрами пронзит игла? Я ли висел в ветвях на ветру девять долгих ночей?^[18] Смутная дымка, игра полутеней, негромкое дыхание. Следы утеряны. Вы пытались дать мне имя, сковать, пригвоздить, но я менял форму и ускользал. Я призрак. Я тот, о ком говорят шепотом, кем пугают детей. Теперь умеют превращать все что угодно: солому — в золото, золото — в чугун, книги — в пепел, пепел — в мечты. Где же я? В сгибе карты — там, где изображение стерлось за долгие годы. В пустоте не найти координат. Не ищите меня, я не там.

Я — несбывшийся ребенок. Будущее, канувшее в воду. Брошенная монетка, задутая свеча. Упавшая звезда.

Ноябрь 1944. Близ Лейпцига

То и дело случалось, что Эрих не находил вещи на привычных местах. Окно оказывалось на противоположной стене. Буфет вдруг сжимался. Стулья больно ударяли по коленям. Учительница говорила, что он самый рассеянный ребенок за всю ее практику.

— Ты всегда был таким, — успокаивала его мама. — Не обращай внимания.

Пчелы гудели в бронзовой голове.

Действительно, он всегда был таким. Возможно, причина в том, что родители чересчур оберегали его, когда он был маленьким, — не давали ему познавать мир, опасаясь за его безопасность. Хотя вряд ли, папа же поднимал его на параде в честь дня рождения фюрера, а мама кружила в саду так, что казалось, он сейчас оторвется.

— Это из-за того, что я был в санатории? — однажды поинтересовался Эрих. — Из-за того, что я болел?

— В санатории? — переспросила мама. — О чем ты?

— Я спал в палате вместе с другими больными детьми.

— Ты помнишь? — удивилась мама. — Тебе не было и четырех.

Вообще-то Эрих мало что помнил, но иногда, на границе сна, в голове у него возникали картинки из прошлого: женщина в коричневой одежде, которая предлагает ему ломоть хлеба и берет за руку, прикосновение холодных металлических инструментов к коже, медсестры в белых шапочках, раздающие чашки с молоком и чаем и задергивающие занавески вокруг кровати.

— Зачем я был там? — спрашивает Эрих. — Я болел?

— Обычная мера предосторожности.

Осень заканчивалась, Эрих наблюдал, как из ульев изгоняют трутней. Рабочие пчелы отрывали им лапки и крылышки, и вскоре они погибали. Сначала Эрих ловил их и сажал в банки с медом, пытаясь оживить, но вскоре понял, что это не помогает. Они умирали все равно.

* * *

Наступившая зима принесла с собой невиданные холода. Эрих не выходил на улицу и заново перечитывал истории про Виннету. Когда мама

застала его горько плачущим и спросила, в чем дело, он ответил, что раненный в грудь Виннету умирает на руках у своего друга, старины Шаттерхенда. «Воздух гремел от выстрелов. Кто внушил вам бежать?»^[19].

— Это просто книга, золотце, — успокаивала мама, утирая ему слезы платком.

— Они убили его коня Илчи, чтобы похоронить их вместе.

— Убили коня?!

— Да, по традиции апачей.

— Дикари!

Она погладила его по голове.

* * *

В декабре у кошки тети Уллы родились котята, и мама разрешила Эриху одного взять — подарок на Рождество. Он выбрал черную с белым кошечку, самую слабенькую из всех.

— Уверен? — спросила мама. — Она выглядит слишком хилой. Нам нужна кошка, которая сможет сама себя прокормить, охотясь за крысами в амбаре.

— Я назову ее Анка, — отозвался Эрих.

— Анка?

— Да, как черно-белую кошку, которая жила у нас, когда я был маленький. Помнишь?

— Помню, — кивнула мама и странно переглянулась с тетей Уллой. — Она и правда похожа на ту Анку, — проговорила мама после секундного замешательства. — И хватит об этом.

Когда пришло время отлучать котят от матери и забирать Анку, тетя Улла сказала, что та умерла.

— Она оказалась слишком слабенькой. Мне очень жаль, Эрих.

Тетя Улла предложила ему выбрать другого котенка, но он отказался: они были не того цвета, они были совсем не те — как окна, буфеты или стулья. Совершенно не те.

Вернувшись домой, Эрих достал папино письмо из банки с сокровищами: «А еще я не могу поверить, что у меня когда-то был дом. Я забыл изгиб твоих губ». Мама вошла, чтобы позвать Эриха к ужину, увидела письмо и забрала. Хватит оглядываться в прошлое, сказала она, его уже не изменить. Надо думать о том, что им повезло родиться в Германии, что война скоро закончится, и повсюду вырастут дворцы, обещанные

фюрером, и пушки вновь перельют в колокола.

— Бои дойдут до нас? — спросил Эрих.

— Возможно.

— Ты боишься?

— Мы не сделали ничего плохого.

— Хайнц Куппель сказал, что от фосфорных бомб люди вспыхивают, как факелы.

— Вот как?

— И огонь ничем нельзя потушить. В Гамбурге люди прыгали в Альстер, но стоило им выйти из воды, как фосфор снова воспламенялся.

— Мы не в Гамбурге.

— Полицейские отстреливали их, чтобы они не мучились.

— Вот как?

Письмо еще было у мамы в руках, она стала машинально его складывать.

— А еще Хайнц сказал, будто фюрер изобрел такой самолет, который из-за огромной скорости должен стрелять в обратном направлении, чтобы не попасть по собственным снарядам.

— Иди мыть руки.

Я слышу вдалеке первые раскаты грома. Или это пчелиный гул в пустом улье? Или самолеты, летящие к Лейпцигу? Не знаю, я часто ошибаюсь. Письмо, обнаруженное у Эриха, заставило маму действовать. Я вижу, как она собирает папины вещи: расческу, помазок, воскресную шляпу, ботинки, подтяжки. Одни брюки и несколько рубашек она оставляет, чтобы перешить, все остальное складывает в коробки с «Зимней помощью». Это разумно и правильно — помогать нуждающимся, чьи дома разрушены, а одежда сгорела. Это наш долг, а тех, кто пренебрегает долгом, ждет позор.

Эрих тоже хочет исполнить свой долг. В школе им все рассказали: когда они подрастут, то получают ножи, которые следует носить на поясе, как символ долга. Зачем им ножи, Эрих пока смутно представляет и поэтому просто верит. Верит, что смысл придет.

А нуждающиеся — вот они, совсем рядом. Похоже, мама забыла про иностранных работников, а ведь те помогают на ферме и живут тут же. Надо отдать папины вещи им. Мама наверняка похвалит Эриха за такое рациональное решение и удивится, как же она сама не додумалась.

Вечером, когда мама мыла посуду, Эрих взял часть одежды из приготовленных коробок и отправился в хлев. Открыв дверь, он увидел на полу в сене какие-то фигуры — люди это или животные, было не

разобрать, — и тут одна из них поднялась и стала приближаться к нему.

— Это вам, — сказал Эрих и положил одежду.

Подошедший поднял брюки, свитера, носки и произнес:

— Dziękuję^[20].

— Dobranoc^[21], — отозвался Эрих.

Человек улыбнулся и потрепал Эриха по голове. Он его понял. Только маме говорить об этом не следует, при ней Эрих никогда не решился бы произнести чужие слова. Интересно, что скажет папа, когда, вернувшись домой, увидит свою одежду на иностранных рабочих. Но тут Эрих вспомнил, что мама говорила пчелам про папу. Не пропал без вести, не потерялся, не упал, а мертв. Мертв. Мертв! Словно молоток заколачивает гвозди. Теперь вместо папы — бронзовая голова. Она стоит на комодке и следит за домом, внутри нее гудят пчелы и шелестят скомканные желания.

Иногда Эрих представляет, как полый человек надевает папину одежду и принимается за работу: чистит Ронью, пока ее шерсть не начинает блестеть — бронзовому всаднику нужна бронзовая лошадь, — увязывает сено на зиму, отбирает семенную картошку на будущий год — ощупывает, пересчитывает «глазки».

На следующее утро мама завела свадебные часы: из-за дверцы появился крошечный мужчина и сообщил, что день будет ясным. Мама положила прозрачный кусочек масла на булочку для Эриха. Видишь, мы счастливы и нам ничего не грозит. Себе она налила кофе из цикория и стала смотреть в окно. Лужи во дворе подернулись льдом, курицы скребли замерзшую землю, и вдруг она увидела такое, от чего дыхание у нее перехватило. Эрих быстро подошел к окну и увидел папу. Мама стояла, не дыша. Нет, не может быть, тот, во дворе, слишком молод и высок. Это чужак, просто в папиной одежде. Теперь мама ясно увидела, отвернулась от окна, поставила чашку на стол и спросила:

— Что ты сделал?

Эрих сказал, что отдал часть папиных вещей рабочим, но мама, услышав это, почему-то не похвалила его, а заявила, что теперь он должен вернуть все обратно: отстирать, отчистить и разложить по коробкам, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственных согражданах, о тех, у кого нет ни дома, ни одежды, ни масла, а рабочие обойдутся: они привыкли к низким стандартам — для них и хлев, как дворец.

— И давай не будем больше это упоминать, — сказала мама и похлопала Эриха по руке.

Мама не хотела упоминать не только иностранных рабочих, но и

Анку, и папу, и жениха тети Уллы. Эрих все яснее ощущал, что мама будто отгораживает его от жизни.

— Ты только взгляни на моего чудесного мальчика, — сказала она однажды тете Улле.

— В нем больше германского, чем в германцах, — отозвалась ее сестра.

Эрих не понял, о чем она, и хотел спросить, но мама опять так же посмотрела на тетю Уллу, как тогда, когда умерла Анка.

Фраза, брошенная тетей, вертелась у Эриха в голове, преследовала его. Он записал ее, надеясь, что так станет понятнее, однако смысл все равно ускользал. Она не давалась, словно змея, намертво ухватившая собственный хвост. Были и другие подобные фразы: «секрет, который ни для кого не секрет», «жизнь, не стоящая того, чтобы жить». Чем дольше ты смотришь на них, тем меньше остается смысла. Все равно, что пытаться разгадать незнакомое слово. Или собственное имя.

* * *

В январе в деревню приехали военные и привезли противотанковый гранатомет. Женщины выстроились в очередь, чтобы осмотреть его и поучиться стрелять. Смотрите, какой он эффективный и удобный. Отдача совсем не чувствуется. Краткая разъяснительная беседа, торопливая демонстрация: плечо держите выше, цельтесь во врага, стреляйте. Хайнцу Куппелю тоже разрешили попробовать, потому что ему почти десять. Когда Эриху исполнится десять, он тоже вступит в Юнгфольк и будет палить из панцерфауста по врагам.

— Хочешь попробовать? — спросил Эриха солдат.

— Ему еще девять, — вмешалась мама.

— Давай, — подначивал Хайнц Куппель. — Ты что, трус? Знаешь, как поступают с трусами?

И он затянул воображаемую веревку у себя на шее.

В школе фрау Ингвер объявила, что война приближается, и зачитала отрывок:

«Нужно быть готовым к любым опасностям и на войне, и в мирное время. Выживет только тот, кто осведомлен, бдителен и способен действовать быстро. Если горит дом, начинается затопление, идет ядовитый газ, вспыхивает массовая паника, приближаются вражеские самолеты, надо действовать, а не искать подсказки в книге».

Дети сидят, сжавшись, на полу классной комнаты, будто пережидая бомбардировку. Фрау Ингвер дает сигнал, и все сжимаются еще больше — прямое попадание! — они открывают рот, чтобы выровнять давление, и крепко обхватывают себя руками, чтобы не разлететься на куски.

Они больше не отмечают передвижения германских войск на карте, да и карты уже нет. Порой Эрих смотрит на пустую стену и думает: «Где я? Что это за место?» К счастью, у него осталась шелковая карта из рухнувшего самолета. На ней он отыскал точку, где должна быть его деревня — между Дрезденом и Лейпцигом. Конечно, деревня не отмечена, но это к лучшему, ведь карта вражеская, шпионская. А если враг не знает про них, значит, и война обойдет стороной. При масштабе один к миллиону дом их, пожалуй, занимает меньше миллиметра, меньше травинки. (И все же из теней любого дома складывается другой дом, словно спрятанный в сгибе карты, — с другим мальчиком, с другой кошкой, с другим окном.)

Эрих сжимает карту в кулаке и шепчет: «Я нигде. Я никто».

— Что это у тебя? — спрашивает мама, и Эрих показывает ей карту, потому что на вопросы полагается отвечать. Правда, еще полагается молчать, но только если вопрос предосудительный или задает его неблагонадежный человек.

— Я нашел... — бормочет Эрих.

Ему ясно, что мама понимает, откуда эта карта, но упавшего летчика не полагается упоминать, ведь иначе он восстанет, как проклятье на черных крыльях. И кто знает, что он тогда потребует? Поэтому Эрих молчит, хотя чужак похоронен на их земле, совсем недалеко от дома — не дальше, чем работники в хлеву.

Февраль 1945. Берлин

Когда Хайлманны прибыли в Далем к тете Ханнелоре, чтобы поздравить ее с днем рождения, оказалось, что верхний этаж тетиного дома полностью разрушен. Сквозь дым, который теперь не рассеивался над Берлином, Зиглинда разглядела остатки фигур между окнами: каменные дети все так же тянулись к небу, только теперь у них не было ни пальцев, ни голов. Они держали воздух. Двое соседей, потерявших квартиры — фрау Хуммель и старик Фромм — переехали к тете.

— Я всегда рада компании, — говорит Ханнелора.

Однако стоит герру Фромму выйти из комнаты, шепотом добавляет:

— От него столько грязи...

Каждый день тетя выходит во двор и пилит каштаны и дубы, чтобы растопить печь. Конечно, это ужасный позор, но другого выхода нет. Или деревья, или мебель. Садитесь, говорит она Хайлманнам, садитесь, и рассказывайте, как дела. Она просит прощения, что сегодня нет любимого печенья Юргена, зато она нарезала хлеб брусочками и подала его на голубой фарфоровой тарелке. Ведь похоже, правда?

— Вот ветряная мельница, — говорит она и надкусывает один из кусочков. — Точно, на вкус совсем как мельница. Как считаешь?

Зиглинде не хочется притворяться, что обычный хлеб — пряное печенье. Все же видят — это хлеб, притом не самого лучшего качества. Как она мечтает о мягких теплых булочках, которые раньше они ели на завтрак! Каждую ночь ей снится еда: фрикадельки с каперсами, картофельные оладьи, десерт из ягод с ванильным соусом.

— У меня ветряная мельница, — заявляет Юрген, обкусывая по краям свой кусок. — Смотри, Зигги!

— А по мне, обычный хлеб, — говорит Зиглинда. — Я слышала, в него теперь добавляют опилки.

— Правда? — удивляется Юрген, рассматривая свой кусок.

— Конечно, нет, — вмешивается мама. — Зиглинда, извинись перед братом.

— Я просто говорю, что слышала.

— Нечего повторять слухи, — отрезает мама.

Конечно, она права: нечего повторять слухи. Но как не обращать на них внимание, когда вокруг все только и говорят о хлебе из опилок, хлебе из костей, мыле из жира, книгах из кожи?

Юрген кладет свой кусок обратно на голубую тарелку, что, конечно, дурной тон, однако мама не замечает — она осматривает комнату, хмурится и спрашивает:

— А где самовар?

— Я давно им не пользовалась, — отзывается тетя Ханнелора.

— Где же он? Где бамбуковая ширма и персидские ковры? Где материнский крест?

Теперь Зиглинда тоже замечает, что тетина квартира заметно опустела. В ней стало больше жильцов, но меньше вещей, что очень странно.

— Все равно они бы достались русским, — говорит тетя. — Те ничем не гнушаются: вырезают стекла из рам и кожу с диванов и отправляют домой.

— Ханна, — обрывает ее папа, — все же еще есть возможности.

Тетя смеется.

— Знаете ли вы, дети, что дантистам приходится вырывать зубы пациентам через нос?

— Ханнелора! Не надо, — предупреждает папа.

— Потому что никто не решается открывать рот.

Тетя достает из комода футляр, украшенный чеканкой, и вручает Зиглинде.

— Подарок тебе на день рождения. Заранее. До восемнадцати лет ждать слишком долго.

Внутри на небесно-голубом шелке лежат чугунные браслеты, напоминающие сплетение темных ветвей, разорванную в клочки ночь, изящные папины силуэты. Зиглинда надевает их.

— Смотрите, они мне как раз!

Она опускает руки, браслеты не сваливаются. Да, теперь она доросла до них.

— И это, — говорит тетя, снимая чугунное кольцо, заменяющее ей обручальное.

Оно еще хранит тепло тетиных рук. Зиглинда читает надпись «Я сдала золото за железо». Золото и чугун слиты воедино, и нет ни начала, ни конца.

— Это слишком, — пытается возразить мама.

Тетя стоит на своем.

— Ей уже впору. Только никому не показывай, а то Адольф отберет все и переплавит в пули.

Как можно говорить такое вслух?!. Но на этот раз папа молчит. Наверное, она просто устала, как и все остальные. Она не в себе. Ее

подкосили изматывающие дежурства в пункте первой помощи.

Зиглинде разрешают пойти домой в браслетах, естественно, спрятав их под рукава. И страх ее покидает. Она идет мимо разрушенных зданий, мимо людей, откапывающих тела, мимо юношей из гитлерюгенда, откачивающих воду из подвалов, — и ничего не боится. Она сделана из железа, она неуязвима. Ей не знакомы ни страх, ни усталость. Она гордо стоит на своей земле, словно поднятый меч. Когда раздается сирена, она даже не вздрагивает.

— Быстрее, дети, — торопит папа.

Им приходится свернуть к зенитной башне рядом с зоопарком — до дома слишком далеко. Они вливаются в толпу, направляющуюся к бункеру. Идут спокойно и быстро, не толкаясь и не паникуя, несмотря на то, что людей слишком много, гораздо больше, чем способна вместить башня.

— Зигги, — спрашивает Юрген, — мы проиграли эту войну?

— Конечно, нет, — отвечает она. — Все еще есть возможности.

— Какие?

— Например, мороз. Зима очень холодная, может, русские замерзнут по дороге и не дойдут до Берлина.

— Вы что, читать разучились? — возмущается женщина, тыкая в папу зонтиком и показывая на объявление, висящее над входом: «Мужчины в возрасте от 16 до 70 обязаны нести службу. Запрещено находиться в бункере!» Откуда ей знать про папину особо важную работу? Да и не объяснишь, потому что нет времени, и вообще, это секрет.

Внутри нет места не то что присесть, но даже наклониться, чтобы завязать Курту шнурок. Зенитные орудия над нами гремят, разрывая небо. Что-то ужасное сотрясает стены и ломится в двери. Рассвирепевший зверь со вздыбленной шерстью и оскаленными зубами вырвался из степи и несется к нам. Наступил сезон волков, но мы в безопасности, за крепкими стенами толщиной в человеческий рост. Если уж они способны защитить алтарь Зевса, голову Нефертити и прочие бесценные сокровища, то и нам ничего не грозит. Мы в безопасности, в полной безопасности, и пусть нам приходится стоять неподвижно и мочиться прямо себе под ноги — нам нечего бояться. Мы сделаны из железа. Есть знаки, подсказывающие, что делать, есть установленные процедуры, предупреждения и правила, есть стрелки, светящиеся в темноте, как в папиных часах. Кстати, который час? Сколько прошло времени?

На следующий день к Зиглинде приходит Эдда Кнопф и говорит, что Юлия погибла при воздушной атаке, когда шла к своей бабушке.

— Как она умерла? — уточняет Зиглинда.

— Я же сказала, при воздушной атаке.

— Ясно, — кивает Зиглинда, но ей хочется подробностей. Прямое попадание, осколок, отлетевший камень или гильза зенитного орудия? Юлия задох-нулась? Истекла кровью? Ей разорвало легкие? Оторвало голову? Высушило жаром до состояния мумии? Разнесло на клочки? Расплющило, как болотного мальчика? Эдда говорит, что похорон не будет, потому что не из чего сделать гроб: нет ни дерева, ни картона.

Проводив подругу, Зиглинда достает жестянку с Фридрихом Великим, вытряхивает бумажки и раскладывает их на столе, шепотом читая слова: «милосердие», «любовь», «обещаю», «сдаюсь». Юрген с Куртом бегают друг за другом по квартире, представляя, что стреляют из воображаемых ружей, бросают воображаемые гранаты и умирают. Понарошку.

— Тише, мальчики, — просит мама: у нее расшатаны нервы, ей нужны покой и тишина.

Она лежит в постели и просит Зиглинду принести грассбух. Сначала долго листает его, разглаживает страницы, заполненные аккуратными столбиками цифр — все подсчитано, все учтено, — а потом заносит подаренные тетей Ханнелорой чугунные браслеты и кольцо. Расчерчивает ровные графы, указывает дату и описание. И застывает, хмурясь.

— Пара браслетов в футляре — это одна позиция или две?

Она не может решить. Ищет глазами браслеты, чтобы уладить проблему раз и навсегда. За окном на карнизе сидит ворона.

— Интересно, Зигги, в вороне много мяса? Я слышала, некоторые ловят их и едят. Вороний шницель. Вороний рулет.

— Думаю, это просто слухи, мама.

Зиглинда не снимала браслеты с тех пор, как надела их у тети, даже спала в них. И сейчас она ощущает их под джемпером и не хочет расстаться с ними ни на секунду, но раздражать маму не стоит, поэтому она закатывает рукава.

— Некоторые разводят на балконе кроликов, — продолжает мама. — Для еды. Почему бы не попробовать ворон?

Мама берет Зиглинду за руки и изучает браслеты, потом снимает их и рассматривает на свет.

— Торпеда попала в наш круизный лайнер, Зигги. Он перевозил беженцев. Все погибли.

Мама качает головой.

— Думаю, надо записать их, как две отдельных позиции. Ты еще мала носить такие украшения, я уберу их пока.

Мама запирает браслеты в футляр, а футляр — в туалетный столик. Фарфоровая рука, стоящая сверху на вязанной салфетке, дрожит, но не падает — к счастью, потому что папа сказал, что больше не сможет ее склеить. И что тогда? Зиглинда помнит страшную историю про даму, которую затянуло внутрь столика. Она поверила тогда папе, хотя в ящичках не поместился бы даже ребенок. Она верила в папину выдумку, несмотря на факты, свидетельствующие об обратном. И даже когда она уже перестала верить, то притворялась, что верит все равно.

— И кольцо, — говорит мама, протягивая руку.

Почему Зиглинда должна отдавать украшения? Это нечестно! Ведь тетя Ханнелора подарила их ей, чтобы она носила их прямо сейчас. Пока еще есть такая возможность.

— Фрау Метцгер не снимает свои украшения, даже когда спускается в подвал, — защищает Зиглинда. — Я буду очень аккуратна.

— А если фрау Метцгер завалит обломками вместе со всеми украшениями? И тело не найдут? Нет, слишком рискованно.

Зиглинда молчит — с мамой нельзя спорить. Говорят, фюрер приготовил специальный газ для немцев, чтобы безболезненно усыпить весь народ, если дикие азиатские орды ворвутся в страну. Впрочем, об этом тоже не стоит рассказывать маме.

Мама отпирает шкатулку с драгоценностями — кстати, почему ключ в замке? — и вынимает брошь, украшенную папиными молочными зубами, чтобы освободить место для кольца.

— Можно посмотреть? — просит Зиглинда, и мама передает ей брошь. Зубы кажутся неправдоподобно маленькими.

— Почему ты не носишь ее, мама?

— Не модно.

— Разреши мне походить. Хотя бы сегодня.

На запястьях Зиглинды еще видны следы от браслетов, будто она испачкалась соком ежевики, но и те быстро исчезают.

— Только сегодня, — соглашается мама и прикалывает брошь к воротничку дочери.

Папа, вернувшись с работы, ни слова не говорит про брошку. Непонятно, заметил ли он ее вообще. Раньше он всегда шутил, что его младенческие зубы кусают дочь за косичку. В этот раз он молчит. Зиглинда догадывается, что у папы устают глаза от работы.

— Папа, какие еще есть возможности?

— Что? — переспрашивает он.

— Ты сказал тете Ханнелоре, что еще есть возможности. Какие?

Папа не отвечает, но Зиглинде ясно, что он все знает, просто не имеет права сказать.

Ответ сам находит Зиглинду, словно по волшебству. Вечером, убираясь на кухне, она замечает листовку на полочке для писем, и, еще прежде чем достать ее, понимает, что там написано про возможности.

— Юрген! — зовет она. — Иди сюда!

* * *

Существуют две возможности...

Мы — немцы!

И у нас есть только две возможности:

или мы настоящие немцы, или ненастоящие.

Если мы настоящие немцы, значит, все порядке; если мы ненастоящие немцы,

то у нас есть две возможности:

или мы верим в победу, или не верим.

Если мы верим в победу, значит, все в порядке; если мы не верим,

то у нас есть две возможности:

или мы берем веревку и живо вешаемся, или не вешаемся.

Если мы берем веревку и живо вешаемся, значит, все в порядке; если мы не вешаемся,

то у нас есть две возможности:

или мы прекращаем бороться, или не прекращаем.

Если мы не прекращаем бороться, значит, все в порядке; если мы прекращаем,

то у нас все еще есть две возможности:

или красная метла, следующая за англо-американскими войсками, сметет нас с лица земли, или Сталин загонит нас на каторгу в ледяную сибирскую пустыню.

Если нас сразу сотрут с лица земли, это по сравнению с каторгой не так уж плохо; если погонят в Сибирь или еще куда-то,

то у нас есть две возможности:

или сдохнуть по дороге, или выжить.

Быстрая смерть в таком положении — уже удача; если же она не придет,

то остаются две последние возможности:

или работать на варваров до конца своих дней, без надежды увидеть семью и Родину, или, как только представится возможность, пытаться бежать и получить выстрел в спину.

Поскольку в обоих случаях конец — могила, то больше никаких возможностей нет.

Значит,

нет двух возможностей.

Есть только одна!

Мы обязаны выиграть войну, и мы можем это сделать! Весь германский народ, и мужчины, и женщины, должен собрать свое мужество и доказать готовность следовать приказам и бороться.

Во имя нашего будущего и будущего наших детей! Иначе все мы канем в большевистский хаос!^[22]

* * *

— Что это? — спрашивает Юрген.

— Ничего, — отвечает Зиглинда.

Она идет в гостиную и бросает листовку в печь. Из головы не выходят слова, спрятанные в жестяной коробке: «поражение», «милосердие», «скорбь», «Версаль», «прости» — крошечные обрывки, неправдоподобно маленькие, словно выпавшие молочные зубы. Из закушенной губы сочится кровь.

Вечером Зиглинда спускается в подвал, который служит им убежищем. Только стены там ненастоящие, они наскоро сложены из кирпичей, не скрепленных раствором, так что, если бомба попадет в дом, если завалит вход и пожар высосет весь воздух, можно будет легко попасть к соседям. А если и там будет не лучше, можно пройти еще дальше, и еще. У всех домов на их улице такие подвалы, во всем городе: фальшивые стены, обманные выходы. (Всегда есть запасной выход — веревка, револьвер, ампула с ядом.)

Зиглинда прислушивается — все спокойно. Она разбирает стену и пробирается в соседний подвал. Рассматривает оставленные там детские книги и настольные игры, ведро за занавеской и тикающие часы. Потом ложится на одну из раскладушек и закрывает глаза. Она представляет, что у

нее другая семья, другая жизнь. Мама играет на пианино и покупает ей небесно-голубые ленточки для волос. Папа служит в Вартеланде, помогает переселенцам и получает медали за милосердие. Курт — ее младшая сестренка, а Юрген — собака. Юлия жива и готовит Зиглинду стать вожаком, потому что заметила, насколько хорошо та знает песни, правила и историю Германии и насколько преданно любит фюрера. Я лежу рядом с ней на узкой кровати. У меня есть мама и папа, я топаю по заледеневшим лужам, строю замки из песка, помогаю собирать урожай и меняю стеклянные шарики на осколки, а потом обратно. Я хожу на собрания и пою песни. Прыгаю через костер и получаю нож. Так мы вместе и пойдем, она и я, будем проходить сквозь стены и менять имена, пока не найдем выход.

Март 1945. Близ Лейпцига

— Я хочу взять приемного ребенка, — сказала тетя Улла.

— Да, хорошо, — кивнула мама. — Сейчас много сирот.

— Ты сможешь мне написать письмо? Заполнить бланки?

— Конечно. Мальчика или девочку? Можно выбрать.

— Мальчика. Я назову его Герхард.

— Да! — Мама хлопнула в ладоши. — Это то, что надо!

— А как же родная мама? — удивляется Эрих. — Разве она отдаст ребенка?

Тетя Улла потрепала его по голове.

— Они умерли, их родные мамочки. А сиротки попали в детский дом.

Ночью Эрих не мог уснуть. Он закрывал глаза и видел, как кошка Анка бегают по смутно знакомым комнатам и играет упавшими листьями в размытом саду. Мама держит его за запястья и кружит, кружит, но лица ее не разглядеть, потому что солнце слепит глаза. И голоса ее не слышно за гудением пчел: «Я замешу свой хлеб на крови ваших детей. Но кто же тогда я? Я не он». Женщина в коричневом костюме предлагает ему кусок хлеба, берет за руку и уводит. Тени птиц скользят по стенам, по кровати, по его лицу.

Правду ему рассказал Хайнц Куппель, когда они вдвоем убрались на школьном чердаке. Надо было вымести остатки прошлогодних лечебных трав, чтобы подготовить место для нового урожая. Март стоял прохладный, но воздух под крышей прогрелся и звенел от их голосов. Хайнц сказал, что теперь незачем собирать травы, ведь американцы уже пере-шли Рейн, а русские — Одер. И вообще, не понятно, зачем фрау Ингвер заставляет их это делать. Разве только чтобы занять их чем-то. А потом он съел лист наперстянки — не знаю, может, соврал — и сказал, что ему ничего не будет, смерть его не берет. Еще он сказал, что в городских аптеках раздают цианид всем желающим. А потом заявил, что Эрих — совсем не Эрих, и его папа с мамой — не родные.

— Они взяли тебя из детского дома. Пришли, как в магазин, и выбрали. Ты поляк. Это мне брат рассказал.

— Врешь! — кричит Эрих. — Твой брат мертв.

— Я давно об этом знаю. Брат видел, как тебя привезли сюда. Ты уже умел ходить.

— Врешь, — повторяет Эрих, но мы оба знаем, что это правда. —

Мама хранит мою колыбель, я видел. Папа сам вырезал на ней желуди.

— Ты всегда был не таким, как все. Правда ведь? Спорим, ты не съешь наперстянку.

— Травы для солдат. Их нельзя есть.

— Да это же просто мусор! Отходы!

— Все равно нельзя.

— Трус! Польская собака!

Когда Эрих передает разговор маме, она заявляет, что Куппели никогда не отличались честностью и даже утаивали часть урожая от Имперского продовольственного комитета, а разницу продавали на черном рынке.

— От него всегда были одни неприятности, от этого мальчишки.

— Он сказал, что в городах раздают цианид.

— Что за чушь! — восклицает мама.

На следующий день, когда приходит бабушка Кренинг, Эрих вдруг замечает за обедом:

— Я помню санаторий, мой дом. Помню, как спал там с другими детьми.

Побледнев, бабушка Кренинг только и может проронить:

— Эмилия?..

И Эрих сразу понимает, что Хайнц Куппель не соврал.

Мама говорит, что это не важно.

— О таком ребенке, как ты, мы всегда и мечтали.

— Но откуда я взялся? Я поляк?

— Ты немец. Любой это подтвердит. Что еще наболтал Хайнц?

— Ничего.

Мать кивает. Это все, что Эриху удалось от нее узнать. Чем больше он спрашивает, тем короче становятся ответы.

— Что я сделал, мама? Почему ты злишься?

— Я не злюсь.

Почему же тогда она перестала укутывать его перед сном и целовать по утрам, почему стала говорить с ним, как с иностранными работниками: «Подмети пол», «Пересчитай яйца», «Выгреби золу». Таким же тоном она отвечала горожанам, которые приезжали к ним, чтобы обменять ковры, золотые кольца и картины на яйца, мясо и смалец: «Это запрещено законом. Надо бы знать такие вещи». Голос ее смягчается, только когда она шепотом молится бронзовой голове.

В конце концов, война добралась и до них. В те последние смутные недели на их землю обрушился бомбовый шквал, как неотвратимая стихия, которую не остановишь ни молитвой, ни страхом, ни ворожбой. Наверняка он предназначался не им, ведь в деревне не было ни заводов, ни мостов, ни железных дорог — никаких стратегических объектов, интересующих врага. (Или это не враг, а мы сами, как верноподданные римляне, разрушали собственную страну?) Бомбы падали на картофельные поля, в лес, в озеро.

Мама с Эрихом обедали дома, когда началась атака. Сначала они приняли гул моторов за жужжание пчел, но даже когда стало ясно, что это самолеты, они не сдвинулись с места, ведь здесь с ними не может произойти ничего плохого, их просто нет со стратегической точки зрения, их даже нет на карте. А потом перед хлевом взметнулся фонтан грязи, дом задрожал, работники стали с криком разбегаться во все стороны. Эрих метнулся к двери и натянул ботинки, мама — за ним. Он решил, что она тоже хочет помочь. Помочь работникам. Но мама жадно схватила его за плечо, словно удерживая и отстраняя.

— Стой! Они чужаки! Нельзя рисковать собой ради них.

Эрих вырвался и помчался мимо стойла, где ржала и била копытами Ронья — Ронья, которая не боялась ни грома, ни пламени — напрямик к хлеву. Двор, постройки и небо заволокло дымом. Эрих пошел на голоса, не доверяя призрачным очертаниям.

— Здесь! — закричал один из работников, показывая куда-то в угол.

Эрих с трудом разглядел в грязи на полу человеческую фигуру, придавленную рухнувшей стеной. Двое безрезультатно пытались приподнять доски, чтобы освободить застрявшего товарища. Эрих заполз в щель, уперся плечами и стал толкать. Стена подалась, и раненого наконец удалось вытащить. Когда Эрих вылез наружу, он был такой же грязный, как работники. Дым немного рассеялся, перед хлевом зияла воронка, будто из земли выдернули гигантский корень.

Сначала мама отказалась пустить в дом раненого.

— Он обворует нас. Или еще хуже...

— Его можно положить на мою кровать, а я лягу на пол, — настаивал Эрих.

— На твою кровать? Да ты хоть знаешь, что поляки сделали с немцами?

О, порождения ехиднины!

— Я — поляк! — сказал Эрих.

— Нет. Ты немец, просто родился в Польше, которая теперь вообще часть Германии.

С улицы доносился стук молотков. Двое уцелевших работников ремонтировали хлев.

— Что случилось с моими родителями? Как мое настоящее имя?

— Ты Эрих Кенинг, а я твоя мама.

Нет, подумал Эрих.

Нет, подумал я.

В конце концов, мама согласилась впустить раненого, когда Эрих сказал, что так он быстрее поправится и сможет вернуться к работе. А дел предстояло много: надо было чинить изгороди и прочищать канавы. Надо было засыпать воронку.

Раненый спал в кровати Эриха, а Эрих спал рядом с мамой, на месте, освободившемся после папы. Было непривычно лежать в другой комнате, и слышать близкое мамино дыхание, и наблюдать, как сгущается темнота, наступая из углов. Эрих не мог уснуть и стал считать, сколько месяцев осталось до его десятилетия, сколько недель, сколько дней. А вдруг ему уже исполнилось десять? Ведь если мама оказалась неродной, то и день рождения может оказаться фальшивым. Будь ему уже десять, он бы мог вступить в Юнгфольк, где учат заряжать панцерфауст, ослеплять пилотов прожектором, стрелять из зенитки, подрывать танки и перерезать горло. И если он хорошо зарекомендует себя — покажет врожденную способностью, как говорит фрау Ингвер, — то его могут пригласить на встречу с фюрером, который всех германских детей считает своими. Поскольку вы плоть от плоти нашей и кровь от крови нашей, в ваших молодых умах горит та же страсть, что ведет и нас. Говорят, что некоторых детей фюрер приглашает к себе в бункер на недельку-другую, и там кормит их марципаном, и витаминами, и горячим шоколадом. Эрих видел фотографии этих счастливых в газетах: как они пожимают фюреру руку и задают вопросы — вопросы, официально утвержденные и отретпетированные, потому что нельзя же спрашивать у фюрера что попало.

Когда мама засыпает, Эрих пробирается в свою комнату и зажигает лампу с птицами для раненого. Они вместе наблюдают, как тени скользят по комнате, круг за кругом, и вдруг мужчина складывает ладони, изображая летящую птицу, которая на мгновение садится Эриху на руку.

— Czesław^[23], — говорит он.

Я вижу, как враги хлынули в Германию со всех сторон, заполняя страну через дыры в карте: Кельн, Франкфурт, Дрезден, Гамбург. Я слышу, как мама и тетя Улла шепотом говорят о сданных городах, о взятых городах. Они обрезали друг другу волосы и зашили бабушкины гранаты в подолы и швы своих юбок. Где же секретное оружие, которое спасет всех?

Почему никто не ведет нас в просторные убежища в горах, заполненные продовольствием? И что это за черно-белая кошка бегают по саду тети Уллы, не Анка ли это, которая оказалась слишком слабенькой, чтобы выжить? Не она ли греется на солнышке, пьет из луж и гоняется за воробьями? Мы разбудили призраков, и теперь они не уйдут.

Kindertotenlieder [\[24\]](#)

— ! Всем — свою предуготовь,
чтобы в нее впадало —,
чтоб — в ней был, чтоб в ней была —.

Апрель 1945. Берлин

Теперь мало кому удастся сохранять твердую руку. Я наблюдаю за работой Готлиба. Книг у него на столе скопилось столько, что вокруг ничего не видно, не разглядеть даже очертаний соседа за матовым стеклом. За скоростью неизбежно теряется точность. Времени очень мало. Каждым движением он вырезает часть жизни.

Его никогда нельзя было упрекнуть в неаккуратности, но список запрещенных слов растет с каждым днем, а за невыполнение нормы предусмотрены санкции. Скоро, думает он, вообще останутся одни дыры.

Регулярное взвешивание пепла из утилизационной печи показало, что не все изъятые материалы подвергаются предписанному уничтожению. Это вызвало ряд вопросов. Куда попадают уцелевшие слова? Есть сведения о том, что недобросовестные сотрудники тайно выносят их из отдела, прячут на чердаках, в подвалах и в бомбоубежищах, торгуют ими на черном рынке. Знает ли герр Хайлманн что-нибудь об этом? Не выносил ли он обрезки с работы, например, чтобы разжигать ими печь в условиях дефицита угля и древесины (нам запрещено говорить о дефиците)? Или, может, он подозревает кого-то из коллег?.. Есть две возможности, герр Хайлманн. Вы можете рассказать нам все, что знаете, не опасаясь репрессий (нам запрещено говорить о репрессиях), или можете хранить молчание. Если вы решите хранить молчание, а впоследствии выяснится, что вам было что рассказать, вы подвергнетесь серьезным репрессиям.

Готлиб не может ничего рассказать. Лучше бы, думает он, в отделе сразу писали книги, не требующие цензуры. Интересно, про что может быть такая книга? Про семью? Да, про добропорядочную немецкую семью, живущую в Берлине. В памяти всплыла песня, которую дядя часто играл на аккордеоне: «Пять диких лебедей кружили, пять белых лебедей. Пой песню, пой. И больше их не видели среди пустых полей».

Какая разная бывает бумага! Готлиб вспоминает рыхлые листы старых книг, глянцевые игральные карты, полупрозрачные страницы Библии из папиросной бумаги, пожелтевшие почтовые марки, газетную бумагу, легко рвущуюся вдоль волокон.

— Может, температура в печи больше расчетного значения? Я слышал про церковный колокол, который превратился в пригоршню пепла.

После этого разговора Готлиб начинает строже следить за своими действиями. Он вырезает слово — откладывает в сторону, вырезает

следующее — откладывает, и так пока на краю стола не накопится внушительная кучка, которую он смахивает в корзину на полу. Конечно, его портфель стоит рядом, но тот всегда закрыт, точно. И даже если бы туда завалились какие-то слова, то он обязательно их обнаружил бы, разбирая портфель дома. Готлиб наблюдает, как крошечные бумажки летят в корзину, словно снежинки, словно сухие листья, словно белые птицы. Присмотревшись, можно прочитать слова, напечатанные на них, но Готлиб научился различать только форму, не вдумываясь в содержание. Так получается работать быстрее.

— Ты не находила ничего странного в моем портфеле? — спрашивает он Бригитту, придя домой.

— Что именно?

— Маленькие обрезки бумаги. Такие крошечные, что их трудно разглядеть.

— Ты же знаешь, я не открываю твой портфель.

— Я просто подумал, может, ты что-то заметила.

— Случайно заметила то, что с трудом можно разглядеть?

Разговор принимал не слишком приятный характер, еще чуть-чуть, и Бригитта опять начнет спрашивать про гостиную. Готлиб стал рассматривать последний вырезанный силуэт — Кельнский собор. Похож ли он? Готлиб достал книгу с фотографиями, чтобы сравнить. В силуэте невозможно ухватить каждую деталь: фигуры святых в почерневших нишах, нависающих горгулий, главное — очертить контур, передать сложность, соотношение масс, движение света и тени. Он вырезает крошечные, не толще волоска, отверстия в черной бумаге. Надо быть аккуратным: одним движением ножниц можно испортить всю работу. Терпение и точность. Он надеялся передать эти качества Юргену, и даже однажды вручил ему ножницы и контур дома, но у мальчика получились языки пламени и дым, стелющийся над руинами. Дикий хаос вместо четких линий.

Готлиб представляет, как входит в бумажный собор. Внутри тихо и прохладно. Он ложится на черные плиты и смотрит в пустоту, в бесконечный мрак, охватывающий его со всех сторон. Здесь нет святых и горгулий, нет гигантских каменных балок, нет острых шпилей, тянущихся кверху, чтобы про-ткнуть небо и открыть дорогу в рай, а есть только его, Готлиба, темное одиночество, мрак, окутывающий нас до рождения, безмолвный сон, от которого суждено проснуться в кровавую явь, где на пороге нас встречают узел и нож.

В доме тишина: дети спят, Бригитта заполняет гроссбух. Если быть до

конца честным, то да, жена права, гостиная увеличилась. Но не скажи она об этом, и Готлиб не заметил бы, пожалуй. Следовало внимательнее относиться к ее словам, тогда у них были бы две возможности: сказать или смолчать, да или нет, белое или черное. А теперь время ушло.

Однажды, сметая обрезки со стола, Готлиб заметил, что одно из слов упало за отворот брюк. Оказалось, там их было несколько, возможно, он ходил с ними так уже несколько недель. Придя вечером домой, он спрашивает Зиглинду, не находила ли она в его брюках что-нибудь странное, и уверяет дочь, что это сущий пустяк. Но почему же тогда он вздрагивает, когда она приносит ему жестянку с Фридрихом Великим? Каменный король на вздыбленной лошади вел четыре миллиона прусских солдат против сорока миллионов и не сдавался даже в самых безнадежных ситуациях. Зиглинда вытряхивает все слова — а их накопилось уже не меньше дюжины — и протягивает папе в ладонях, словно выпавшего из гнезда неоперившегося птенца. Конечно, вряд ли такая недостача заметно повлияла на объем пепла, однако неприятности сулила нешуточные.

— Надо сжечь... — начинает папа, но не успевает договорить: завывает сирена, и в дверях появляется Шнек, орущий, что система оповещения не сработала, атака уже началась и надо торопиться.

Готлиб выключает газ и открывает окна. В небе гудят самолеты, на земле рокочут зенитки. Зиглинда выводит на площадку заспанных братьев, Бригитта задерживается, чтобы надеть лисью горжетку. Дверь они оставляют открытой, согласно правилам. Лестница дрожит под их ногами, как когда-то под Готлибом плясала трясущаяся лестница в луна-парке.

* * *

В подвале Зиглинда замечает, что Курт надел джемпер задом наперед, и хочет переодеть брата, но тот обнимает ее и просит спеть песню про маленького морячка и несчастную девушку. Курт помнит все жесты. Каждый раз они опускают по одному слову, так что в конце только их руки рассказывают грустную историю о любви и смерти — «И кто же в том виноват?».

Я слышу, как наверху разрываются осколки, заполняя весь мир, словно будущее сходит с небес на землю. Зиглинда представляет, как откроет утром занавески и увидит, что все здания завалены осколками до четвертого этажа.

Наверху взрываются связки гранат с шелестом голубиных крыльев,

кассетные бомбы валятся на землю, словно мешки с сырым песком. Бомбу, попавшую в их дом, Зиглинда не слышит, только чувствует, как ее отбрасывает и трясет, трясет, пока все вокруг не превращается в пыль.

Апрель 1945. Близ Лейпцига

Проходя мимо родительской комнаты, Эрих замечает, что мама разбирает алтарь вокруг бронзовой головы.

— Скоро возьмут Берлин, — говорит она. — Мы не победим.

Блюдечко с медом — прочь. Четвертинка яблока — прочь.

— Нельзя так говорить, мама!

Она смеется.

— Когда они войдут в деревню, придется вывесить белый флаг из окна.

Мама передает Эриху вазу с мертвыми крокусами. Он выплескивает зеленую воду, и склизкие стебли падают ему на руки, оставляя на коже запах гниения.

Мама больше не верит в бронзовую голову и готова сдаться, хотя все же дает Эриху нож и учит его бить в сердце. Вот так! Вот так! Русские — варвары, они зарежут нас прямо в постелях. Мама вытряхивает пчел из бронзового улья, и те зависают гудящим облаком вокруг нее, будто решая, роиться или жалить. Мама открывает окно, и они улетают в сад, назад в деревянные головы. Соты мама не трогает, да от них уже и не избавиться, они накрепко вросли в череп, как опухоль, сожравшая все ее желания. Сколько их было? Уже и не вспомнить. Белые бумажные крылья намертво склеены воском. «Ты, ты, ты», — кричит горлица.

Мама отдает Эриху бронзовую голову, а сама собирает в большую коробку игрушечных солдатиков, бумажные флажки с парада, «Майн Кампф», папину фотографию в униформе, одеяло, которое она начала шить для фюрера, но так и не закончила, потому что не могла добиться совершенства, альбом с фотографиями фюрера, который был папиной гордостью.

— Что ты делаешь? — только и успевает спросить Эрих, когда мама сует в печку его флажки, те с треском вспыхивают, словно толпа, приветствующая вождя.

Папина фотография лежит сверху в коробке, и Эрих замечает, что лицо вырезано.

— Идем, — приказывает мама, обуваясь.

— Куда? И что с папиным лицом?

— Ты немецкий мальчик? Настоящий немецкий мальчик?

Эрих больше ей не доверяет, этой женщине, которая говорит, что она

его мать. Бронзовая голова оказалась легче, чем он думал, да к тому же еще и вся в щербинах, ставших заметными при ярком дневном свете. Эрих крепко прижимает ее к себе. Конечно, он настоящий немецкий мальчик и готов защищать Германию. Фюрер — это Германия, а Германия — это фюрер. Он хочет бороться, хочет бежать на фронт. В Лейпциг или в Дрезден. Но Лейпциг слишком близко от дома, а Дрездена больше нет, одни руины. Какое-то желание вылетает из бронзовой головы, Эрих читает: «Ребенок для Урсулы».

— Оставь, — говорит мама.

Мама останавливается на берегу озера и ставит коробку. Лед уже сошел. Я понимаю, что сейчас она выбросит все в воду. И Эрих понимает. И вы понимаете.

— Помоги мне, — просит мама, привязывая к одеялу камень.

Я хочу, чтобы Эрих отказался и остановил ее, но он молча берет солдатиков и бросает в воду одного за другим. Я чувствую, что тону, ведь несмотря ни на что я немецкий мальчик, настоящий немецкий мальчик. Папин альбом с фотографиями фюрера летит в воду следом. Он тонет не сразу, а какое-то время плавает на поверхности, пока страницы не намокают: Геббельс на открытии автобана, Гиммлер с фюрером на смотре личной охраны, Геринг в филармонии, фюрер на Рейне — все самозванные германские полубоги идут ко дну. Эрих плачет. Что чувствует мама? Не знаю, не могу понять, даже когда она бросает в воду папин портрет в рамке, пусть это лишь безликая униформа... Возможно там, на дне, фотография из альбома, принесенная скрытым течением, встанет на место утраченного лица.

Последней Эрих бросает голову. Его тело тянется вслед за ней, словно хочет тоже погрузиться в воду и уйти на дно, однако он лишь провожает глазами низвергнутого идола. Из шеи вылетает последняя пчела. Пробыл час, когда смертные оставляют своих богов.

Возвращаясь домой, они проходят мимо воронки, на дне которой скопилась вода. Эрих заглядывает вниз и видит свое отражение, своего двойника. Эрих поднимает руку, и мальчик в земле тоже. Качает головой, и тот тоже.

Больше здесь оставаться нельзя.

Эрих идет к себе в комнату и собирает вещи: стеклянные шарики, шелковую карту, старую банкноту, которая, возможно, еще пригодится, и подаренные папой наручные часы со странными зеркальными инициалами. Он не трус, не польская собака. Фюрер решил остаться в Берлине, чтобы до последнего защищать Германию. Фюрер — это Германия, а Германия —

это фюрер. Есть только один путь к спасению, и это отвага. Только так завоевываются слава и победа. Стереть кровавый пот и бесстрашно взглянуть врагу в глаза. Не слушать искусительные обещания. Наше спасение — в борьбе.

Если бы Эрих был в Берлине, а не здесь, в месте, которого нет на карте, то его призвали бы к оружию, не обращая внимания на возраст. И когда враг явится, он будет бороться, отбивая улицу за улицей, он будет в одиночку взрывать танки и сбивать самолеты, так что фюрер непременно наградит его и назовет своим Виннету, своим индейским воином, своим кровным братом.

Дождавшись, когда мама уйдет на рынок, Эрих кладет в мешок пару яблок, кусок колбасы и банку молока. Потом идет в конюшню и прощается с Роньей, а та в ответ прижимается мордой к его шее и тихо вздыхает. Эрих идет в спальню родителей и кладет на мамину подушку, которая все еще хранит ее запах, листок бумаги. Возможно, это письмо, но я не знаю, что в нем написано, я не знаю, что можно написать маме, навсегда ее покидая...

Апрель 1945. Берлин

Кто-то похожий на герра Метцгера зовет Зиглинду по имени, помогает встать и выводит из рухнувшего здания. Ты в порядке, повторяет он, ты в порядке, однако Зиглинда не знает, можно ли верить этому человеку, напоминающему ее соседа: он весь белый с головы до ног, даже волосы и губы. Потом она смотрит на себя, на свои руки и ноги — они тоже белые. На разбитом тротуаре лежит ряд белых тел. Уцелевшие разбирают завалы. Колют вилы, бьет метла: дитя убила — лопнет мать^[25]. Только не смотри, говорит герр Метцгер, только не смотри, но Зиглинда уже увидела их: маму, папу, Юргена и Курта. Они лежат неподвижно. Совершенно неподвижно. Герр Метцгер прижимает ее к своему черному, теперь побелевшему пальто и повторяет: «Только не смотри!», и Зиглинда не смотрит, потому что она послушная девочка.

— Посиди здесь, — говорит он, усаживая Зиглинду на бордюр. — Попробую найти одеяло. Все будет хорошо.

Зиглинда сидит, где сказали, спиной к руинам, и вдруг замечает раскрытую книгу. Мамин гросс-бух. Подбирает его и прячет под джемпер. Может, еще что-то уцелело? Вокруг валяются туфли без язычков, лампы без абажуров, часы без стрелок. Из разодранных диванов торчат пружины, разноцветные изразцы рассыпаны как смешавшиеся пазлы. Из-под завала виден край лисьей горжетки. Маминой? Шелковая подкладка оторвана, раскрытая пасть забита обломками кирпичей. Рядом чернеет сломанный народный радиоприемник. У всех есть такие, чтобы голос фюрера звучал в каждой семье. Только этот, похоже, навеки замолчал. Зиглинда чуть не плачет. Кто же теперь скажет им, как жить? Под завалами виднеются знакомые вещи из других квартир в их доме. Вернее, это совсем не вещи; пока на них не рухнула бомба, они были людьми, соседями. Зиглинда отворачивается, чтобы не смотреть, как велел ей герр Метцгер.

Дым разъедает глаза, горло саднит от кирпичной пыли. Горящая занавеска пролетает мимо, как птица. Оказывается, прямо под ногами — остатки коллекции осколков.

— Зиглинда! — кричит герр Метцгер. — Никуда не уходи! Сейчас найду одеяло и вернусь.

Внезапно Зиглинду охватывает непреодолимо желание уйти, убежать от сломанных вещей и от вещей, на которые нельзя, но приходится смотреть, от герра Метцгера с его одеялом. Она вытаскивает лису и

накручивает себе на шею. Потом отбирает лучшие осколки из своей коллекции: цветок, ствол дерева, снежинку, звезду — и, пока герр Метцгер не вернулся, пробирается к маме и кладет ей на лоб цветок, папе — дерево, Юргену — снег. Курту она оставляет звезду, свой любимый осколок, который висел у нее над кроватью. Закончив, она уходит туда, где дым, и он проникает в ее глаза, в ее горло, становится частью Зиглинды Хайлманн. Поднимается пепел, словно черные семена платана, словно черные перья, и окутывает ее.

«Прощайте, прощайте», — шепчет лиса.

Апрель 1945. Лейпциг

Фрау Миллер: Может, выйдем, разомнем ноги?

Фрау Мюллер: Давайте. Пройдемся, глотнем свежего воздуха. Сколько стоим?

Фрау Миллер: Семнадцать минут, сорок секунд.

Фрау Мюллер: Хорошо, только надо следить за временем. Головы должны крутиться во имя победы.

Фрау Миллер: Колеса, фрау Мюллер. Колеса должны крутиться.

Фрау Мюллер: А я что сказала? Вы поняли, о чем я.

Фрау Миллер: Да.

Фрау Мюллер: Дитер в детстве мечтал стать машинистом.

Фрау Миллер: И Ханс-Георг тоже. Все мальчишки так говорят.

Фрау Мюллер: Откуда нам знать, что говорят все мальчишки? Мы же не подслушивали каждого?

Фрау Миллер: Осторожней, фрау Мюллер.

Фрау Мюллер: Я всегда осторожна. Просто заметила, что невозможно узнать, о чем говорят все мальчишки. Разве не так?

Фрау Миллер: Я знаю только, что наши мальчишки уже никогда не станут машинистами.

Фрау Мюллер: Представляете, что бы они сказали, увидев нас тут? Сколько времени осталось?

Фрау Миллер: Шестнадцать минут, тридцать восемь секунд.

* * *

Состав стоит на станции, он такой длинный, что не видно конца. В толпе сестер милосердия, солдат и беженцев Эрих замечает двух женщин в униформе Имперской железной дороги.

— Скажите, еще есть места?

— Места! — восклицает одна. — Фрау Миллер, он спрашивает, есть ли еще места!

— Места! Это что, по-твоему, Восточный экспресс? — подхватывает другая, показывая в сторону длинной вереницы глухих товарных вагонов.

— Что желаете на ужин, сэр? Жареный гусь сегодня особенно хорош, — притворно интересуется первая.

— Разрешите проводить вас в спальный вагон, сэр. Вечером кондуктор разложит вам постель, — подхватывает вторая.

— И принесет чашечку горячего шоколада.

Обе трясутся от смеха. Вокзальные часы показывают шесть, но вряд ли им можно верить — стрелки не двигаются.

— Я хотел бы купить билет, — не сдается Эрих.

— Билет!

— Вот это новость, фрау Мюллер! Билет!

— Я могу и на полу посидеть, — бормочет Эрих. — В вагонах есть место?

— Места полно, — отвечает первая.

— Вагоны пустые, — подхватывает вторая.

— Но они в ужасном состоянии.

— Сам увидишь.

— Точно.

Первая показывает на запястье своей напарницы.

— Сколько осталось?

— Четыре минуты, семнадцать секунд.

— А еще поезда будут? — спрашивает Эрих.

— Вряд ли, — отвечает вторая. — Пассажирских не предвидится.

— Мне нужно попасть в Берлин, я хочу сражаться за фюрера.

— Сражаться... — повторяет первая.

— За фюрера... — подхватывает вторая.

— Тебе нужно в Берлин?

— Где следующий пункт загрузки, фрау Мюллер?

Первая заглядывает в график.

— Заксенхаузен. Так что мальчику по пути.

— Заксенхаузен? — переспрашивает вторая.

— Заксенхаузен, — подтверждает первая.

— Не может быть. Пришел приказ — поезд там больше не нужен. Мне казалось, я вас предупредила. Я хотела...

— Хотели, но не сказали, фрау Мюллер, — обвиняет первая.

— Я так устала. Просто вылетело из головы, — оправдывается вторая.

— Все устали, фрау Миллер. Я устала. Мальчик устал. Фюрер вообще, наверное, выжат как лимон. Что ни говорите, а следующим в графике у меня стоит Заксенхаузен. Видите?

— Вижу. Однако был приказ, я уверена.

— То есть вы хотите сказать, что нам придется отойти от графика?

— Да. Приказ отменяет график.

— И где же этот приказ? Он у вас?
— Да. Дайте пару минут, и я найду его.
— У нас нет двух минут.
— Это образное выражение.
— Все равно. График есть график. Согласно ему, следующая остановка в Заксенхаузене. Значит, поезд идет в Заксенхаузен.

Вторая молчит, смотрит на часы, потом — на Эриха.

— А мальчик?

Они переходят на шепот.

— Пусть едет с нами...

— Это запрещено. Вдруг он шпион.

— Он обычный немецкий мальчик. Как Ханс-Георг.

— И правда немного похож. Особенно рот.

— Думаете? А глаза, по-моему, как у Дитера.

Они разглядывают Эриха в течение шести секунд — до отправки остается пятьдесят шесть секунд — и решают взять его с собой при условии, что он не будет ничего трогать и ни с кем разговаривать.

— У тебя есть кто-нибудь в Берлине? — спрашивает вторая.

— Да, конечно, — отвечает Эрих, потому что любой берлинец покажет ему, где живет фюрер. При встрече он сразу спросит фюрера про любимую книгу, ведь фюрер любит читать, особенно истории Карла Мая, как и Эрих. «Душа обитает в крови», — скажет фюрер, надрежет запястье и выпустит несколько капель крови в чашу с водой. Эрих сделает то же. «Путь души двух воинов сольются в одну, — скажет фюрер. — Твои мысли станут моими, а мои — твоими! Пей!» Каждый осушит свою чашу, и они станут кровными братьями до скончания жизни, как Виннету и старина Шаттерхенд.

Женщины угощают Эриха бутербродами, предлагают одеяло — в вагоне холодно — и обещают высадить на станции Берлин-Восточный, если к тому времени, как они доберутся, та еще будет цела.

Апрель 1945. Берлин

Наслаждаюсь ли я грандиозным действием, разворачивающимся на моих глазах? Всполохами зенитных огней и светящимися облаками? Кипящим асфальтом и дождем из камней? Огненным шквалом, гнущим крепкие деревья, как стебли травы? Фосфорным огнем, который не боится воды и оставляет смертельные ожоги? Зажигалками, беспорядочно сыплющимися с неба в дымоходы и водостоки, словно жестокие звезды, глухие к людским желаниям? Вместо людей — кадавры, разодранные на части, и я могу слепить любого монстра. Герр Маммона устроил отличную иллюминацию. Все смешалось: мертвецы заполнили город, а живые ушли под землю. Мы спим на улицах, чтобы согреться; меняем бриллианты на хлеб и пишем мелом свои имена на развалинах домов, чтобы нас могли найти. Я не в силах повернуть время вспять. И бежать нам уже некуда: два с половиной миллиона варваров окружают город — загонят нас в угол, вырежут язык, вырвут сердце. Два с половиной миллиона диких тварей, облизываясь, ждут, когда можно будет растащить наши кости. Но они нас недооценивают. Они приближаются, и в наших домах сами собой облетают портреты, сами собой звонят телефоны. В концертных залах звучат «Сумерки богов». Мальчики раздают ампулы с ядом. Мы берем их и прячем в карманы, заворачиваем в носовые платки, зажимаем в кулаках, и мысль о них тянется в нашем сознании, как подспудная долгая стеклянная нота. Мы глотали их годами. Интересно, каковы эти на вкус. Наслаждайтесь войной — мир будет ужасен.

В день рождения фюрера тепло и солнечно. Женщины стоят в очередях за водой, легкий весенний ветерок качает тела висельников — изменников и самоубийц. Из-под земли доносится голос рейхминистра: «Фюрер, приказывай! Мы следуем». Он внутри нас и вокруг нас. Он не покинул нас. Смотрите, он восстает из земли, жмурится на солнце, тянется к детским личикам, чтобы почувствовать живую плоть. Но почему же его левая рука дрожит, когда он идет вдоль строя? Почему он прячет ее за спиной, будто готовя нам сюрприз? Хотя на улице тепло, его пальто застегнуто на все пуговицы, и воротник поднят. Неужели эта сутулая безвольная фигура и есть наш фюрер? Его лицо бледно, как у мертвеца, представшего перед судом строгих ангелов, и на шее у него висит табличка с главным грехом: «Я не верил в фюрера». Неужели этот выходец с того света и есть тот, чей портрет висел в каждой благоразумной германской

семье? Нет, наверное, произошла подмена, это двойник, а настоящий фюрер уже на полпути в Южную Америку, там он будет в безопасности и уж оттуда-то наконец применит свое секретное оружие, которое всех нас спасет. Но вот он подходит все ближе и ближе, и мы видим, что это Гитлер — и никто иной, мы чувствуем запах подземелья, из которого он выбрался. Серое шерстяное пальто пропахло прахом, прелыми листьями, темными погребенными телами. Когда жертва мертва, вампир тоже умирает. Вот же он, человек-тень, Нахцерер, восставший из могилы и поглотивший свой саван. Звонит в церковные колокола, принося смерть всем, кто их слышит. Пожирает собственную плоть. Муха садится ему на волосы, но он не замечает. Он останавливается перед самым младшим из мальчиков и протягивает ему свою вялую ладонь, одутловатое лицо перекашивает улыбка.

— Сколько тебе лет, мой мальчик?

— Двенадцать, мой фюрер.

— Было ли тебе страшно, когда ты помогал раненым солдатам?

— Нет, мой фюрер.

— Хочешь вернуться домой? Или поедешь на фронт?

— На фронт, мой фюрер.

Человек-тень треплет мальчика по розовой щеке отеческим жестом и рассеянно выслушивает поздравление с днем рождения — этот отрок его больше не интересует, он оглядывает следующего.

* * *

Наверное, они ошиблись, думает Эрих. Не туда повернули и завезли его в какую-то глушь. Поезд останавливается, женщины вручают ему рюкзак, подаренное одеяло и еще один бутерброд. И желают удачи.

— Куда мне идти? — спрашивает он, потому что карта упавшего летчика ему вряд ли поможет.

— Куда хочешь. Выбирай!

Я вижу, как Эрих пробирается через толпы людей, бегущих из разрушенной столицы в центральную, нетронутую, часть страны. Одни тащат уцелевшие пожитки на тачках, детских колясках и волокушах. Другие, более удачливые, едут на подводах, запряженных волами. Кастрюли, метлы, стулья, лестницы, кровати, ведра. Перевернутые столы. Дети, втиснутые между раздутыми чемоданами и пуховыми перинами. Все это увязано веревками, чтобы не потерять, потому что больше ничего не

осталось. Мы забили весь скот, подожгли дома, взорвали мосты. Обратной дороги нет. Наша страна сжимается с каждым днем. Может, перебросить войска с запада, чтобы остановить орды, напирающие с востока? Но как тогда защищать запад? Какие еще остались возможности? Мы опустошаем лагерь, заметаем следы, возвращаем в Германию изгнанных преступников: цыган, евреев, гомосексуалистов, маргиналов, пораженцев и дегенератов. Тысячи бронзовых голов закопаны в наших садах и погребены в озерах.

— Ты потерялся? Где твоя мама? — спрашивает Эриха какой-то мужчина.

— Нет, — отвечает Эрих, — не потерялся.

Хоть он и не знает, где он и куда идет. Кстати, сколько он уже идет? Два часа? Три?

— Я старше, чем кажется, — добавляет Эрих.

Это вполне возможно. Карточная система не прошла даром. Мы измельчали и все продолжаем сжиматься. На Эриха начинают поглядывать с подозрением, как на карманного вора.

— Куда ты идешь? — не успокаивается мужчина.

— Сражаться за фюрера!

— Тогда тебе лучше поторопиться...

* * *

И все же его завезли куда-то не туда. Неужели это Берлин? Разрушенные здания без стекол и крыш, с внутренностями, вывернутыми наружу. С выставленными на всеобщее обозрение комнатами, где на подмокших стенах висят чудом уцелевшие зеркала и часы. Улицы перегорожены перевернутыми вагонами эс-бана, завалены поломанными стульями, вспоротыми диванами, погнутыми батареями. А между обломков петляют мальчишки на велосипедах, к рулям которых прикручены панцерфаусты. С неба, как грязный снег или засохшие листья, падает пепел: путается в волосах, ложится на плечи. В руинах горят огни — это матери разводят костры из книг, чтобы приготовить еду детям. Мертвецов хоронят тут же, во дворах, и отмечают могилы крестами из ножек стульев. Деревья повалены и обуглены, фонарные столбы искорежены. И над всем этим — желтое марево, за которым не видно неба. Город смердит серой, газом и тысячами неупокоенных тел. Нет, здесь точно какая-то ошибка.

Внезапный вой оглушает Эриха, поглощает и пронзает его. Череп будто наполняется беспорядочно мечущимися стальными пчелами. Он

задыхается, не знает, куда бежать. Люди вокруг кричат, но не слышно ни звука. Эрих вспоминает, как фрау Ингвер читала им на уроке: «Паника хуже любой опасности. Когда она возникает? При большом скоплении людей в помещении или на улице. Как себя вести в случае паники? Сохранять спокойствие и присутствие духа. Быстро оценить сложившуюся ситуацию и сказать спокойным и твердым голосом: „Нет никакой опасности!“»

Вдруг его хватает за рукав и тащит за собой какая-то девочка. Он следует за ней и чуть не падает, запнувшись за покореженный указатель с надписью «Ноллендорфплац». Сложно одновременно смотреть под ноги, сохранять присутствие духа и оценивать сложившуюся ситуацию. Девочка бежит впереди, то появляясь, то пропадая в клубах дыма; рыжая лисья горжетка у нее на плечах служит Эриху маяком. Лапки лисы подпрыгивают, как у живой, маленькие черные глазки зорко следят за Эрихом. Девочка жестом показывает следовать за ней вниз по ступенькам. Дверь завалена обломками, но зачем она тому, кто может влезть в разбитое окно. Так они очутились внутри.

Сначала, пока глаза не привыкли к темноте, Эрих почти ничего не видит. Девочка берет его за руку и ведет через двустворчатую дверь, по покрытой ковром лестнице в комнату, расположенную еще глубже под землей. Под ногами хрустит разбитое стекло, и Эриху вспоминается, как однажды зимой он ходил по еще на вставшему льду вопреки запретам мамы.

— Жди здесь, — бросает девочка.

Эрих стоит один в темноте, прислушиваясь к рокоту, сотрясающему город. К глазам подступают слезы, он крепко сжимает их и сдавливая пальцами, чтобы не расплакаться, перед ним плывут черные пчелиные соты. Желудок сжимается от неизвестности и голода. Бутерброд, подаренный в поезде, давно кончился, как и колбаса, захваченная из дома. В рюкзаке осталось одно яблоко. Он слышит шаги: девочка подходит к какому-то выступу, прилаживает на него фонарь, запрыгивает и садится. Теперь при свете Эрих видит, что это не выступ, а сцена. Они в театре.

— Что ты делал там? Где твои родители? — спрашивает девочка.

— Я потерял их. Мама на ферме, папа где-то в России.

— На ферме? В Берлине?

— Нет, я приехал сюда, чтобы сражаться за фюрера.

— Ты из фольксштурма?

— Нет... Не думаю.

— Если бы ты был из них, у тебя бы была нашивка.

— У меня нет нашивки.

— Можно попробовать достать, если хочешь.

— Спасибо, не надо.

— Ты же хотел сражаться за фюрера.

Эрих отводит взгляд и мотает головой. Девочка кивает.

— Ладно. Скажешь, если передумаешь.

Приглядевшись, Эрих замечает слева от девочки на краю сцены приталось нечто огромное.

— Не паникуй, — шепчет он, — но, кажется, здесь волк.

Он показывает на зверя и начинает пятиться назад, в темноту. Но ведь волкам свет ни к чему, они чувствуют свою добычу.

Девочка смеется и тычет фонарем прямо зверю в морду: со сцены на ряды пустых кресел таращится позолоченный сфинкс, и с другой стороны еще один такой же. За ними возвышаются величественные колонны, украшенные египетскими иероглифами. На стенах нарисованы пески, пирамиды, верблюды, бедуины в белоснежных одеждах и оазис в окружении стройных пальм. Над сценой огромная половина солнца посылает лучи под потолок. Красный бархатный занавес дрожит и качается от ударов, сотрясающих город. Он напоминает Эриху сосновый лес, который начинался сразу у них за фермой. Девочка берет фонарь и бежит по проходу вдоль кресел, взбирается по устеленной ковром лестнице и всовывает швабру в ручки двери. Вернувшись обратно, она идет за кулисы, оттуда раздается скрип, и занавес медленно начинает раскрываться. В глубине сцены Эрих замечает самодельную кровать.

— Ты здесь живешь? — спрашивает Эрих.

— Пока да.

— Можно мне остаться?

— Если хочешь.

— Будешь яблоко?

— Да, спасибо.

— Как тебя зовут?

— Эрих.

— Я Зиглинда.

* * *

Она ведет его в комнату, увешанную зеркалами. Здесь не так темно, свет пробивается из-под потолка, сквозь ряд узких окон, выходящих прямо

на тротуар. Почти все стекла разбиты. В рамках мелькают солдатские сапоги, шагающие вразброд, и женские ноги в мужских ботинках. В одном углу свалены пюпитры, в другом стоит огромный распахнутый настежь гардероб, увешанный нарядами из парчи, блесок, перьев, словно там устроила гнездо неведомая сверкающая птица.

— У тебя еще есть еда? — спрашивает Зиглинда.

— Извини, — отвечает Эрих, — я не думал, что в Берлине так, так...

Он отводит глаза, а потом достает что-то из рюкзака.

— Вот, — выдыхает он, протягивая ей банку молока.

Второго приглашения не требуется, она тут же снимает крышку и начинает жадно глотать. Не отрываясь, она выпивает больше половины. Эрих еще никогда не видел таких голодных девочек.

— Доедай сам, — говорит она, но Эрих мотает головой.

Тогда Зиглинда отодвигает блестящие наряды и ставит банку в самый дальний угол гардероба, где Эрих успевает заметить ящик проросшей картошки, полкочана капусты, несколько банок с консервированными овощами и кусок хлеба. С улицы тянет дымом, сквозняк перебирает вешалки с костюмами и кипы старых программ. По стенам развешены плакаты: Рене Дюбуа, многоликая танцовщица, Марио Томбарелл, невероятный человек-обезьяна, Хелли, самый юный эквилибрист в мире.

— Что скажешь? — любопытствует Зиглинда, показывая покрывало, расшитое звенящими золотыми монетами. — Это не настоящие деньги.

Она обматывает его вокруг своей головы наподобие тюрбана и разглядывает тусклое отражение в зеркале.

— Где мы? — спрашивает Эрих.

— Мы пересекаем пустыню. Возвращаемся домой. Рабы уже готовят дворец к нашему прибытию: расстилают ковры, начищают колокола, наполняют фонтаны вином.

— Собирают финики, — подхватывает Эрих.

— Запекают жаворонков и павлинов.

— Сколько еще осталось?

— Сложно сказать, в пустыне расстояния обманчивы.

Зиглинда вручает ему плащ, украшенный вышивкой в виде глаз и птиц. Эрих накидывает его на плечи и превращается в фараона, в голубоглазого правителя, который будет жить вечно.

Вернувшись в зал, Зиглинда устраивает Эриху постель рядом со своей. Матрасом служат сваленные в кучу костюмы. Сверху он накидывает на них расшитый плащ и кладет рядом одеяло, подаренное в поезде. Зиглинда закрывает занавес и ставит фонарь у себя в голове, как ночник. Потом

достаёт из-под матраса огромную книгу в мраморной обложке и ложится, прижимая её к себе. Выстрелы и удары стихают, отгороженная ото всего мира сцена наполняется голосами детей, слова будто прилетают из темноты и кружат, высматривая место для ночлега. Под потолком висят десятки декораций, десятки разных возможностей: сияющие бальные залы, замки в заснеженных ущельях, экзотические базарные площади, заваленные изысканными пряностями и шелками, бело-голубое море, обозначающее туманную даль. Снизу в сцене скрыты потайные люки; проведя рукой по еле заметным щелям, можно почувствовать слабое дыхание подземелья, но бояться нечего, все надёжно заперто. Лежа на крепких досках, Эрих почему-то думает о пчелах, детях воздуха, которые спускаются на землю только за тем, чтобы набрать воды. Или чтобы умереть.

Зиглинда направляет луч фонаря на занавес и складывает из ладоней лису и медведя, однако зыбкие тени трепещут на складках ткани и расплываются.

— Надо экономить батарейки, — замечает Эрих.

— За кулисами есть ещё. Я спрятала их в мешок с чечевицей. Не люблю темноту, — откликается Зиглинда, но все же выключает фонарь.

Она долго крутится, старясь улечься поудобней, и вздыхает. Где-то вдалеке бьют часы. Эрих считает удары и понимает, что Зиглинда делает то же самое. Одиннадцать. До рассвета ещё целая вечность.

— У тебя есть братья или сестры? — спрашивает она.

— Нет. Мои родители не могут иметь детей.

— А как же ты?

— Меня усыновили из приюта в Вартеланде.

— Ты поляк? Скажи что-нибудь по-польски.

— Я немец.

— Что стало с твоими родителями?

— Я потерял их. Мама на ферме, папа где-то в России. Они исчезли.

— Нет, что стало с твоими настоящими родителями?

— Не знаю. Наверное, умерли.

— Ты знаешь, как их звали?

— Нет.

Голос Зиглинды становится дремотным.

— Ты знаешь свое имя?

— Естественно. Эрих Кренинг.

— Нет, настоящее имя, — говорит она сквозь зевоту. — То, которое дали при рождении.

— Не знаю. Я не знаю никаких других имен.

Эрих смотрит в темноту, туда, где висят невидимые декорации. Река, сугробы, комната в зеркале. Кто его зовет? И как? Да, у него было другое имя. Оно кружит над ним, задевая крыльями, но в руки не дается.

— У тебя большая семья? — меняет он тему.

Зиглинда отвечает не сразу.

— Я самая старшая. У меня два брата: Юргену десять, Курту пять. Юрген похож на меня, только у него кудрявые волосы, а Курт — вылитый папа, как говорит тетя Ханнелора.

— Они в эвакуации?

— Нет.

Зиглинда замолкает, Эрих не может понять, спит она или нет.

— Ты тоже потеряла семью? — шепчет он.

Вместо ответа она просит рассказать какую-нибудь историю.

Эрих закрывает глаза и вспоминает бабушку, ее мягкие колени, морщинистые руки, тихий голос.

— Давным-давно где-то в Саксонии стоял замок. Вернее, крепость. В ней была щель, чтобы лить на врагов кипящее масло, лестница с опасными ступенями и бойницы, чтобы отстреливаться. Однако секрет неприступности был скрыт в ее стенах.

— Секретный ход?

— Нет. Тогда люди верили, что надо замуровать в основании живого ребенка, чтобы навсегда защитить себя. Одна женщина согласилась продать сына. Когда начали возводить стены, было слышно, как он кричал: «Мама, я все равно тебя вижу».

— Все это слышали?

— Да. А когда стену закончили, слышали: «Я уже не вижу тебя, мама!» Женщина сошла с ума и бросилась со скалы, но, говорят, душа ее так и не успокоилась. Она превратилась в призрака и ищет своего сына.

— Не очень-то секретный секрет, — замечает Зиглиндида. — Крепость еще стоит?

— Вряд ли.

— Хм.

Посреди ночи они просыпаются от шума. Эрих не может понять, где он и что с ним. Темнота вокруг непроглядная. Шум приближается, как пчелиный рой. Эриху кажется, будто это Луиза зовет его деревянными губами по имени и манит с собой в лес, где растут дикие ягоды. На самом деле это не Луиза, не дедушкина первая любовь, это девочка из Берлина, которая спасла ему жизнь.

— Здесь не опасно? — спрашивает он.

— Как везде, — откликается она. — Я всегда вставляю в дверь швабру.

Эрих имел в виду другую опасность, но гула самолетов не слышно, как и разрывов бомб. Шум похож на перешептывание камешков на дне быстрой реки, на звон стеклянных шариков, на треск зернышек в детской погремушке, на жужжание пчел в ульях.

Когда Эрих просыпается снова, Зиглинда уже стелет постель.

— Сколько времени? — спрашивает он.

— Не знаю, наверное, рано. Стрельбы еще не слышно.

Зиглинда засовывает книгу под матрас и стаскивает с Эриха одеяло.

— Вставай! Будем завтракать, а потом я пойду искать туфли. Мои совсем износились.

В примерной она разламывает последний кусок хлеба пополам и сдабривает сверху квашеной капустой, вернее, соком, который от нее остался; так хотя бы сухари немного размокают и легче жуются. Дети допивают молоко и принимаются исследовать шкафы и полки, перебирают программки, парики, зонтики, ноты, баночки с гримом.

— Что скажешь? — спрашивает Эрих, показывая пару черных лаковых туфель на каблуке.

— Отлично! Совсем как у тети Ханнелоры. Подойдут на вырост.

Зиглинда находит ножницы, отрезает клочок от парика и засовывает в носки туфель, потом еще и еще, пока нога не перестает болтаться.

Эрих сидит за длинным столом перед рядом зеркал и вырезает из программки круг.

— Это что? — интересуется Зиглинда.

— Увидишь.

Он достает из кармана карандаш и рисует с одной стороны пару крыльев, а с другой — тело пчелы. Потом протыкает иглой два отверстия по краям, сквозь которые пропускает нитку.

— Смотри!

Он растягивает нить между большим и указательным пальцами и начинает то скручивать ее, то раскручивать. Картинка вращается, и получается целая пчела: крылья соединяются с телом.

— Чудо! — восклицает Зиглинда, хлопая в ладоши.

Эрих рисует другие картинки: лошадь без седока и всадник, зависший в воздухе, пустая клетка и птица, аквариум и рыба, жук и банка. За окнами начинается стрельба, но дети будто не слышат, увлеченные игрой. Вырезают и рисуют, забыв про голод и опасность.

— Стой! У меня идея! — вскрикивает Зиглинда.

Она вырезает кружок и с одной стороны пишет ЭР, а с другой — ИХ,

раскручивает, и два слога сливаются в одно. Эр и Их, он и я. Мы кружимся, кружимся и на мгновение соединяемся.

* * *

Через неделю или около того — не знаю точно — я поднимаюсь вслед за ними по лестнице, устланной ковром, к двустворчатой двери и дальше на улицу. Мы слышим стрельбу и разрывы снарядов всего в нескольких кварталах от нас. Крадемся вдоль стен, как тени, пока не доходим до длинной очереди, состоящей из одних женщин. Зиглинда говорит, что здесь можно достать еду. Мы встаем в конец очереди, начала которой не видно, и отводим глаза от баррикады, сложенной на углу из посиневших тел. Мы смотрим строго перед собой. На зубах скрипит песок, неба не видно.

— Он уплыл в Аргентину на подводной лодке, — говорит женщина, стоящая перед ними.

— Нет, он в Баварии, в альпийской крепости, — утверждает другая.

— А я слышала, что он на пути к Южному полюсу, — заявляет третья.

— А я слышала, что в Испании.

Когда очередь накрывает осколками, мы бежим в выгоревший трамвай. Пятеро или шестеро остаются лежать, может, семеро — мы не смотрим на них, а возвращаемся на свои места.

Подходят мальчики из гитлерюгенда и вручают листовки: «Берлинцы! Не сдавайтесь! Армия Венка уже выдвинулась к вам на помощь. Еще несколько дней, и Берлин будет освобожден». Но мы-то знаем, что никакой армии нет, как нет мяса, школьных уроков, воды, новостей, могущества, молока, дома, надежды, неба и солнца. Американцы не остановят русских и не придут к нам на помощь. Нет никакого секретного оружия. Армия призраков не спасет нас. Эти мальчики не спасут нас. Траншеи, баррикады, панцерфаусты — ничто уже нас не спасет.

— Нам, похоже, ничего не достанется, — сетует соседка по очереди, поглядывая на часы, потом оборачивается и осматривает Зиглинду с головы до ног. — Сколько тебе лет? — интересуется она.

— Двенадцать.

— Вымажись пеплом, повяжи платок, нарисуй язвы на теле, говори, что больна.

Когда подходит ее очередь, раздающий требует продуктовую карточку.

— Потерялась при обстреле, — пожимает плечами наша соседка.

— Без карточек не выдаем.

— Я все потеряла. У меня ничего не осталось.
— Ничем не могу помочь.
— Правильно! — кричат из конца очереди. — Надо держать карточку при себе.
— У меня нет карточки, — шепчет Эрих.
— И у меня, — отзывается Зиглинда.

* * *

Мы лежим на сцене в темном театре. День уже или еще ночь? Сколько мы спали? Сколько нам еще осталось? Слышите: танки разбивают наши шаткие баррикады, снаряды взрывают небо. Грандиозная вальпургиева ночь! Вот-вот мир развалится на части и погребет нас под обломками. Замки, ущелья, реки вдруг падут и смешаются: бальная зала окажется на базарной площади, снег — среди зеркал. Мы раздвигаем занавес и видим ряды кресел в полутьме. Выводите фокусника, силача, чародея! Выводите танцующего медведя!

Эрих светит фонарем на стену.
— Этой трещины раньше не было?
— Не знаю, может, и была, — откликается Зиглинда, запихивая книгу под матрас.
— Нет, не было.
— Театр крепкий, — успокаивает его Зиглинда, присаживаясь рядом на краешке сцены. — А ты знаешь, что если зажать яйцо с концов большим и указательным пальцами, то, как бы ни давил, скорлупа не треснет?
— Не может быть.
— И все же, — пожимает плечами Зиглинда. — Папа показывал мне, когда у нас еще водились яйца. Обычная физика.
— Что такое физика?
— Законы, по которым существует мир.
— Наши куры должны откладывать по шестьдесят пять яиц в год. Каждая. Это закон.
— А если меньше?
— Наверное, будут наказаны.
— Попадут в лагерь?
— Возможно.
— Здесь безопасно, — заявляет Зиглинда.
— Да, безопасно, — соглашается Эрих. — А ты когда-нибудь видела

его? Фюрера?

— Нет.

— Он однажды приезжал в Лейпциг на парад. Я видел, как он проезжал мимо в черном «Мерседесе». По-моему, совсем не похож на портрет на марках.

— Может, двойник?

— Двойник?

— Ну да. Как бы еще он всюду успевал?

Эрих поворачивается к Зиглинде, однако видит только ее смутное очертание рядом.

— Выходит, я видел не его?

— Не знаю. Может, и не его.

Свет, просачивающийся снаружи, выхватывает из темноты золотых сфинксов. Они наострили уши и прижали крылья к бокам, словно готовясь к полету.

— Сколько у фюрера двойников?

Снаружи раздается громкий взрыв — с потолка осыпается штукатурка, сцена ходит ходуном. Берегитесь! Еще взрыв — ближе. Зиглинда переводит дыхание.

— Говорят, он приглашает детей к себе в бункер, — нарушает молчание Эрих. — Кормит марципаном и витаминами. И взрывов там почти не слышно. Сидишь, как в пирамиде.

— Как он их выбирает? Тех, кого кормит марципаном?

— Не знаю. Наверное, надо быть хорошим и всегда слушаться родителей.

— А что с плохими?

— Их отправляют в лагеря. Там они должны осознать свои ошибки и пообещать исправиться.

— А если не пообещают? — настаивает Зиглинда.

— Тогда из них сделают клей.

— Точно, клей, — смеется Зиглинда.

— И потом ими приклеивают обои.

— Запечатывают конверты.

— Прилепляют марки к конвертам.

Грохот снаружи нарастает. Становится ближе. Внезапно срывается одна из декораций — ясная звездная ночь, залитая лунным светом — но не падает, а зависает над сценой.

— Он все уладит, — заявляет Зиглинда. — Все восстановит после войны. Посадит деревья в Тиргартене, вернет зверей в зоопарк. Починит

дома. Построит Триумфальную арку в десять раз выше парижской и зал Славы с искусственными облаками.

На мгновение перед моими глазами возникает новый чудесный город, где все по-прежнему: Рейхстаг не сожжен, церковь кайзера Вильгельма цела, озера в Груневальде соединены в тихий канал, несущий лодки мимо солнечных пляжей и вековых дубов.

Где-то поблизости обваливается стена.

— Когда они доберутся досюда? — вздрагивает Эрих.

— Скоро.

— Бункер фюрера далеко?

— В нескольких кварталах.

* * *

На улице столпотворение вокруг мертвой лошади. Самые расторопные срезают плоть с остова, а те, кому не посчастливилось, толкаются рядом, стараясь пробиться к телу. Толпа копошится и гудит, как пчелиный рой. Мутный глаз мертвого животного вперился в покореженный указатель «Бомбоубежище», ведущий в никуда. Мальчики и мужчины из фольксштурма роют траншею на дороге; они уже глубоко: видно только, как мелькают их головы и грязные лопаты. Мимо ковыляет женщина, толкающая перед собой в тачке мертвое тело.

— Здесь недалеко, — бормочет Зиглинда, оглядываясь по сторонам.

Они пробираются через груды побитых кирпичей и перевернутых автомобилей с разбитыми стеклами и неподвижными пассажирами. Некоторые руины еще дымятся. То и дело воздух сотрясается от грохота обваливающихся стен.

Им нужно на север, туда, где сквозь жирное море смутно виднеется колонна Победы. У Бранденбургских ворот Эрих показывает на какое-то непонятное нагромождение в одном или двух кварталах от них по Шарлоттенбургер-штрассе.

— Это оно?

— Не уверена, — отвечает Зиглинда, вглядываясь в том направлении сквозь пыль и дым.

Что там сереет невдалеке? Рейхсканцелярия? Воздух наполнен трупным смрадом. Каменные кони в колеснице богини победы покрыты трещинами, да и сама Виктория, коронующая руины лавровым венком, не более чем бесформенная масса. Вместо величественных лип — обугленные

пни.

Проезжающий мимо бронетранспортер притормаживает, из него высовывается солдат вермахта и кричит:

— Что вы тут делаете? Быстро домой! Здесь опасно!

Он грязный, небритый, и у него забинтована рука.

— Это Рейхсканцелярия? — спрашивает Зиглинда. — Мы хотим узнать, приглашает ли еще фюрер послушных детей к себе в бункер. Он угощает их там марципаном.

— Фюрер? — переспрашивает солдат. — Вы что, радио не слышали?

Да, мы не слышали новостей по радио. Почти никто не слышал. «Золото Рейна» Вагнера, седьмая симфония Брукнера — музыка мертвых. Наш фюрер пал, сражаясь до последнего вздоха за свой народ, за Германию. Он принял геройскую смерть. Я не могу оставить столицу Рейха. Вот он, мой оплот, верный от страха щит!^[26]

Взявшись за руки, мы возвращаемся в театр, пробираемся в свое убежище, вставляем швабру в ручки двери. Огромное нарисованное полусолнце поднимается над сценой. Или садится. Ночное небо свисает с потолка. Неужели правда? Неужели фюрер пал? Мы чувствуем, как колеблется воздух, как невидимые потоки приподнимают краешки одеял, ерошат нам волосы. Мы моргаем и трем глаза, но призраки не рассеиваются — черные луны, черные солнца. Что-то проносится над нашими постелями, темные крылья рассекают темноту, задевая нас.

— Зигги, — шепчем мы.

— Эрих, — шепчем мы.

Глаза привыкают к тьме, и мы понимаем, что это не крылья, а пальмовые ветви. Перед нами опускается на колени верблюд и склоняет шею, ожидая. Эрих треплет густую шерсть на загривке животного, такую же мягкую и теплую, как нагретое солнцем одеяло после безоблачного летнего дня, проведенного на пляже, а потом одним рывком вскакивает в седло, совсем как старина Шаттерхенд или Кара бен Немзи, и помогает взобраться Зиглинде. Справа и слева птицы-иероглифы отрываются от колонн и взмывают в воздух, а глаза-иероглифы моргают. Верблюд поднимается с колен, все выше и выше — кажется, еще чуть-чуть и достанешь до звезд, но тут он делает шаг, потом еще. Он плывет, покачиваясь, по мягкому песку, останавливается у финиковых пальм, чтобы Зиглинда могла набрать спелых плодов, и у прозрачного пруда, чтобы она выбрала цветок белого лотоса для своей прически. И снова мерное покачивание, словно в колыбели. Театр расстилается впереди, как бескрайняя пустыня. Рабы падают перед нами ниц, ожидая приказов.

Черные птицы растворяются в черном небе. Эрих забывает мать и отца, забывает свое неназванное имя. Остаются только звезды и луна, и Зиглинда у него за спиной, и мягкие дюны, баюкающие нас, словно сны.

* * *

Фрау Мюллер: Это правда?

Фрау Миллер: Неужели правда?

Фрау Мюллер: Говорят, он пошел в атаку и погиб, сражаясь с иванами.

Фрау Миллер: Говорят, он умер, положив руку на сердце.

Фрау Мюллер: Где он теперь?

Фрау Миллер: Куда дели тело?

Фрау Мюллер: Его кости собрали.

Фрау Миллер: Его челюсть положили в коро-бочку.

* * *

Что это возникает из дыма? Корова с тяжелым выменем, лошади, тянущие телеги с овсом и сеном, петух, кукарекающий на фоне пламенеющего неба, хотя солнце уже давно взошло. А следом идут они — русские солдаты с хмурыми лицами, в потертых телогрейках и дырявых сапогах, с винтовками наперевес, мужчины и женщины. Руки их увешаны часами, выставленными на московское и берлинское время, — по четыре, по шесть у каждого. Они раскладывают полевые кухни, выгружают снаряды для своих адских машин, которые называют ласковым девичьим именем «Катюша». Мы уступаем им дорогу за водой, позволяем устраивать отхожие места в наших домах, отдаем свои велосипеды, свои постели, и надеемся, что они не найдут наших дочек, спрятанных под горами тряпья, запертых в шкафах, замурованных в стенах. Ради кого нам теперь бороться? Никто не придет взамен. Мы разорвали фотографии сыновей и мужей в военной форме. Сняли значки и портреты, сожгли книги. И я об этом совсем не жалею.

* * *

— Папе понравилось бы, — вздыхает Зиглинда, раскручивая новый

бумажный диск: с одной стороны на нем нарисован голый ствол, с другой — ворох зеленых листьев.

— Он любит деревья?

— Он любит вырезать из бумаги.

— Людей?

— Дома.

— Где он?

— В Берлине. У него очень важная работа.

— Он здесь?

Зиглинда скручивает и раскручивает нитки: пышная крона, голый ствол. Снаружи с тонким, высоким визгом пролетают снаряды. Она открывает свою книгу и вытряхивает на колени ворох крошечных слов: «поражение», «свобода», «Мендельсон», «сдаться».

— Откуда они? — удивляется Эрих.

— Это папина работа.

— Почему они у тебя?

— Я присматриваю за ними, пока его нет.

— Так он не в Берлине?

— Ему пришлось отлучиться по работе. Скоро он вернется.

Эрих знает, что это ложь. Ее папа ушел и не вернется, точно так же, как его отец. И как дядя Герхард, и как дедушкин брат Густав, и как летчик на ячменном поле. Однако Эрих лишь молча слушает. Зиглинда сочиняет про отца, как все дети порой сочиняют про своих родителей, как мы сочиняем прошлое, населяя его призраками утраченных вещей. Пышная крона, голый ствол...

* * *

Когда мы стоим за водой, по очереди прокатывается слух, который заставляет всех, включая Эриха и Зиглинду, немедленно сорваться с места: неподалеку оставлен магазин. Толпа разматывает оставшиеся запасы: тушенку, рыбные консервы, концентрированное молоко, пакеты с рисом и ячменем, бульонные кубики, банки с джемом и маринадами. Две женщины тянут на себя пакет манки, пока тот не лопается, и все содержимое не рассыпается по полу. Эрих мнетя на пороге, а Зиглинда решительно проталкивает его в самую гущу, где они начинают хватать все подряд и распахивать по ведрам и своим вытянутым джемперам. Они готовы немедленно съесть свою добычу: усестя на первые попавшиеся

развалины и вывалить себе в рот без разбора горошек, квашеную капусту и джем, чтобы хоть немного ослабить тиски, сжимающие желудок. Можно даже не садиться, они готовы есть прямо на ходу — и наплевать, что это дурной тон. Они могут проглотить по полдюжины банок тушенки каждый, готовы жевать сухие овсяные хлопья, запивая их концентрированным молоком, — будет почти каша. Готовы макать кочерыжки в сахар и заглатывать их целиком, готовы хрустеть луком, как яблоками.

Так, за обсуждениями, что и как они могут съесть, Зиглинда с Эрихом добираются до театра и прячут добычу в гримерной.

— Может, надо было заплатить? — высказывает сомнение Эрих.

Зиглинда смеется.

— Ты видел продавца? Да и денег у нас нет.

— У меня есть десять тысяч марок, — заявляет Эрих и вынимает банкноту, подаренную отцом.

Он показывает Зиглинде мерзкую фигуру, вцепившуюся в горло крестьянина.

— Такие правда бывают? — вздрагивает она.

— Вряд ли, — успокаивает он. — Теперь точно нет.

Зиглинда придвигает два стула к длинному столу, идущему вдоль стены с зеркалами, и постилает вышитый плащ, будто это лучшая мамина дамастовая скатерть, будто у них обычный воскресный обед, к которому ждут тетю Ханнелору. Мама всегда доставала белый дамаст по таким случаям и маленькие зеленые кофейные чашечки с золотым ободком. Где это все теперь? Где белоснежная скатерть с белыми вышитыми хризантемами? Где обеденный стол, на который ее постилали? Где ковер, на котором стоял стол? Где паркет, на котором лежал ковер? Что стало со сломанными вещами? Погребены? Сожжены? Зиглинда вспоминает кофейные чашечки и место, которое было отведено им в буфете. Она представляет, как тянется, чтобы открыть верхнюю дверцу, и поворачивает с щелчком крошечный ключик. Отполированное вишневое дерево блестит и пахнет воском, изнутри оно чуть темнее, чем снаружи. Кофейные чашечки стоят на отведенной специально для них полке. Все ручки смотрят в одну сторону, все блюдца на месте. Сейчас она снимет их оттуда и расставит на белой дамастовой скатерти, тетя Ханнелора постучит в дверь и вручит маме коробку из кондитерской — белую коробку, перевязанную красной ленточкой, с самым вкусным на свете тортом, вкуснее даже, чем у мамы. Зиглинда должна аккуратно обращаться с чашками: они старинные и очень ценные, таких уже не купишь, они станут ее приданым. Каждую неделю мама пересчитывает их, отмечая в своем грессбухе. Теперь целыми

и невредимыми они остались только там, в этой огромной книге. Только там можно найти паркет, ковер, стол и дамастовую скатерть, записанные маминой рукой.

— Держи. — Эрих протягивает ей открытую банку с концентрированным молоком.

Они пьют по очереди — длинными глотками с наслаждением. Эрих улыбается, глядя на Зиглинду в зеркало, и она чувствует, что любит его, любит этого мальчика, пришедшего из ниоткуда, любит его соломенные волосы, слегка торчащий клык и родинку на виске, похожую на запятую. Они не видят меня, но я тоже здесь — скольжу меж ними, ожидая своей очереди.

Они крепко спят той ночью, и утром, когда Эрих идет за водой, улицы непривычно тихи. Во дворе жилого дома мужчина копает могилу, рядом с ним в тачке — застывшее, посиневшее тело женщины. В воздухе чувствуется аромат сирени, доносятся птичьи голоса. Не слышно ни взрывов, ни выстрелов, ни громохота танков.

— Все кончено, — говорит женщина в очереди. — Мы капитулировали.

Она слышала новость от соседа, которому сказала сестра, у которой живет квартирант с детекторным приемником. Неужели это правда? Неужели конец? Все задают друг другу этот вопрос: женщины в очередях, спрятанные дочери и мальчики в шлемах, надвинутых на глаза. «Тсс», — говорит человек-тень с разрушенных стен, но кому теперь нужны эти секреты. Из всех окон, за которыми еще теплится жизнь, свисают белые простыни.

* * *

Вернувшись в театр, Эрих зовет Зиглинду — никто не отвечает. Когда он уходил, тоже было тихо, но теперь что-то изменилось. Спускаясь по лестнице, он замечает сломанную швабру и распахнутые двери, сквозь которые виднеются золотые сфинксы и белые колонны с нарисованными на них птицами, глазами и шакалами.

— Зиглинда? Зиглинда! — кричит он снова, однако что-то заставляет его понизить голос, и вот он уже не зовет, а будто говорит сам с собой: — Зигги?

Сфинксы смотрят на него, солнце тянет к нему свои нарисованные лучи. Почему открыта дверь? И вдруг он слышит... Слышит стон, будто

скулит собака. Он замечает что-то на сцене — и сердце его замирает. А в театре тихо. Он забирается на сцену, за спиной у него распахнутые двери, в ушах — стон. Не надо ночи в тебе таиться...^[27]

Он находит ее в складках занавеса, наполовину оборванного, смятого. Он находит ее на красном бархате, истерзанную, в кровавых подтеках. Лица не видно за слипшимися волосами. Ее постель растоптана, ее одежда разорвана и смята. Не надо ночи в тебе таиться... Она держит на коленях черные лаковые туфли — те слишком велики для нее, но, конечно, скоро будут впору. Эрих приподнимает занавес и видит кровь... Кровь у нее на бедрах и на коленях, где лежат туфли. Кровь и стекло. Ее постель растерзана, и между ног у нее торчат осколки бутылки, прямо под туфлями, лежащими на коленях. Кровь и стекло, края бутылки, острые и зазубренные, торчат наружу, как клыки зверя. Не надо ночи в тебе таиться...

Она вздрагивает в ужасе от его прикосновения. Слезы катятся с уголков ее глаз и бегут по вискам, смешиваясь с кровью. Слова ускользают от Эриха, он хочет позвать ее по имени, однако с губ срываются звуки незнакомые или забытые: «Teraz jesteś bezpieczna, jestem tutaj»^[28]. В непонятных словах звучит успокоение, и она прекращает плакать.

— Зигги, — говорит он. — Это Эрих. Твой Эрих. Я вернулся.

Она отвечает что-то, но он не понимает. Смысл ускользает. Смысл немецких слов ускользает. «Jestem tutaj, jestem tutaj». Он прикладывает ухо к ее разбитым губам.

— Вынь. Вынь... — повторяет она.

Ощеренные клыки стеклянного зверя.

* * *

Видел ли я, что произошло с его Зиглиндой — с нашей Зиглиндой? Знаю ли я, кто тут был? Да. Я наблюдал из-за кулис. Вздрагивал вместе с ней, когда они ломались в закрытую дверь. Слышал топот сапог по лестнице. Сколько их было? Десять? Или больше? Слышал их заплетающиеся голоса, видел бутылку, сверкнувшую в сумерках, еще полную, когда они ворвались, и ходившую по кругу. Видел их руки, увешанные часами, ни одни из которых не показывали верного времени. Я чувствовал их удары, когда они брали ее силой. Один за другим. Все по очереди. И тогда я хотел, чтобы Эрих никогда больше сюда не вернулся.

Просто уехал бы домой к своей матери и не видел всего этого. Но звук бьющегося стекла вернул меня к реальности. Зиглинда лежала на сцене истерзанная — как утопленница, вынутая из воды в последнем акте, в исполнении Кристины Зедербаум — только в этот раз слишком убедительная для театра.

Обернув руки кромкой занавеса, Эрих начинает аккуратно тянуть стекло из бедер Зиглинды на себя. На ферме он не раз наблюдал за родами скота, правда, некоторым уродцам было бы лучше и вовсе не появляться на свет, например двухголовому теленку или козленку с сердцем наружу. Эрих видел, как отец вытаскивал из обессиленной коровы теленка, шедшего не головой, а ногами вперед. Так что, да — Эрих может все исправить. Он встряхивает головой, чтобы отогнать ненужные мысли. Зиглинда затихла и застыла. Сколько это еще продлится? Ни один ребенок не знает. Время теперь — не более, чем трофеей победителей. Эрих смотрит на осколки, остывающие в его руках, и рывком отшвыривает их как можно дальше: раздается звон разбитого стекла, осколки уходят в песок. Он помогает Зиглинде сесть. Костюмы, которые раньше были ее постелью, покрыты кровью, чернеющей в сумраке. Он отрывает кусок занавеса и закутывает в него Зиглинду, отыскивает лисью горжетку и накидывает ей на плечи. Девочку начинает бить дрожь и больше не отпускает. Лисьи лапки дергаются в воздухе.

— Ты знаешь, как попасть к дому тети? — спрашивает Эрих.

Зиглинда кивает, еле сдерживая дрожь.

— Он в Далеме. Но туда не пройти. Я пробовала, когда мой дом... когда я...

— Сейчас все изменилось, — замечает Эрих. — Ты можешь идти?

— Я... Я...

— Ничего, — успокаивает он. — Я что-нибудь придумаю. Подожди — я мигом.

— Нет! — вскрикивает она, хватая его за руку.

— Нам надо попасть к твоей тете. Прости. Я быстро.

Эрих достает из тайника в гримерной три банки консервированных овощей, пакет с бульонными кубиками и мешочек с чечевицей. Они с Зиглиндой как-то пробовали есть ее сухой, когда ничего другого не осталось, но это было все равно что жевать камни. Он вынул из мешочка три запасных батарейки для фонарика и побежал к дому, где видел мужчину, копающего могилу. Тот все еще был на месте: закидывал яму землей. Тачка стояла пустой, если не считать грязного платка на дне.

— Извините, — обратился Эрих, но мужчина продолжал кидать землю, не поднимая головы. — Извините, — повторил Эрих громче. — Это ваша тачка? Продайте мне ее!

Он вытащил из рюкзака банку овощей, бульонные кубики и чечевицу.

— Одна банка? — возмутился мужчина. — Ты спятил?

— Тут еще чечевица и бульонные кубики.

Мужчина зыркнул на рюкзак и бросил:

— Что еще есть?

Прежде чем Эрих успел ответить, тот залез к нему в рюкзак и вытащил две оставшиеся банки.

— Вот, другое дело, — пробормотал он, откручивая крышку и вылавливая морковь.

Эрих стаскивает тачку вниз по первой лестнице — оставлять ее на улице слишком рискованно. Влезает в окно, открывает двери, чтобы впустить свет, и спешит вниз, но, еще не дойдя до сцены, вдруг понимает, что Зиглинды там нет. И за сценой, рядом с раскиданной постелью — нет, как нет и ее книги. Он обыскивает кулисы и гримерную. Заглядывает в шкаф, ищет между вешалками, зовет по имени. Возвращается в зал, смотрит за колоннами, покрытыми иероглифами, и за золотыми сфинксами. Один из них сдвинут с пьедестала, и видно, что внутри он пустой. Эрих спускается по центральному проходу и проверяет каждый ряд кресел, светя фонарем, — и там, наконец, находит ее, скорчившуюся на полу под куском занавеса. Она больше не дрожит. Она вообще не двигается. К груди прижата книга. Эрих закидывает ее руку себе на плечо и полунесет, полутащит вверх по лестнице, потом с трудом переваливает через разбитое окно. Зиглинда изредка приоткрывает глаза, щеки ее холодны и бледны, как брюхо у той рыбы, которая когда-то жила у Эриха в ванной. Он прислоняет ее к стене, а сам вытаскивает тележку на улицу и постилает на дно свое пальто. На секунду ему кажется, что он чувствует вкус карпа во рту и запах восковых свечей, горящих на ветвях рождественского дерева, видит маму с косами, короной подколотыми вверх. Он смотрит на руины: распространившаяся новость о капитуляции, как волшебная флейта, заставляет людей покидать убежища, вылезать из туннелей и дыр, выбираться на поверхность, чтобы посмотреть, что осталось. Пыль и дым, застилающие город, милосердно скрывают правду. Вдруг на улице он замечает женщину, похожую на маму, и понимает, что ему придется

подойти: один он не справится. Ему не поднять Зиглиндю, его Зигги, такую бледную и неподвижную. Женщина оборачивается, и Эрих машет ей рукой. Она подходит, но нет... Теперь Эрих видит, что это не мама, хотя у нее такое же платье, и туфли, и платок. Он и сам не понимает, почему в первый момент ему так захотелось подбежать и обнять ее.

Вместе они поднимают Зиглиндю по ступенькам и укладывают на тачку. Эрих укрывает ее обрывком занавеса и кладет рядом лису.

— В какой стороне Далем?

Женщина машет туда, где был разграбленный магазин.

— Я и не представляла, насколько здесь плохо, — бормочет женщина, склоняясь над Зиглиндой, и цокает языком. — Это бесчестно, то, что он сотворил с нами. Просто бесчестно.

Эрих бегом возвращается в гримерную и запихивает в рюкзак оставшиеся запасы. Потом они выдвигаются. Он везет тачку очень аккуратно и постоянно спрашивает:

— Все правильно? Сюда?

Зиглинда что-то бормочет и еле заметно кивает.

* * *

Временами еще слышно отдаленную пальбу, но повсюду уже снуют женщины, пытаясь вернуть в мир хоть какой-то порядок: вытряхивают пыль из одеял и ковров, подметают подъезды, расчищают проходы. Чем же еще им заниматься? А вот мужчины без войны, кажется, остались без дела. Они прячутся в тень и ожидают инструкций, не зная, куда себя деть. В их волосах — серебро, в устах — золото, в костях — свинец^[29]. Кто теперь поведет их за собой? На углу улицы русские разбивают походную кухню, чтобы раздавать уцелевшим похлебку в жестяных кружках.

Зиглинда поворачивается на бок и всматривается в выпотрошенные здания и горы обломков. Мимо громяхают солдаты, грязные и небритые. Что стало с улицами? И кто там впереди в дыму? Не мама ли это с папой и мальчиками спешит по Кантштрассе на поезд до Ванзее? Освежающая прохлада в жаркий полдень — что может быть лучше! Мама наверняка взяла с собой термос с кофе, бутылку молока, спелые груши, булочки с маслом, кусок яблочного пирога и вареные яйца. (Зиглинда с Юргеном будут разбивать их друг другу об лоб, когда папа не видит.) Что еще? Красное ведерко с лопатой для Курта, коврик для пикника, купальные костюмы, расческу, чтобы привести всех в порядок перед возвращением.

Для себя мама берет последний номер «Фильмвельта», масло от загара и широкополую соломенную шляпу. Папа напомним всем, что в общественных местах, таких как пляж, надо держать язык за зубами, ведь слухи распространяются мгновенно, как круги по воде. Переодевшись в купальный костюм, папа на мгновение замрет на берегу, уперев руки в бока, затем решительно войдет в воду и нырнет — так глубоко, что совсем пропадет из виду, на поверхности не будет ни ряби, ни всплесков, ни пузырьков. Через несколько секунд он появится совсем в другом месте с волосами, потемневшими от воды, — совсем другой папа. Непривычно видеть его в таком виде: с голыми руками и ногами, слишком тонкими, чем кажутся в одежде. А на песке будут тикать его часы, ослепительно сияя на солнце. Юрген будет искать камешки и пускать их по воде. Куда они долетят? Кто знает?.. Потом он попросит Зиглинду закопать его в песок по шейку, но обязательно расплатится, как только почувствует наваливающуюся сверху тяжесть, и ей придется быстро его откапывать.

Мама в морской юбке будет сидеть в плетеном шезлонге и листать «Фильмвельт», разглядывая фотографии Цары Леандер и Марики Рекк. Если в журнал залетит песок, она нахмурится и вытряхнет его.

А как бодрит прохладная вода! В ней забываются жара, пыльные улицы, город, застрявший в горле. Разбитое стекло. Что случилось? Папа с Юргеном в шутку утащили ее под воду и не отпускают слишком долго? Дразнят и обзывают ее? Завернули в полотенце и оставили, связанную и сырую? Или это солнце обожгло ее так, что ноет все тело?

Нет. Нет. Она сидит в плетеном шезлонге, Курт закапывает ее ноги в теплый песок. Она наклоняется и набирает полную горсть, ощущая, как разогретый песок принимает форму ее ладони и сочится сквозь пальцы. А когда-то ты был камнем. Волосы высыхают на солнце, и, когда вечером она расплетет косы, по ее спине струятся завитки и волны — столь же чудесные, сколь и недолговечные, к утру они разглаживаются, и Зигги вновь становится собой.

— Прости, — повторяет Эрих всякий раз, когда тачку встряхивает на неровной дороге.

Нет, они не на Кантштрассе. Дымные фигуры впереди темнеют и вырастают, но стоит к ним приблизиться, как они рассыпаются в пыль. Призраки из пепла. Песок, убегающий сквозь пальцы.

— Где мы? — осматривается Эрих.

Похоже на Винтерфельдт-платц, хотя все изменилось до неузнаваемости. Однажды утром Зиглинде с мамой и тетей Ханнелорой пришлось простоять там, ожидая, когда воров и убийц погрузят в машины.

Шел снег, было начало зимы, и снежинки блестели на мостовой, как сахарная пудра, укутывали корни уснувших деревьев, заметали верхушки елей, растущих у главных ворот. Теперь земля покрыта белым пеплом, словно посреди весны вернулась зима. Дымящиеся руины наполняют воздух своим удушливым дыханием. Вместо деревьев торчат обрубки. И если я захлопну сердце и уста, взывающие к звездам без ответа, в душе моей останется волна, качающая нежно, словно Лета.

— Здесь как на луне, — говорит какая-то женщина рядом с ними. Сколько ей лет? Не понять: на голове у нее грязный платок, лицо испачкано пеплом. Невдалеке еще одна женщина мажет пеплом лицо: брови, виски, нос, щеки, даже веки.

Нет, думает Зиглинда, это совсем не похоже на луну. Там чисто, тихо и пустынно. Безлюдное место. Новый мир. Она поплывет в прохладном лунном свете, чистом, тихом и пустом. Она сама будет светом, невесомым, как пустота. Она обратится в ничто. Но небо закрывает дым. Вдруг над Берлином уже нет никакой луны, вдруг она укатилась, как брошенная монета, и когда марево рассеется, люди будут в тоске смотреть вверх и гадать, за что они заслужили непроглядную темноту и как им вернуть потерю.

— Правильно? — спрашивает Эрих. — Сюда?

Зиглинда кивает, они проходят мимо таблички, на которой, возможно, когда-то было выбито «Барбарросса-платц», и мимо другой с нечитаемой надписью, которая, наверное, когда-то обозначала «Кайзер-платц». Зиглинда трет щекой о мордочку лисы, и ей кажется, будто та шепчет на ухо: «Давным-давно я тоже была живой: ступая по вечерней росе, я чувствовала ее прохладу на подушечках лап и на нежном мехе. Ночью луна заливала лес серебром: на земле мерцали серебряные тени деревьев, в небе звенели серебряные голоса ночных птиц. Куры в страхе затихали, когда моя тень падала на их ненадежное укрытие. Моя шерсть лоснилась от их крови. Теперь мои глаза ничего не видят, мое брюхо вспорото, мое сердце исторгнуто».

Все верно, говорит Зиглинда, мы на месте. Вот дом тети Ханнелоры. Вот дети, подпирающие небо.

* * *

Стучать не пришлось: парадная дверь широко открыта. В подъезде пахнет испражнениями. Какая-то женщина оттирает кафельный пол сырой

тряпкой. Она вздрагивает, когда Эрих обращается к ней.

— Фрау Ширмер? — спрашивает он. — Вы тетя Зиглинды?

— Кто вы?

— Я Эрих Кренинг. Я привез Зиглинду. Она ранена.

Женщина выглядывает на улицу, где Эрих оставил тачку.

— Вам лучше войти, — поспешно говорит она. — Я фрау Хуммель.

Но где же тетя Ханнелора? Кто эта женщина? Почему она запросто входит в тетину квартиру и ведет Эриха сквозь череду пустых комнат в кухню, где в раковине приготовлен пучок крапивы? Почему она наклоняется и шепчет Эриху в самое ухо?

— Фрау Ширмер приняла цианид.

— Что вы имеете в виду? — удивляется Эрих. — С ней все в порядке?

Фрау Хуммель выпрямляется и внимательно смотрит на Эриха.

— Ты знал ее?

— Нет.

— Что ж... Она отравилась. Как многие нынче. Мы похоронили ее во дворе неделю назад.

Зиглинда лишь кивает и бормочет:

— Я потеряла ее украшения. Как я ей об этом скажу...

Фрау Хуммель осторожно снимает с девочки бархат и мех, осматривает раны, протирает влажным платком, вычесывает из волос засохшую кровь.

— Сколько их было? — спрашивает она Эриха. Тот смотрит на нее непонимающими глазами. — Сколько мужчин?

— Не знаю, — бормочет он, уставясь в пол. — Я уходил.

В квартире почти нет мебели: рядом с печкой лежит разломанный стул. Кровати остались только в двух спальнях, на одну из них, которую занял герр Фромм, и перенесли Зиглинду.

— А где же теперь мне спать? — возмущается он. — У меня больное плечо.

— Вы со своим плечом поспите на полу. Девочке нужнее, — отрезает фрау Хуммель и оборачивается к Эриху. — Ты далеко живешь?

— Под Лейпцигом.

— Под Лейпцигом... А сюда-то ты как попал?

— Я приехал, чтобы сражаться за фюрера.

— Мама разрешила?

— Я ее потерял.

Фрау Хуммель кивает.

— Можешь спать в соседней комнате.

Она расстилает ему матрас. В воздух с пола поднимаются клубы пыли и копти. Эрих смотрит через разбитое окно во двор, заваленный обломками.

— Там моя квартира, — говорит фрау Хуммель, показывая на грудку кирпичей с ванной наверху. — И я, и герр Фромм жили на втором этаже... Теперь ни у кого ничего нет. И у всех есть все. Не этого ли они хотели?

* * *

На третью ночь у Зиглинды начинается воспаление: зараза вместе с кровью разносится по всему телу и возвращается обратно к сердцу. Начинается жар. Девочка зовет родителей.

— Мы здесь, здесь, — успокаивают ее фрау Хуммель и герр Фромм.

Я сижу рядом и вижу блеск стекла, сжигающий ее сны, вижу вазу в форме руки, торчащую из-под завалов. Мы выкапываем ее, отмываем и возвращаем на мамин туалетный столик, на белую шелковую салфетку, связанную мамой еще до замужества. Я сжимаю своей рукой окостеневшие пальцы, словно представляясь при встрече — но мы уже знакомы. Фарфоровая рука тянет меня к себе, обдает холодом: я чувствую, как озноб поднимается от пальцев к запястью и дальше к плечу. Так яд от укуса змеи или пчелиного жала распространяется по телу вместе с током крови. Рука крепко сжимает мою ладонь, почти как мама держала Зигги, когда они переходили трамвайные пути или выбирались из переполненного вагона. Иногда, если мама шла слишком быстро, Зиглинде казалось, что еще чуть-чуть, и ноги оторвутся от земли, и она потеряет всякую ориентацию. Именно так она чувствует себя сейчас. Я ощущаю настойчивую тягу: нам надо куда-то идти, мы проваливаемся в ажурное переплетение шелковых нитей, и белые петли смыкаются над нами, словно пенные морские волны. Наверное, именно так впервые затягивает любовь?

* * *

На утро вся постель мокрая. Зиглинда, липкая от пота, но все еще горячая, не реагирует, когда фрау Хуммель гладит ее по щеке и берет за руку.

— Постучи в соседнюю дверь и спроси фрау Бляшке, — наказывает она Эриху. — Попроси зайти немедленно.

— Она врач?

— Ее муж был врачом.

Еще одна подмена. Еще одна тень.

Осмотрев Зиглинду, фрау Бляшке заявляет, что поможет только пенициллин. Она приносит две последние ампулы; больше нет и взять нигде. Остается лишь согреть девочку, когда ее знобит, и охлаждать, когда у нее жар, — и надеяться, что яд выйдет сам.

— У нее уже есть кровотечения? — спрашивает она.

— И правда, — подхватывает фрау Хуммель. — У нее уже есть кровотечения?

Обе женщины смотрят на Эриха.

— Я... Да, у нее было кровотечение, но теперь прекратилось, — бормочет он.

— Нет, я имею в виду месячные, — уточняет фрау Бляшке.

— Месячные? — растерянно переспрашивает Эрих.

— Ясно. Не бери в голову, — говорит вдова доктора и обращается к фрау Хуммель: — Ее надо проверить через пару недель. У меня есть одна знакомая в Штеглице.

* * *

Мы дежури́м возле ее постели днями и ночами — все по очереди, даже герр Фромм. Промокаем ей лицо губкой, расчесываем волосы, повторяем снова и снова, чтобы она не оставляла нас. Сколько уже ушло безвозвратно — мы не вынесем еще одной потери.

Когда в квартиру вваливаются русские солдаты и находят ее, мы говорим «тиф», «дифтерия» — слова, понятные даже им, — и проводим ладонью поперек горла. И они уходят.

Первое, о чем спрашивает Зиглинда, придя в себя, — мамин грессбук. Она открывает его с самого начала и проводит пальцем по аккуратным столбцам, воскрешая в памяти потерянный дом, наполняя пустую тетину спальню призраками ваз, часов, ножниц и туфель. Записи обрываются, и начинаются пустые страницы, но Зиглинда продолжает листать, пока не находит то, что ищет, — папины вырезанные слова. Она передвигает крошечные бумажки, пытаясь упорядочить их, найти смысл. Что папа сказал тогда, в последний вечер, перед тем, как завывала сирена? «Мы сожжем их». Но Зиглинда сунула слова в карман и вспомнила про них только в театре, когда, грея руки, случайно нащупала их на самом дне.

«Любовь», «скорбь», «сдаться», «обещать». Ей следовало избавиться от слов, сжечь, как велел папа, — у нее было столько возможностей, столько пожаров. И все же слова, целые и невредимые, лежат у нее на коленях, словно крохотные кирпичики. Стоит Зиглинде вспомнить о жестяной коробке с Фридрихом Великим, как в ушах начинает гудеть сирена, перед глазами встает папино испуганное лицо, и сердце сжимается от грохота обваливающегося здания, словно вместе со словами она запихнула в карман свои воспоминания. Не нужно было вообще собирать эти бумажки! Если бы она сразу сказала папе, он бы все уладил. И все сложилось бы иначе. Зиглинда помнит его слова: «Я изымаю опасные вещи, чтобы они не могли никому навредить». Почему она сбежала с руин дома? Почему не дождалась герра Метцгера? Курт так смешно дергал ее за подол, когда хотел поиграть. Она закрывает глаза и оказывается в театре, на сцене. Они тянут к ней свои лапы, увешанные прирученным временем, открывают бутылку и пьют из нее, заставляют и ее пить тоже — горло обжигает огнем. Она засыпает, и ей снятся стеклянные сны, которые разлетаются на острые осколки и переполняют ее.

— Надо забыть все это. Оставить в прошлом, — говорит фрау Хуммель, сидя на краю кровати.

Она достает банку селедки, припасенную на черный день, разминает рыбу вилкой и терпеливо кормит Зиглинду маленькими кусочками. Сядь, вытри слезы. За кулисами никого нет. Театр пуст.

* * *

Если бы Эрих знал, как выглядели те подонки, он обязательно разыскал бы их, выследил бы, как Виннету, заманил в ловушку и призвал к ответу, но Зиглинда сказала, что не помнит их лиц, не помнит ничего. У Эриха хватило ума не настаивать. Сколько бы он ни пытался представить, что произошло тогда в театре, получалась лишь изрезанная цензором страница, лишь остов канувшей в прошлое истории.

Персилшайн[\[30\]](#)

Май 1945. Берлин

Теперь мы переводим стрелки на ноль. Бои прекратились, но пожарища еще тлеют, засыпая город пеплом. В каждом саду — могилы. В каждом доме — крысы. Мы нигде. Мы ничто. Мы спарываем с одежды орлов и свастики, плетем обувь из соломы, рубашки шьем из крапивы, перелицовываем обрывки своих флагов в знамена победителей. Когда в домах вновь появляется вода, солдаты с востока моются в наших унитазах. Наша кожа покрыта пылью, которую невозможно смыть. Мы сдали свои радиоприемники, сложили оружие, соблюдаем комендантский час. Мы дышим запахом разрухи, запахом отсыревших кирпичей, ржавчины, размокшей штукатурки, обугленного дерева. Звуки выстрелов вгоняют нас в дрожь, но это просто победители репетируют парад. Нас вызывают на работу по спискам. Мы разбираем чудесные умные машины на заводах и грузим их, вплоть до последнего винтика, в вагоны, идущие на восток. В каждом саду — могилы, и все они неглубоки.

Наши дочери выходят из укрытий, цветут розы и жасмин, ящерицы греются на солнышке среди обломков, воздух наполняется трелями птиц. Уцелевшие колокола звонят — но не по нам. Я не голосовал тогда за него, и они не голосовали, и вы. Никто больше не произносит его имя. Он паршивая овца, позор рода, однако нам его не хватает. Нам так его не хватает! Но сказать об этом мы не можем, и мы молчим. У всех обнаруживаются родственники, о которых раньше никто не слышал: троюродная сестра Рахиль, внучатый племянник Хаим. Славные ненаписанные страницы нашей истории — страницы, которые никогда не будут написаны. Храмы оказались обманом зрения. Мало кому удастся сохранять чистоту в теперешних условиях, но мы выходим на улицы и начинаем наводить порядок. Встаем в шеренги и передаем из рук в руки обломки домов. И не жалуемся на судьбу. Уехать все равно нельзя: поезда не ходят, топлива не купить. Зато теперь даже из домов на второй-третьей линии открывается отличный вид на Кудамм. Война закончена, и перед нами лежит весь Третий рейх. А чем мы займемся после обеда? Пока не знаем. Грядет тощий год: мы будем есть траву и листья, как скоты, которыми они нас считают. Наши ладони сложены, наши головы преклонены.

Эрих и Зиглинда работают вместе с женщинами: выбирают целые кирпичи и очищают их от раствора — американцы не гонят их, только бы

не болтались под ногами. Дороги завалены, в некоторых местах обломков так много, что под ними не видно первых этажей. Эрих и Зиглинда карабкаются по руинам, а потом сбегает вниз, раскинув руки, как крылья. Я наблюдаю за ними, за этими детьми развалин, из затемненных комнат. Они ковыряются в обломках, выуживая целые кирпичи, и если им попадается на глаза рваный рукав или смятый ботинок, просто отводят взгляд. Что будет со всеми сломанными вещами? Их нельзя ни починить, ни выбросить. Через несколько лет в Груневальде из расколотых бутылок, сломанных дверей, ржавых пружин, рваных рукавов и смятых ботинок вырастет Тойфельсберг, дьявольская гора. Пройдет время, и она порастет травой и цветами. Летом берлинцы будут приходить сюда с корзинами для пикника, а зимой с лыжами и санками.

* * *

Однажды, разбирая завалы, Эрих замечает под ногами что-то блестящее. Он поддевает находку куском трубы и выуживает крошечного солдатика, точно такого же, как те, которых он топил в озере. В земле остается отпечаток, настолько четкий, что можно разглядеть даже шнурки на ботинках и пальцы на прикладе винтовки. Через тысячу лет, думает Эрих, какой-нибудь мальчик откопает двойника этого солдата из слежавшейся, окаменевшей пыли и пепла.

— У меня был целый набор таких, — вздыхает он.

Зиглинда кивает, не поднимая головы. Она обтесывает раствор с кирпича, и отколотые куски падают с глухим звуком, поднимая клубы серой пыли.

— У Юргена тоже был.

— Мама избавилась от них, — тихо говорит Эрих. — Она должна была сказать... Они должны были сказать, что я не родной.

— Она и сказала, — пожимает плечами Зиглинда.

— Только после Хайнца Куппеля.

— Что именно она сказала?

— О таком ребенке, как ты, мы всегда и мечтали.

Эрих и Зиглинда складывают очищенные кирпичи в стопки и переходят дальше. Серая пыль оседает на руках и лицах, делая их похожими на расколотых каменных детей на фасаде дома тети Ханнелоры. Когда мимо проходят русские солдаты, Зиглинда не поднимает головы, не прекращает работы.

— Привет, фройляйн! — окликают они, но Зиглинда не отвечает. Они трогают ее за плечо, тянут за рукав... Она отворачивается и продолжает работать. Куски раствора сыплются на землю.

— Отстаньте! — вступается Эрих, его голос срывается и дрожит от волнения. — Не трогайте ее!

Это те?.. Это они вышибли дверь и разбили бутылку? Солдаты смеются и хлопают Эриха по плечу.

— Смелый братишка!

По пути домой Эрих и Зиглинда замечают на деревьях объявления с адресами квартир, где сохранились работающие телефоны, чтобы можно было позвонить в случае опасности. Но им некуда звонить... Зиглинда берет Эриха за руку и не отпускает до самого дома.

* * *

Фрау Миллер: Мне снятся кирпичи. Многие тысячи кирпичей. Они повсюду, и меньше их не становится...

Фрау Мюллер: Мне вообще ничего не снится. Я сплю как убитая.

Фрау Миллер: Я нашла вчера на улице мертвую лошадь. Ну, почти мертвую... Она бы точно не выжила. Я срезала немного мяса и отнесла домой, а когда вернулась, там остались одни кости.

Фрау Мюллер: Я видела кости. За них завязалась драка. Одна женщина схватила большую берцовую кость — по-моему, именно берцовую — и двинула другой женщине.

Фрау Миллер: Ужасно. А вы... Вы видели лицо той женщины, которая схватила малую берцовую кость?

Фрау Мюллер: Большую берцовую кость.

Фрау Миллер: Большую берцовую кость.

Фрау Мюллер: Да, видела. Так же четко, как и вас сейчас, если вы понимаете, о чем я...

Фрау Миллер: Понимаю. Мне кажется, вы не совсем разобрались в ситуации. Уверена, та женщина просто защищала себя и свою семью.

Фрау Мюллер: Размахивая костью лошади? Мы что дикари? Пещерные люди?

Фрау Миллер: Не думаю, что пещерные люди держали лошадей, фрау Мюллер, скорее просто на них охотились. Конечно, надо уточнить в исторической литературе, но мне кажется, тогда лошади еще не были одомашнены.

Фрау Мюллер: Пусть так, это не дает нам право расхаживать по городу и лупить всех подряд большими берцовыми костями.

Фрау Миллер: Малыми берцовыми костями.

Фрау Мюллер: Малыми берцовыми костями. Мы не дикари. Не чудовища. Если хотите расширить паек, идите на Потсдамскую площадь и продайте меха или фарфор.

* * *

На Потсдамской площади можно продать и купить что угодно: меха, мейсенский фарфор, столовое серебро, коньяк, шоколад, шелковое белье, сигареты, скрученные из окурков. Торговцы держатся в тени полуразрушенного дворца развлечений «Фатерлянд». На руинах висят плакаты, вопрошающие: «Кто виноват? Почему вы молчали? Все эти ужасы — на вашей совести!»

— Что ищете?

К Эриху с Зиглиндой подходит человек с темными прямыми волосами и голубыми глазами, на которые глубоко надвинута шляпа.

— Я хочу продать это, — говорит Зиглинда, разворачивая носовой платок, в котором аккуратно сложены папины слова.

Человек перебирает их и качает головой.

— Вряд ли кто-то купит. Они не стоят и той бумаги, на которой напечатаны.

Эрих вглядывается в лицо незнакомца — тот глубже натягивает шляпу.

— Вы уверены? — переспрашивает Зиглинда, понижая голос. — Мама говорила, что многое бы отдала, лишь бы заполнить пропуска в книгах.

Человек пожимает плечами.

— Да, год назад у них была совсем другая цена.

Эрих не сводит глаз с незнакомца: с его лица, с его волос, с его трясущейся левой руки.

— В чем дело? — начинает нервничать тот.

— Я... Вы мне кое-кого напоминаете, — запинается Эрих.

— Многие так говорят, — отрезает незнакомец и отходит.

Разговор окончен. Эрих шепчет, оглядываясь:

— Кажется, это он...

— Кто?

Зиглинда складывает носовой платок и засовывает в карман.

— Осторожнее, — делает она замечание Эриху, когда тот запинается за

вывороченный булыжник. — Смотри под ноги.

— Это — он!

Зиглинда оборачивается, но незнакомец уже растворился в толпе.

— Думаешь, он жив?

— Возможно, — отвечает Эрих. — Он не оставит нас. Я знаю, он не оставит.

— Вряд ли он будет разгуливать в открытую. Будь он настоящим, наверняка замаскировался бы: надел бороду, очки...

Зиглинда и Эрих вглядываются в лица прохожих. Да, он наверняка замаскировался.

* * *

Почему я до сих пор с ними? С Эрихом и Зиглиндой, с фрау Хуммель и герром Фроммом, с этой семьей незнакомцев, живущих в чужом доме? Почему я не отвожу взгляд? Что держит меня здесь? Я сижу с ними за одним столом, когда они едят вечером скудный хлеб с маргарином, радуюсь вместе с ними, когда возвращается электричество и из кранов, фыркая, начинает литься вода. Слежу за кустами табака, посаженными на террасе, и молюсь, чтобы за них дали хорошую цену. При этом прекрасно понимаю, что я не один из них. Что я никто. Иногда ужасно хочется разнести на куски стены, спалить дотла комнаты... а потом мой взгляд падает на раздавшуюся талию фрау Хуммель, до слуха доносится сердцебиение новой жизни, зарождающейся внутри. Я жду, когда же наконец она избавится от нее, — найти акушерку не составляет труда, подпольные аборты пользуются спросом. Но время идет, а она ничего не делает. И это значит, что она сделала выбор. Мы ведь можем все остаться здесь, своей маленькой семьей? Тетя Ханнелора уже не вернется, ее сыновья — в тюрьмах, как и остальные мужчины. Да, мы можем навсегда остаться здесь: мама, папа, брат, сестра и — в феврале — младенец, которого можно будет качать, купать и любить, крошечная новая жизнь, чистая книга. Я сжимаю сломанные оконные стекла в своих сломанных руках.

Конечно же, она нас находит. Мама находит нас, когда наступает зима. И почему я решил, что она не будет искать? Папа пропал в России, бронзовая голова покоится на дне озера, иностранные работники разошлись. Эрих — единственное, что у нее осталось.

Когда приходит письмо из Красного Креста, Эриху приходится изменить свою историю: мол, он был уверен, что мама погибла при

бомбежке Лейпцига, но, оказывается, ошибся, и вот подтверждение — письмо, написанное ее рукой. Ему нельзя было терять надежду и ехать в Берлин, чтобы сражаться за фюрера, впрочем, говорит фрау Хуммель, все это уже не важно, а важно лишь то, что мама жива. Это чудо, за которое мы должны благодарить бога, и теперь Эрих может вернуться домой. А у многих ли остался дом? Мама зовет Эриха назад, чтобы кормить Ронью яблоками, греть пфенниги на печке и прикладывать их к морозному стеклу. «Ты мой единственный ребенок», — пишет она. Вот почему я до сих пор с ними, вот почему не отвожу взгляд!

— Поехали со мной, Зигги, — зовет Эрих. — Мама не будет против.

Они будут вместе летом купаться в озере, а зимой кататься на лыжах. Он покажет ей, где растут самые крупные грибы, и даст попробовать парного молока и свежего меда.

Однако фрау Хуммель говорит «нет». Теперь она отвечает за Зиглинду и не может так далеко ее отпустить.

— Я как-нибудь приеду, — говорит Зиглинда. — И ты обещаешь вернуться ко мне. Обещаешь!

* * *

Когда Эмилия замечает Эриха среди пассажиров, сходящих с поезда, она не бежит к нему, не сжимает в объятиях и не покрывает лицо поцелуями. Не делает ни шага, наблюдая, как он высматривает ее в толпе. Почти год прошел с его побега — он вырос и потемнел: волосы из пепельных стали соломенными. Эрих скользит по ней взглядом и не узнает. Неужели так сильно изменилась? Она снимает платок и зовет его — он подходит и обнимает. В нем чувствуется низкое мерное гудение, как в улье, успешно пережившем зиму. Когда он говорит «Здравствуй, мама», его голос звенит в ушах, как трепет легких крыльев. Но внутри нее — замерзшее озеро.

— Я сказала пчелам, что ты мертв.

Она запрещает ему писать в Берлин — в наказание за побег.

— Откуда мне знать. Вдруг ты опять сбежишь.

* * *

Когда Эрих входит в яблоневый сад, ульи уже его ждут. Он стряхивает

тяжелые снежные шапки с веток, и в круговороте рукотворной метели ему кажется, будто его обступают не деревянные истуканы, а родители, тетя Улла, фрау Хуммель, герр Фромм и Зиглинда, его Зигги, скромная тень в сверкающей дымке. Как только снег опускается, улы начинают наперебой рассказывать свои истории: «Конечно, мать молила меня, а пальцы, покрытые сладким соком, уже окоченели рядом со мной. Хороший парень, добрый парень, мой брат любил нож с ясеновой ручкой...»

— Хватит! — просит Эрих. — Хватит! Это какая-то бессмыслица.

Но голоса не затихают, сливаются в один протяжный аккорд, заполняющий весь сад. Эрих опускает руку в карман и нащупывает там крошечную бумажку, которую Зиглинда дала ему перед расставанием. Улы гудят и бормочут, а он повторяет про себя единственное слово, и я повторяю вместе с ним: «обещай», «обещай», «обещай».

* * *

Эриху нельзя писать Зигги, зато та отправляет ему письма одно за другим. Эмилия прячет конверты в передник и вскрывает, когда Эрих ложится спать. Зиглинда — очень вежливая девочка: каждое письмо она заканчивает тем, что просит Эриха передать привет маме.

Но это ничего не меняет.

Эмилия аккуратно складывает каждое письмо, возвращает в конверт и отправляет в печь.

* * *

На дне наших рек и озер — сдвоенные молнии и черепа, в клумбах — значки, медали, головы и крошечные свинцовые человечки, в кострах — фотографии и имена (Адольфы, Хиллеры и Хидлеры), которые скручиваются по краям и превращаются в пепел. Мы перелицовываем серо-палевые и темно-синие костюмы с контурами орлов. Мы — живые тени, остатки мертвой эпохи. Рейхсмаршал худеет день ото дня, раскусывает ампулу и ускользает из петли, но его тело все равно приносят к виселице. Нас заставляют смотреть фильмы, посещать лагеря, отвечать на вопросы. Мы состояли в НСДАП? Делали пожертвования в пользу НСДАП? Входили в Национал-социалистическую лигу врачей? В Национал-социалистическую лигу студентов? В Национал-

социалистическую женскую лигу? Нет, нет и нет. Печать. Подпись. Мы свидетельствуем, что ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знали. И пусть в наших подвалах кости, и в стенах замурованные дети, мы продолжаем стоять на своем. Да и откуда нам было знать? Мы очищаем кирпичи, и разрушенный город звенит от стука наших молотков и зубил, и никто даже не вздрагивает при взрыве неразорвавшихся снарядов. Грядут тощие годы, мы будем есть листья и траву, но мы не звери. Мы ничего не знали.

Несбывшийся ребенок

1955. Западный Берлин

Зиглинда стала замечать, что некоторые слова и имена будто перестали существовать: никто не употребляет их, видимо, опасаясь вернуть к жизни то, чему и вовсе было лучше не рождаться. Дни мелькали за днями: голубые и золотые, голубые и зеленые. Город поднимался из руин, отрясая пепел со своих крыльев. Мы осторожно возвращались к жизни. Деревья переродились и дома тоже, как и банкиры, библиотекари, матери, чиновники, кондукторы, продавцы, врачи — никто никогда не был нацистом.

На лекциях по истории в новом университете в Далеме, куда поступила Зиглинда, преподаватели рассказывали о Библии Гутенберга, Тридцатилетней войне, правителях Пруссии, годе трех императоров — о чем угодно, только не о нем. Ни слова о нем. Учебник заканчивался на 1913 годе. В Далемском архиве, куда Зиглинда пришла после выпуска, можно было найти послания, написанные монаршей рукой, старинные карты и судебные записи, но вот новые документы, которые тоже попали сюда, хранились под замком, неразобранные и непрочитанные. Целые горы бумаг, способные погresti под собой любого, кто осмелится их потревожить.

Отблески недавней истории виделись Зиглинде в лицах детей, рожденных сразу после войны: высокие скулы, славянские глаза — как у Мелании, маленькой дочки фрау Хуммель. Глядя на них, Зиглинда вспоминала другие лица, вновь ощущала пот, капающий с них на ее глаза, грубую форму, царапающую запястья, и возбужденное несвежее дыхание, рвущееся в ее губы. Вновь слышала звон бьющегося стекла и беспорядочное тиканье часов на грубых руках. Сколько же минут утекло, пока все они, по очереди... Теперь Зиглинда всегда опаздывала, потому что при одной мысли о часах на запястье ее бросало в дрожь. Она помнила лицо Эриха, склонившегося над ней, когда те ушли, его голос, произносивший незнакомые слова. Он освободил ее и укутал бархатным занавесом и маминой лисьей горжеткой, а лиса шептала ей: «Ничего не было. Это все сон».

* * *

Она бесплодна, так сказал доктор после осмотра. Фрау Хуммель стояла

у кровати и плакала. Причину тех слез Зиглинда смогла понять не сразу.

— Это же здорово, — сказала подружка Зиглинде. — Можно не трястись, как другие, и ни в чем себе не отказывать.

Не травма, а свобода. Почему бы не взглянуть с такой стороны? Выбора ведь все равно не было.

Когда Зиглинда сказала о своей особенности Джонатану, он ответил, ну и пусть, им будет хорошо и вдвоем. Они познакомились на танцах в «Рези», где разноцветные фонтаны расцветали под музыку. Он был высоким и широкоплечим, с глазами цвета ириски, английским румянцем и густыми темными волосами.

В «Рези» коротали свободные вечера союзники, расквартированные в Берлине. Повсюду звучала ломаная немецкая и английская речь, и собеседники то и дело переходили на жесты, когда не хватало слов. Джонатан говорил без акцента с едва уловимым баварским говором: учитель, преподававший ему немецкий в частной школе Кента, уехал из Мюнхена в 1933 году. Джонатан носил безупречно отглаженный костюм и вел в танце очень бережно, едва придерживая Зиглинду за талию. «Когда вновь зацветет белая сирень, я спою тебе о любви».

— Наверное, вам стоит пригласить на танец кого-нибудь еще, — проговорила Зиглинда, замечая, как смотрят на них девушки, вынужденные танцевать друг с другом.

— Возможно, — откликнулся он и остался с ней.

«Когда на Капри красное солнце падает в море, и на небо взбирается бледный месяц»...

Поначалу Зиглинда не заметила, что Джонатан немного прихрамывает. Она случайно наступила ему на ногу, однако он никак не отреагировал на ее оплошность, как ей показалось, из вежливости.

— Извините мою неловкость. Давно не танцевала.

— Я ничего не заметил.

— Не может быть.

— Правда. Это протез. Настоящая осталась на Крите.

Он смотрел на нее, ожидая реакции. «Обернись на прощанье лишь раз и скажи, почему ты уходишь».

— Что же вы были так неосторожны? — упрекнула она.

— Даже не знаю, о чем я думал, — согласился он.

— Ты не говорила, что он англичанин, — шепотом возмутилась фрау Хуммель на кухне.

— Разве? — отмахнулась Зиглинда. — Наверное, забыла.

— Как так можно?

Фрау Хуммель сердито резала сливовый пирог.

— Ты не могла просто забыть!

Зиглинда поставила кофейник на поднос и попросила Меланию достать парадные тарелки.

— Не эти, — прикрикнула фрау Хуммель. — Возьми синие.

Джонатан вскочил, когда женщины вошли с подносом в комнату.

— Позвольте помочь, — предложил он.

— Мы сами, — отрезала фрау Хуммель.

— Мне не сложно...

— Сидите.

— Спасибо, — добавила Мелания.

— Да, спасибо, — улыбнулась Зиглинда.

Он слишком хорош, подумала она. Когда Джонатан сел на диван и скрестил ноги, у него из-под штанины выглянул край ремня, удерживающего протез. Он поспешно наклонился и поправил. Наверное, она сможет его полюбить.

— Похоже, я не очень-то понравился твоей тете, — сказал Джонатан, когда они остались одни.

— Тете?

— Ты же говорила, что живешь у тети.

— Я живу в ее квартире, а сама она умерла в войну.

— А кто же тогда фрау Хуммель?

— Она присматривала за мной... после того как в наш дом попала бомба. Я осталась одна. Мы просто живем вместе, я помогаю ей с Меланией.

Он кивнул. Потрескивал уголь в печи.

— У тебя остались фотографии родных?

Зиглинда покачала головой.

— Нет... Хотя подожди.

Она прошла в спальню и открыла комод, там на аккуратных стопках одежды, как в мягкой колыбели, лежал мамин грессбук. Что-то потянуло ее за подол юбки. Зацепилась за гвоздь? Наступила на распутившуюся нитку? Нет, ничего.

Зиглинда вернулась в гостиную и села рядом с Джонатаном. Они стали вместе листать плотные страницы. Зиглинда расшифровывала мамины

краткие записи, описывала напольные часы, буфет вишневого дерева, зеленые кофейные чашечки, брошь с папиными молочными зубами, и комната наполнялась призраками прошлого, слетающими с истертых страниц.

1957. Западный Берлин

Каждый вечер перед ужином, когда молодым женам полагается купать детей, стерилизовать бутылочки или читать сказки на ночь, Зиглинда бралась за пазлы. Она садилась за обеденный стол, где ее уже ждала какая-нибудь картинка, обычно с городскими видами, и начинала перебирать кусочки, в это время Джонатан приносил с кухни хлеб, сыр, мясо и расставлял на краешке стола. Так они и ели, друг напротив друга, разделенные рассыпанными домами, которые муж видел перевернутыми, как отражение в озере.

— Где мы на этот раз? — поинтересовался Джонатан, взмахнув вилкой.

— В восемнадцатом веке, — откликнулась Зиглинда. — Перед дворцом дождей.

— Сложно, — заметил Джонатан. — Небо того же цвета, что и вода.

После ужина Зиглинда готовила одежду на завтра. Эта привычка жены стала открытием для Джонатана: в первые месяцы после свадьбы он нередко подшучивал над ее немецкой аккуратностью. Нет, ответила она ему тогда, национальность здесь ни при чем, просто так удобнее одеваться в темноте в случае тревоги.

Зиглинда выкладывала на полу белье, юбку, блузу, кардиган и туфли, и разложенная одежда напоминала придавленную, плоскую фигуру. Закончив, она вырезала кроссворд из газеты и растягивалась на диване с блюдечком мятных леденцов или засахаренного миндаля. Букву за буквой она вписывала в сетку, и сердце ее замирало всякий раз, когда попадалось одно из тех папиных слов, которые выпадали из-за отворотов его брюк. Зиглинда сберегла все крошечные бумажки, кроме одной, той, что сунула Эриху в карман, когда он обнимал ее в последний раз на вокзале. «Обещай, что вернешься. Обещай», — твердила она тогда. Дождь барабанил по крыше, и в толпе на перроне Эрих стоял так близко, что она чувствовала запах сырой шерсти от его пальто и мыла от его волос. Под его ногтями остались черные полосы, хотя фрау Хуммель заставила оттирать руки щеткой: «Твоя мама может подумать, что мы о тебе не заботились». Он взял Зиглинду за руку и прошептал: «Я обещаю», а потом шагнул в вагон вместе с другими скитальцами, ищущими дорогу домой, и растворился за мутными, залитыми дождем стеклами.

С тех пор она не получила от него ни строчки, хотя сама писала

постоянно. «Я изучаю историю». «Хочу работать в архиве». «На этой неделе умер герр Фромм, говорят, от высокого давления». «Мне бы хотелось посмотреть на ваше озеро и на гигантского карпа». «Я выхожу замуж за англичанина».

Иногда Джонатан приходил с газетой и садился рядом с Зиглиндой на диван, поднимал ее ноги и клал себе на колени. Он читал вслух начало статьи, окончание которой было на обратной стороне вырезанного кроссворда, и выдумывал собственные развязки: изобретал неожиданные удары молний или нашествия саранчи, пока Зиглинда не начинала смеяться и не отдавала ему недостающий кусок текста. Однажды он начал читать ей статью про «болотное тело», останки доисторического мальчика, найденные в 20-х годах.

— Мальчик из Кайхаузена, — кивнула Зиглинда. — Я читала про него.

Она перевернула кроссворд и увидела знакомые очертания, как в Юлиной книге, только теперь все исполосованные следами от ручки.

Ученые провели подробные исследования, сделали рентген, определили, чем он болел, и выяснили причины его хромоты. Выяснили также, что погиб он осенью, — в желудке нашли два семечка от яблока.

— Причина, по которой его предали смерти, однако, остается загадкой, — читал Джонатан. — Был он преступником или жертвой? Оказался выбран для жертвоприношения из-за своего уродства или вопреки ему?

На следующий день супруги отправились на выделенный им загородный участок. Несколько сотен крошечных наделов тянулись вдоль путей эс-бана. Из окна вагона они напоминали игрушечную деревню: маленькие аккуратные улицы, посыпанные гравием, крошечные однотипные домики с белыми ставнями и ящичками для цветов под окнами.

Джонатан и Зиглинда посадили у себя несколько фруктовых деревьев и разбили небольшой огородик, и приезжали сюда каждые выходные. На крыльце их ждал пакет спелых груш, подарок от знакомой вдовы. Они часто болтали с ней и с другими соседями, обсуждая, когда рекомендуется подрезать плакучую вишню и какие сорта плетистых роз лучше переносят зиму, а вот спрашивать про потерянных мужей и детей было не принято, как и упоминать про национальность Джонатана. Казалось, никто не обращал внимания на то, что он был англичанином, кроме нескольких соседей старшего поколения, которые никогда с ним не здоровались.

Зиглинда выложила груши в блюдо и поставила на обеденный стол; тот был изрядно побит и раньше, видимо, стоял в каком-то

государственном учреждении, однако теперь покрытый чистой скатертью и украшенный вазой с цветами, выглядел довольно мило. Зиглинда сшила тюлевые занавески на окна и сплела коврик из лоскутов, Джонатан покрасил стены в нежный оттенок желтого, напоминавший хризантемы, растущие у ворот. Перед камином стояла пара глубоких кресел, на стене висел календарь с замками Рейна.

В тот приезд Джонатан собирал яблоки, а Зиглинда искала упавшие грецкие орехи. Верхняя кожура уже раскрылась и потемнела. Зиглинда аккуратно раскалывала их, стараясь не ломать половинки, вытаскивала ядра, а скорлупу складывала рядом на траву.

— Ты же все равно ее выбросишь, — заметил Джонатан.

— Да, — кивнула она.

Муж, стоявший на лестнице среди зеленых веток, казался ей темной фигурой на фоне бледного осеннего неба.

— В детстве, — донесся сверху его голос, — я видел у моей ирландской бабушки пару крошечных перчаток, привезенных из Лимерика. Они были сшиты из кожи мертворожденного теленка, настолько тонкой и нежной, что не выдержали бы и пары дней носки. Они помещались в скорлупу грецкого ореха.

— Раньше люди не были такими большими, — задумчиво произнесла Зиглинда.

Джонатан взбирался все выше и выше.

— Мы можем остаться здесь навсегда, — сказал он.

— Можем, — отозвалась Зиглинда, запрокинув голову вверх.

Она вспомнила, как лежала в кровати, прислушиваясь к гулу самолетов, а на комод у нее стояла раскрытая книга о мальчике из Кайхаузена. Страницы пахли торфом и сыростью, она обводила пальцем очертания распластанного тела и слушала. Под потолком на нитках качались осколки. «Это отвратительно», — сказала тогда мама.

Джонатан что-то говорил сверху, но Зиглинда не слышала: ей казалось, будто она погружается в болото, влажная почва смыкается над головой, подземные соки растворяют ее кости, дубят кожу. Кто выкопает ее? Найдет, даст имя и решит, преступник она или жертва?

Теперь временами Зиглинда задумывалась, какими могли бы быть ее дети. Они представлялись ей крошечными фигурками, бегущими далеко впереди и никогда не останавливающимися, чтобы обернуться. Ей никак не удавалось их разглядеть. Стали бы они учить песню про морячка и его несчастную любовь? Были бы у них кудри, как у Курта? Маленькие фигурки удалялись, растворялись в дыму и пыли руин — там, где осталась

ее семья. Да, думала Зиглинда, они были бы похожи на ее маленького брата: немного на Курта, немного на Эриха.

Эрих... Даже по прошествии десятка лет она не забывает о нем, хотя писем уже не пишет: выбор сделан, первая любовь упрятана на задворки памяти, сердце успокоилось в костяной клетке. Временами ей мнилось, что она просто выдумала его, спасаясь от одиночества и страха. Фрау Хуммель делала вид, что вовсе не помнит ее друга.

— Мальчик, который привез меня сюда, — допытывалась Зиглинда. — Эрих Кренинг.

— Тогда был сплошной хаос. Столько людей появлялось и исчезало, — отмахивалась фрау Хуммель.

— Он жил у нас! Мы вместе укрывались в театре, а потом... он привез меня. И пробыл у нас несколько месяцев.

— Лучше не вспоминать, что было, — обрывает разговор фрау Хуммель. — Лучше забыть.

Забить — сжечь, закопать, утопить в озере.

Но Зиглинда не забыла и, даже лежа рядом с Джонатаном, видела Эриха — в сумраке сцены на постели из мерцающих, расшитых костюмов. Он смотрел на нее из снов, и в руках у него кружились бумажные диски: лошадь без седока и всадник, зависший в воздухе, голый ствол и облако зеленых листьев. Когда он улыбался, она замечала зуб, который рос немного вбок; когда он отворачивался, видела на левом виске родинку в форме запятой, будто это еще не конец, и продолжение следует. В эти моменты она была не взрослой женщиной двадцати пяти, тридцати, сорока лет, вспоминающей о товарище по детским играм, а все той же двенадцатилетней девочкой. Да, она снова оказывалась в сумраке театра, на пыльной сцене. И бархатный занавес шуршит, закрываясь. Ш-ш-ш-ш.

Апрель 1976. Восточный Берлин

Две женщины стоят в толпе, ожидающей открытия свежестроенного Дворца Республики. Тысячи зеркальных стекол отражают солнечный свет, наполняя воздух бронзовым сиянием. Кажется, что громадное здание покачивается и трепещет. Невдалеке возвышается старинный собор, закованный в леса, и пронзает облака берлинская телебашня.

Когда двери распахиваются, женщины не могут поверить своим глазам: кругом стекло и мрамор, и удивительные круглые люстры, похожие на тычинки — будто они попали в внутрь гигантского стеклянного цветка. Все залито светом.

Фрау Миллер: Он настоящий?

Фрау Мюллер: О чем ты?

Фрау Миллер: Сверкающий мрамор.

Фрау Мюллер: Конечно, настоящий. Видишь, ты в нем отражаешься?

Фрау Миллер: Но у нас не добывают мрамор. Значит, его откуда-то привезли.

Фрау Мюллер: Откуда?

Фрау Миллер: Из-за границы.

Фрау Мюллер: Вряд ли бы Партия это одобрила.

Фрау Миллер: Может, он ненастоящий.

Этот вопрос не дает женщинам покоя целый день, но одно у них не вызывает никаких сомнений: им повезло жить в таком месте, где все кажется исключительно настоящим.

* * *

Эрих тоже стоит в толпе. Он специально приехал в Берлин на один день вместе с дочками, чтобы увидеть открытие Дворца. Его жена Беттина простудилась и осталась дома в Лейпциге.

— Я обязательно пришлю тебе открытку, — пообещала Штеффи, целуя маму перед отъездом. — Таковую, где будет Дворец.

— Спасибо, золотце, — улыбнулась мама.

— Мы вернемся к вечеру, бестолочь, — буркнула Карина.

— Не важно, — возразила мама. — Я хочу такую открытку.

Утро выдалось прохладное, из-за угольной пыли небо кажется

грязным.

— Что-то не слишком похоже на дворец, — ворчит Карина, нетерпеливо оглядывая очередь.

— Точно, — поддакивает Штеффи. — Где башни для принцесс?

— Это совсем другой дворец, малышка, — смеется Эрих.

Попав внутрь, девочки первым делом ищут кегельбан. Дорожки из отполированного вошеного дерева сверкают как реки, шары катятся по ним с оглушительным грохотом прибывающего поезда. Карина засовывает руку в отверстие, чтобы нащупать секрет, понять механизм, но, прежде чем Эрих успевает предупредить ее, получает мячом по пальцам.

— Дай посмотрю, — говорит он. — Так-так. Придется ампутировать всю руку до плеча. Ты больше не сможешь плавать по прямой. Что скажете, доктор Штеффи?

— И плечо тоже, — отзывается та.

— Это ужасно, — вздыхает Эрих.

— Шутки у вас дурацкие! — огрызается Карина.

* * *

Кафе устроено в форме идеального круга.

— Чтобы всех обслуживали строго по очереди, — предположила Карина, и Эрих кивнул.

Девочки выпили по бутылке «Вита-Колы», от чего сначала дружно рыгнули, а потом захихикали. И, конечно, не забыли купить открытку для мамы.

— Напиши ей, сколько здесь света, — советует Карина. — И про уборщиц в туалетах тоже напиши.

Эрих и девочки отдыхают в просторном белом фойе на одном из бесконечных диванов, на котором может запросто разместиться дюжина семей вместе с бабушками и дедушками. Справа от них сидят две женщины и спорят о чем-то, настоящее оно или нет, но до Эриха долетают лишь обрывки фраз.

Напоследок все они, Эрих с дочками, фрау Миллер и фрау Мюллер, осматривают огромные картины, развешанные в фойе: молодежь мира с развевающимися красными флагами, развалины Фрауэнкирхе на фоне пламенеющего неба, тело павшего воина, покрытое белой тканью, горящие книги, Икар, взмывающий в небо, и пилот, падающий на землю. Мир не может остаться прежним. Он должен измениться.

Эрих

1980. Лейпциг

В приемном покое сидит зеленоглазая темноволосая девочка с подвязанной рукой, рядом с ней отец. Эрих на секунду останавливается в дверях и вдыхает поглубже — нет, конечно, опять показалось, это не может быть Зиглинда. С ним время от времени такое случается: она мерещится ему в вагонах эс-бана, в проезжающих машинах, в отражениях витрин и в лицах пациенток, приходящих к нему с порезами и переломами.

— Что случилось? — привычно спрашивает он, осторожно освобождая руку девочки и ощупывая опухшее запястье.

— Упала с перекладины, — отвечает та. — Отвлеклась.

— У нее отборочные соревнования через три недели, — вмешивается отец, сжимая здоровую руку дочери.

— Соревнования?

— Она новая Комэнеч^[31]! Все так говорят. Пе-релом?

— Нужно делать рентген. Но вообще больше похоже на растяжение связок.

— Отлично, — откликается девочка.

— Отлично? — переспрашивает мужчина, который, возможно, вовсе и не ее отец. — Отлично?

Эрих подвязывает руку обратно.

— Давайтеждемся результатов рентгена.

Он видел эту девочку по телевизору несколько месяцев назад, когда показывали московскую Олимпиаду. Она крутилась и извивалась на экране, как рыбка.

— Папа, мама, смотрите! — кричат Карина и Штеффи, танцуя по комнате на носочках и перепрыгивая через стулья.

На экране телевизора та девочка, похожая на Зиглинду, соскакивает со снаряда и замирает на долю секунды, восстанавливая равновесие. Перед глазами Эриха всплывает полуразрушенный Берлин: они с Зиглиндой избегают на обломки, подначивая друг друга, а фрау Хуммель кричит снизу: «Вы сломаете шеи! Разобьетесь!»

Эрих не сказал домашним, что лечил эту девочку из телевизора. На экране идет повтор ее выступления, и он не может оторвать глаз: вылитая Зиглинда, целая и невредимая, летит к нему через прожитые годы. Поворот в замедленной съемке — как подарок на память. Эрих вспоминает об улье с лицом Луизы, дедушкиной первой любви, который он сам вырезал. Мы

создаем копии тех, кого потеряли, и храним их, как талисманы против неумолимого хода времени, — наполняем роem воспоминаний, сладостных и легкокрылых.

Карина и Штеффи кланяются, Беттина хлопает.

— Сколько баллов? — наперебой спрашивают девочки. — Кто выиграл?

— Ничья, — заявляет Эрих.

— Обе выступили замечательно, — поддакивает Беттина.

Девочки унаследовали от матери рыжие волосы и бледную кожу, а вот на Эриха они совсем не похожи. Правда, Беттина то и дело замечает в дочерях черты Кренингов, например, в манере Штеффи смеяться или в привычке Карины наклонять голову.

— Не забывай, — замечает Эрих. — Кренинги мне не родные.

— И слава богу! — восклицает Беттина.

Она видела мать мужа всего однажды, на свадьбе, и не разрешала возить к ней девочек. «Эта женщина» называла она свекровь, «эта нацистка». Эрих не спорил.

Вечером, пока Карина и Штеффи чистят зубы и натягивают пижамы, Беттина замечает:

— Следующая Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе.

— Да? — отзывается Эрих.

Телевидение закидывает их новостями: иностранное высокопоставленное лицо посетило завод-передовик, местное официальное лицо торжественно открыло многоквартирный дом для семей из Марцана.

— План такой, товарищ: готовим дочерей к Олимпиаде и вместе с ними выезжаем под видом тренеров.

Эрих понимает, что жена шутит. Это их давняя игра — выдумывать планы побега за границу. Но даже дома, даже в их собственной кровати он по привычке делает ей знак говорить тише. Везде есть уши. Лучше использовать шифр или говорить под шум воды. Много лет назад в студенческом кафе, когда они с Беттиной отмечали день рождения, он заметил женщину за соседним столиком, которая старательно записывала их болтовню. Шампанское ударило в голову, и они, потеряв всякую осторожность, вслух составляли планы побега: гигантская катапульта из эластичных бинтов, реактивный ранец на тяге из маринованного лука, пара телескопических ходулей. Позднее он замечал щелчки в телефонной трубке и слезку на улице. словно за плечом всегда была тень.

Карина и Штеффи просят сказку на ночь. В голову Эриху приходит история о неприступной крепости, услышанная от бабушки, но он

рассказывает им совсем другую историю.

* * *

Жил на свете мальчик, и была у него рыба — обычный карп, которого они купили с мамой на рынке и выпустили дома в ванну. Хотя, как выяснилось, не совсем обычный... Рыба росла день ото дня и, наконец, выросла настолько, что еле помещалась в ванне. Ее чешуя блестела, как серебряные монеты, а хвост торчал из воды, словно веер испанки. Мама никогда не подходила к рыбе и вообще старалась не заходить в ванную. Казалось, она боится рыбу, хотя обычно ее ничего не пугало: ни вспышки молний, прорезающие грозное небо, ни обезглавленные курицы, мечущиеся после удара топора, ни истории о детях, замурованных в стенах. Глаза рыбы были масляными, как свеча, которую мама зажигала под чайником, и временами в них будто пламенели какие-то всполохи — проблески сознания или злой воли — не разобрать.

— Что нам делать с этим монстром? — спросила однажды мама.

Рыбина выросла настолько, что при любом движении жабры ее поднимались из воды, напоминая гигантские незаживающие раны.

— Давай отпустим в озеро, — предложил мальчик.

— Да, — кивнула мама. — Так мы и сделаем.

Будто гора упала с ее плеч, но тут папа мальчика сказал:

— Озеро замерзло.

Мама и мальчик переглянулись. Конечно, ведь сейчас декабрь! Как они могли забыть про зиму?

Той ночью мальчику не спалось. Ему мерещилось, будто рыбина задыхается, тяжело открывая рот. Нет, сказал он себе, это всего лишь ветер, качающий верхушки сосен и гудящий в деревянных ульях. Он отодвинул штору и лежал, уставившись в ночь. Холод затягивал стекло кривыми морозными иглами и шипами. Среди ночи мальчик проснулся от того, что за окном вдалеке мерцали желтые огни. Когда-то ему читали историю о птичке, которая приняла блеск в глазах волка за свет фонарей. Нет, сказал он себе. Нет, это не дикий, жестокий зверь, подкрадывающийся к дому, а обычные путники, ищущие дорогу. Он задернул штору и тут же уснул, и сны его были легкими, словно утренняя дымка над озером. Когда взошло солнце, он уже знал, как спасти карпа.

Вместе с отцом мальчик отправился на озеро, взяв свечи, которые слепил сам из пчелиного воска. Он сделал их короткими и широкими,

чтобы скорее прогорели. На лед он вышел один, потому что к центру озера, к самой глубине, отцу было не пройти. Дойдя до места, мальчик расставил свечи кругом, зажег их и отступил на несколько шагов.

— Все в порядке? — крикнул отец.

— В порядке, — словно эхо разнеслось над озером.

Свечи начали клониться и растекаться, погружаться в лед, как солнце, садящееся за белый горизонт. Мальчик взял зубило и выдолбил прорубь по вытопленному следу.

Потом они вернулись домой и погрузили рыбину в телегу. Мама наблюдала издали с нескрываемой тревогой.

— Осторожнее! — просила она. — Рыбина тяжелая — не пораньтесь! Надо было просто убить ее. Убить и съесть. А какие у нее зубы! Того и гляди укусит!

Папа изо всех сил погнал лошадь. Мальчик взобрался на спину рыбины, чтобы не дать ей упасть: поначалу та только разевала рот и била хвостом, но потом начала трепыхаться и извиваться всем телом. На месте они вытащили ее на лед. Казалось, рыба почуяла воду и устремилась к проруби. Мальчик шел рядом и подталкивал ее, если она останавливалась. Наконец, рыба достигла цели и исчезла под водой почти без всплеска.

— Ну что? — первым делом спросила мама, когда они вернулись домой.

— Уплыла, — ответил отец.

Мама заплакала.

Несколько недель подряд мальчик каждый день приходил к озеру и смотрел на затягивающуюся прорубь. Ему снилось, как он проваливается под лед, а карп подхватывает его и несет на дно, где покоятся выброшенные вещи. Он поднимает голову и видит ледяное небо. И понимает, что уже никогда не вернется домой.

1994. Берлин

Лето выдалось сухим и жарким — река обмелела, и над водой показался проржавевший корпус бомбы. Это не доведенное до конца убийство, эта покрытая тиной вражда попала на первые полосы газет, и все горожане в радиусе возможного поражения были эвакуированы. Полицейские прочесывали улицы, заходили в рестораны, жилые дома, библиотеки, банки и школы в поисках тех, кто пренебрег приказом. «Для вашего же блага, мадам, сэр. Возьмите самое необходимое. Возможно, вам придется переночевать вне дома».

— Вечно они что-нибудь откопают, — ворчал мужчина, сидевший рядом с Зиглиндой в автобусе. — Все уже, поди, проржавело.

Ему было под семьдесят, почти ее ровесник, и в голове ее привычно возник вопрос, который возникал у всех при встрече с представителями ее поколения: «А что ты делал тогда?»

На коленях Зиглинда держала сумку с самым необходимым, она не разучилась моментально ее собирать даже спустя пятьдесят лет.

Автобус ехал по Дуденштрассе, мимо гигантского бетонного цилиндра, тысячетонного доказательства того, что нестабильная берлинская почва не выдержит грандиозную триумфальную арку. Вдруг сосед Зиглинды сказал:

— Я был здесь до самого конца. У нас ничего не осталось, но мы бы пошли на все ради него. Даже на смерть.

Остальные пассажиры начали нервно ерзать, покашливать и отворачиваться к окнам, за которыми мелькали аккуратно подстриженные деревья, зеленые газоны и нарядные дома, словно этот город никогда не лежал в руинах. Хотя в восточной части дела обстояли хуже, теперь и там восстанавливали фасады и заделывали трещины. Зиглинда возила племянников Джонатана, приехавших из Англии, в Митте и Фридрихсхайн, чтобы показать выбоины от осколков и следы от пуль на полуразрушенных зданиях. Она хотела донести до них масштаб разрушений: сотни воздушных атак, десятки тысяч убитых, треть домов в руинах. Но лучше бы она рассказала им о лицах, покрытых известкой, о тех, чьи руки увешаны краденными часами, сияющими в сумраке, как скопище лун, о мальчике с соломенными волосами, который закутал ее в мех и бархат и помог подняться. Прошло не одно десятилетие, а призраки все еще давят ей на плечи, словно проверяя на прочность. Сколько еще нам придется

сгибаться под грузом воспоминаний?

— Бред какой-то! — продолжал возмущаться сосед. — Эта штука пролежала в Шпрее пятьдесят лет.

Зиглинда кивнула, не сводя глаз со своей сумки. Сколько уже было таких историй: крестьяне натыкались на неразорвавшиеся бомбы во время пахоты, экскаваторщики поддевали их ковшами, рыбаки доставали из сетей. Рабочий подорвался на mine во время прокладки дороги. Мальчику оторвало руку при взрыве гранаты. Пятьдесят лет ничего не значат: эти твари все еще живы.

— Устроили тут спектакль! А ведь я обещал сводить внука в зоопарк. У него день рождения.

Зиглинда снова кивнула и мысленно стала перебирать содержимое сумки: одна расческа, одна зубная щетка, один тюбик зубной пасты, одна ночная рубашка, одна смена белья, два журнала с кроссвордами, два бутерброда с сыром, апельсин, шоколадка, карандаш. У меня есть все необходимое, говорит она себе. Все здесь. Я ничего не забыла.

— Со стеной было лучше, — не унимался сосед. — А теперь никуда не доберешься! Все перекопано!

В этот раз тревога оказалась ложной: проржавевшая тварь уже никому не могла причинить вреда. Зиглинда вернулась домой, и двуликий город зажил своей обычной жизнью — без обезлюдевших улиц, запертых школ и закрытых окон, без взрывов, разбрасывающих фонтаны брызг, и любопытных зрителей, аплодирующих, как во время фейерверка.

Зиглинда вновь вспомнила о звонке из Государственного архива. Ей предложили принять участие в восстановлении материалов Штази^[32], обнаруженных недалеко от Нюрнберга: шестнадцать тысяч мешков, шестьсот миллионов обрывков. Тогда Зиглинда не стала отправлять заявку на участие: перспектива уехать из Берлина, оставить привычную работу в архиве и налаженную жизнь с Джонатаном нисколько ее не прельщала. Но теперь, подумала она, теперь я свободна, и, пожалуй, эта работа как раз для меня. Джонатан часто дразнил ее за любовь к кроссвордам и за способность полностью отключаться от всего происходящего. Бывало, он приписывал ей на полях дополнительные задания, когда она не видела: «пять по горизонтали — имя твоего мужа (8 букв)». Или подчеркивал определенные слова в словарях, разложенных по всему дому: «социофоб», «одержимость». Однако он никогда не трогал ее пазлы, разложенные на обеденном столе по цветам вокруг готовых фрагментов гор, парусников и водопадов. У нее был талант, Джонатан это признавал: даже облака и кроны деревьев складывались под ее пальцами будто сами собой.

Зиглинда планировала, что после выхода на пенсию у них с мужем будет впереди еще не меньше двадцати счастливых лет, и они потратят их на музыкальные концерты и путешествия по местам из пазлов. Убери все его вещи, советовали друзья. Так будет легче. Жизнь продолжается. Несколько месяцев подряд она не решалась, а теперь принялась за дело: открыла шкафы и ящики, сложила вещи в коробки, выгребла из тумбочки лекарства, сняла пальто с вешалки, выбросила зубную щетку и мыло. Главное начать, говорили ее друзья. Час или два — и все кончено. Во всяком случае, он не мучился. Ушел быстро. Сердечный приступ застал его в собственной кровати. Не каждому так везет!

В глубине шкафа Зиглинда нашла старый протез, еще из тех времен, когда они познакомились в «Рези». Минуло почти сорок лет. Находка белела в сумерках, прохладная и мягкая на ощупь, почти как настоящая. Зиглинда тихо прикрыла дверцу.

На следующий день она подала заявку в Государственный архив. Смена обстановки не мешает. Надо сдать квартиру и запаковать все ценное. Да и к тому же это не более чем на пару лет, только до пенсии. Нужно же кому-то собирать разрушенное и восстанавливать справедливость.

* * *

Это должно быть очень интересно, поддержали ее друзья, предстоит раскрывать всякие тайны. Я даю подписку о неразглашении, сказала Зиглинда. Конечно-конечно, согласились друзья, информация наверняка очень важная. Повисла пауза. Зиглинда подтвердила, что так и есть, информация строго секретная. Опять пауза. Понятно.

Некоторые коллеги Зиглинды действительно имели дело с документами об операциях иностранной разведки, применении допинга в юношеской сборной ГДР и деятельности группы Баадера-Майнхоф, но вот сама она работала совсем с иными материалами, которые вряд могли кого-то заинтересовать: «У М. длинные прямые волосы с проседью на висках, поэтому выглядит она старше своих лет. Как правило, носит красную вязаную шляпку и короткую нитку желтого жемчуга (вероятно, пластмассового). В. часто проводит время в пивной на углу Тикштрассе и Новалиштрассе, садится за ближайший к двери столик и играет в шахматы с другими завсегдатаями. По характеру Ф. скрытный, вежливый, поддающийся чужому влиянию». Неужели не скучно копать в таком

болоте? Может, возьмешь что-нибудь поинтереснее, спрашивали ее коллеги. Нет, спасибо, отвечала Зиглинда, мне нравятся обычные люди. Она никому не говорила, что среди обычных людей ищет своего Эриха. Сколько раз ей казалось, что долгожданное имя складывалось под ее пальцами: Эр и Их. Монотонная работа сама по себе доставляла ей удовольствие, навевала гипнотический покой. Вы делаете важное дело, заявил им директор на общем собрании. Фотографию Зиглинды даже опубликовали в «Шпигеле»: она сидит, слегка нахмурившись, за столом, заваленным обрывками. Не улыбайтесь, попросил ее фотограф. И добавьте побольше бумаг, а то смотрится как-то неубедительно.

1995. Лейпциг

Карина и Штеффи стали интересоваться родной семьей Эриха только после смерти своей матери. Однако он мало что мог им рассказать: родился в Польше, был перевезен в Германию, как сирота, попал к Кренингам. Должны же были сохраниться хоть какие-то документы, спрашивали дочери. Какие-то следы. Может, бабушка знает?

«Эта женщина». «Эта нацистка». После смерти Беттины он несколько раз возил дочек в деревню, однако Эмилия не узнавала их: ее все чаще подводила память. Даже Эриха она порой вспоминала не сразу.

— Герхард? — гадала она. — Кристоф? Густав?

— Это Эрих, — подсказывала тетя Улла. — Твой сын.

— Нет, — фыркала мама, оглядывая его с головы до ног. — Он поляк, но из германской породы. За это и выбрали.

Эрих читал, как обычно происходил такой «выбор»: детей отлавливали на улицах, как бездомных собак, подманивали едой или выкрадывали ночью из домов, свозили на перевалочные пункты, где обмеряли и обследовали, а затем, если все было в порядке, отдавали в немецкие семьи. У Эриха сохранились обрывочные воспоминания: женщина в коричневом костюме, предлагающая кусок хлеба, прикосновение холодных металлических инструментов к черепу, подбородку, ногам. И отдельные слова: tatuś, kotek^[33]. Но какая мама кружила его в саду, где была черно-белая кошка Анка?.. Эрих уже не мог вспомнить.

Каждый раз приезжая на ферму, он хотел сказать тете Улле, что больше он к ним не вернется, но в саду улыбки рассказывали свои путанные истории, и язык его деревенел. «Ты-ты, ты», — кричала лесная горлица.

— Они все удрали на запад, — бормотала мама, глядя в окно. — Все нацисты.

* * *

Я наблюдаю за ними. В один из приездов Эриха мама вдруг садится на кровати и просит отвести ее на озеро.

— Мы с сыном катались там на коньках. Скажи медсестре, что мы скоро.

— Какой медсестре, мама?

— Ей, конечно, — бурчит она, показывая на Урсулу, а потом хватается Эриха за руку и начинает шептать: — Это воровка! У меня была янтарная брошь в форме цветка с настоящим бриллиантом в середине. Она украла ее! С такими людьми надо держать ухо востро.

— Это твоя сестра, — успокаивает ее Эрих. — Урсула. Она заботится о тебе.

— Ничего, — говорит Улла, — я не сержусь.

Я наблюдаю, как Эрих берет маму за руку и медленно ведет по тропинке за домом. На чистом морозном воздухе голоса их звенят словно стекло. Деревянные губы ульев покрыты инеем. Эрих наклоняется, чтобы заглянуть внутрь и послушать шелест пчелиных крыльев, разогревающих воздух, отгоняя холод. Но ульи пусты. Пусты уже который год.

— Дедушка Кренинг сам их вырезал, — бросает мама. — А какой я пекла медовый пирог! Доктор из Берлина съел два куска и сказал «да».

«Да», — тянет морозный ветер в пустых деревянных головах.

На берегу Эрих сметает снег со скамейки и усаживает маму. На озере дети катаются на коньках. Среди них выделяется один мальчик, весь в черном. Движения его легки, стремительны и точны.

— Хорошо катается, — замечает Эрих.

Мама опять смотрит в пустоту стеклянным взглядом и вдруг говорит:

— Она хотела приехать сюда.

— Кто?

— Хотела разглядеть гигантскую рыбу подо льдом. Что за глупости!

— Гигантскую рыбу?

Колыхнутся водоросли, ил поднимается со дна.

Маленькая девочка падает на лед и начинает плакать. Никто не спешит ее утешить. Эрих вскакивает на ноги.

— Твоя? — спрашивает мама.

Но тут мальчик в черном помогает малышке подняться, и та сразу успокаивается. Помощь не требуется — обошлось без травм.

— Что за гигантская рыба? — пытается выяснить Эрих. — Мама?

— Мама? — отзывается она.

— Кто хотел сюда приехать, мама?

— Кто? Не знаю. Давно это было.

Мальчик в черном опять мелькает между другими детьми. Мама тербит бахромку шарфа.

— Было так много писем, — говорит она.

— Писем?

— Она слала их ему постоянно. Он очень красивый, мой сын.

Идеальный. Не то, что первый.

Эрих смотрит на маму в упор, она — на него.

— Эти письма...

— Я все сожгла.

Мальчик в черном скользит мимо них и начинает кружиться — сначала выпрямив руки, а потом сложив их на груди, — все быстрее и быстрее. Сгинь, призрак, ты — не я.

— Как ее звали? — спрашивает Эрих, хотя уже знает ответ, мы оба знаем.

Мама долго не отвечает, и Эрих решает, что она опять ушла в себя.

— Зиглида Хайлманн, Зигги. Так она всегда подписывалась. «С наилучшими пожеланиями тебе и твоей маме, твоя Зигги». А потом Зиглинда Торп. Да, она продолжала писать даже после того, как вышла замуж. А это что-то значит.

Мама замолкает. Похолодало, и каток опустел. Остался только мальчик в черном. Он делает круг за кругом. В морозной тишине слышно, как коньки режут лед, словно кто-то затачивает нож.

* * *

— Не вини ее, — просит тетя Улла. — Она боялась, что ты опять сбежишь. Будешь рваться в Западный Берлин.

Они меняют простыни на маминой постели. Эрих расправляет складки, взбивает подушки. Из гостиной доносится звук телевизора: мама смотрит, как Песочный человечек сеет свой сонный песок. «Доброй ночи, детки, кончилась игра».

— Адрес ты, конечно, не помнишь...

— Где-то в Шарлоттенбурге, кажется. Но думаю, фамилия Торп не самая распространенная в Бер-лине.

Когда мама засыпает, Эрих обыскивает весь дом. Заглядывает во все ящики, шкафы и коробки, просматривает все квитанции за двадцать лет. Ни одного письма. Зато в домашней туфле он находит янтарную брошь с бриллиантом в середине, завернутую в носовой платок.

— Я знала, что найдется, — вздыхает тетя Улла.

Вернувшись в Лейпциг, Эрих первым делом идет на почту и берет телефонный справочник Берлина. Тетя Улла права, там всего одна З. Торп. Дома Эрих садится за письмо, рвет его, начинает новое, рвет снова. Нужные слова никак не приходят.

Секрет, который ни для кого не секрет

1996. Близ Лейпцига

«Куда ни посмотри — все суета на свете», — поют, провожая маму в последний путь. «Один построит дом, другой его снесет». Из-за особенностей акустики Эрих не слышит себя. Все пространство вокруг заполняют голоса стоящих рядом: его дочерей с семьями, Урсулы и ее сына от второго брака. «Что пышно днесь цветет, растопчется во цвете, упрямый сердца стук — уже костями трясет. Что сохранит металл? Что мрамор нам спасет? Где счастья смех звенел, гремят стенаний плети»^[34]. До слуха Эриха то и дело долетает слабое жужжание — наверное, всего лишь отголоски гимнов, гудение низких нот органа. Ему хочется уйти, покинуть переполненный зал, где не слышно самого себя. Фраза, брошенная мамой при последнем разговоре, не дает ему покоя: «Он идеальный. Не то, что первый». Когда Эрих попытался выяснить ее смысл у тети Уллы, та ушла от разговора, а он не стал настаивать: тогда его больше занимали поиски Зиглинды. Однако мамина фраза не выходила у него из головы, и теперь, наблюдая, как гроб грузят в катафалк, он вновь спрашивает тетю:

— Что она имела в виду? Кто был первым?

Я замираю, затаив дыхание.

— Не знаю, — отмахивается тетя, не глядя на Эриха. — Под конец Эмилия была не в себе.

Дверь катафалка захлопывается, сквозь стекло виднеются желтые глаза траурных цветов.

Урсула берет Эриха под руку и выдыхает:

— Прости...

Но за что?

— Я помню твою свадьбу, — вдруг говорит Эрих. — Твое чудесное платье.

Фата, невесомая, словно пепел. Фотография и каска на месте жениха. Еловые ветви, сочащиеся смолой. Белый шелк, струящийся в лунном свете. Мама, обрезающая стропы и спихивающая мертвое тело в яму.

— Улла, что она имела в виду?

Тетя вздыхает:

— Ладно...

Она наклоняется к самому уху Эриха. Заводится мотор катафалка. Кто-то всхлипывает.

— У них был другой ребенок до тебя.

Она отворачивается и здоровается с кем-то, чьего лица Эрих не узнает. Ищет что-то в сумочке и не находит. Откашливается.

— Когда? — замирает Эрих. — Кто?

— Мальчик, калека.

Какой-то старик останавливается, чтобы пожать Эриху руку и выразить соболезнования. Улла, ждет, пока он отойдет. В ее глазах блестят слезы. Но по ком она плачет?

— Они написали письмо, — продолжает Улла еле слышно, — Адольфу Гитлеру с просьбой об умерщвлении из милосердия.

Наконец-то на сцене появляюсь я! Неудачное начало, ошибка природы, досадный брак.

Эрих молчит. Что он может сказать теперь, среди толпы скорбящих, чьи ладони сложены и головы преклонены? И что же это все-таки за низкий гул? Последние ноты органа, вибрирующие в воздухе? Или шум мотора? «О таком ребенке, как ты, мы всегда и мечтали». Теперь Эрих ясно видит, что за его жизнью скрыта еще одна, совсем другая, которая жужжала в нем, как пчела в банке, ища выход.

* * *

О, папа и мама! Неужели родители пишут такие письма? Неужели угощают медовым пирогом доктора, приехавшего из Берлина, чтобы убедиться в уродстве их сына и признать его жизнь недостойной жизни? Вот он сидит на диване в безупречном черном костюме и восхищается маминой вышивкой. Вот он стоит у окна на фоне золотого пшеничного поля. И заполняет собой всю комнату.

— Не вижу никаких препятствий. Фюрер уже дал разрешение.

— Нам бы хотелось поскорее все уладить, — просит папа. — Чтобы прекратить страдания...

Доктор кивает и принимает еще один кусок пирога из маминых рук.

Меня перевозят в больницу в Лейпциге. Будущее надвигается со всей неотвратимостью, я сжимаюсь и корчусь под его тяжестью, как червь, вытасненный из земли. «Младенец слеп, — дает заключение доктор после беглого осмотра. — Отсутствует одна нога и часть руки. Скорее всего, слабоумный». Он совещается с другими врачами, и все соглашаются: вынесено верное решение, милосердное решение. В некоторых родильных отделениях, говорят они, в подобных случаях акушеры сразу принимают

соответствующие меры. Медсестры крепко пеленают меня. Но почему голоса их вдруг изменились? Что они крошат мне в молоко? Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?^[35]

Никто не помнит моего имени. Документы утеряны вместе со свидетельством, в котором указана причина моей смерти — слабость сердца. Но не моего! Видит Бог, не моего!

Считается, что я был первым, на ком опробовали подобного рода милосердие. Затем его стали применять и к другим младенцам: калекам, эпилептикам, полукровкам. Не оставили без милосердия и детей постарше, и подростков. Парализованные, глухие, нарушители дисциплины — все получали свою дозу. А что же взрослые? Неужели они не заслужили милосердия? Как же депрессивные, дряхлые, безумные? Неспособные ходить и говорить? Милосердие росло и ширилось. Сначала оно приходило в виде голода, острых игл и пилюль, затем, когда аппетиты выросли, в виде газа в запертых фургонах. Вскоре, однако, и этого стало мало, и потребовались огромные камеры на сотни человек. Жадная пасть милосердия оказалась бездонной.

* * *

Мама и папа не были единственными родителями, обращавшимися с подобными просьбами к фюреру. Черный доктор из Берлина мог бы заехать с визитом в другой дом, осмотреть другого ребенка и вынести такой же приговор.

Годы спустя, стоя перед трибуналом, он заявит: «Пятнадцать лет я лечил людей, и каждый пациент был для меня как родной брат. За каждого больного ребенка я переживал, как за своего собственного».

«Я врач, и для меня закон природы — это закон разума».

«Давая тогда согласие на эвтаназию, я был полностью уверен в нашей правоте, как и сейчас уверен».

«Смерть — это освобождение. Смерть — это жизнь, равно как и рождение. Мы никогда не считали себя убийцами».

«У меня на сердце лежит бремя, но не бремя преступления, а бремя ответственности за непростые решения, которые мне пришлось принимать как человеку и как врачу»^[36].

Когда пришло время, он надел красный мундир и отправился на эшафот. Его сын, его единственный ребенок, отказался навестить его перед

казнью. Но я... Я был рядом, когда он поднимался по тринадцати ступеням и когда ему на шею надели петлю с тринадцатью шлагами. Он начал произносить речь, однако наброшенный колпак оборвал его на полуслове. Люк распахнулся и свесился, как язык. Пустота разверзлась, петля затянулась... Но ведь смерть — это освобождение. Смерть — это жизнь.

* * *

«Умерщвление не доставляло нам удовольствия, напротив, это было непросто, — заявят медсестры. — Нам и в голову не приходило послушаться приказа. Мы, как солдаты на фронте, сжав зубы, исполняли свой долг». Я смотрю им в глаза, но они меня не видят. Я давя им на плечи, свешиваюсь с потолка, прилетаю на подоконник. «Если пациент беспокоился, что случалось нередко, тогда процедуру проводили трое». Я заполняю пространство, я дым, я тень, я призрак того, кем мог бы стать. «Пациенты получали освобождение от ужасных страданий. Мы брали их на руки и ласково гладили, когда давали лекарство».

* * *

После моего рождения мама согласилась на стерилизацию, чтобы исключить всякую возможность повторения подобной неприятности. Вот она лежит на операционном столе. Ей надевают маску, и она считает в обратном порядке. Десять. Девять. Восемь. Теперь меня не просто нет — меня уже никогда не будет. Как папа тогда ей гордился! Пример какой высокой сознательности она подала! Скоро она вновь станет матерью — сирота уже отобран в новом Рейхе и едет к ним. Скоро она получит своего идеального мальчика, свою награду, а досадный брак нужно поскорее забыть.

1997. Берлин

Теплым весенним днем Эрих садится на поезд до Берлина. По приезду он первым делом отправляется на Норманненштрассе, в серое бетонное здание, которое совсем недавно было штаб-квартирой Штази. Карина и Штеффи несколько лет уговаривали его запросить свои материалы. Но Эрих не мог заставить себя отправиться в мрачное здание на Диттрихринг в центре Лейпцига. Ведь его здесь многие знают и могут увидеть!

— И что с того, если тебя кто-то увидит? — удивлялась Штеффи.

— Тогда они будут знать, что я делаю.

Когда Эрих сообщил дочерям, что собирается в Берлин, они насели на него еще больше.

— С материалами можно ознакомиться прямо там, — заявила Карина. — Мы узнавали.

Стопка папок, которую выдали Эриху, оказалась очень внушительной, с ладонь толщиной. Он садится за стол и начинает беспорядочно их перебирать, не зная, с какой начать. Потом по привычке оборачивается — конечно, никто за ним не следит. Он уже никому не интересен.

Самая свежая запись относится к 1989 году. Эрих принимается читать, продираясь в прошлое через сотни забытых поездок, разговоров и покупок.

«26 апреля 1975 года в 13.07 Кренинг Эрих, одетый в коричневые брюки и синий пуловер с коричневыми манжетами и поясом, подошел пешком к Центральному вокзалу Лейпцига и вошел в западное крыло. Пройдя через терминал, он направился к киоску, где в 13.15 купил кофе. Наличие или отсутствие молока в напитке не установлено».

Эрих смотрит на хрупкие страницы, придвигает их ближе, пока слова не превращаются в пыль, но за ними ничего нет — пустота. Обычная, ничем не примечательная жизнь, рассказанная теми, кто скользил за ним тенью, следил из-за угла, ждал в припаркованных машинах, подслушивал телефонные разговоры. Некто с кодовым именем «Кернер» нарисовал подробный план их квартиры в июле 1980 года. Сталкивались ли они на улице? Ездили вместе в автобусе? Были указаны размеры каждой комнаты и расстояние от дивана до телефона и от кровати до выключателя. Эрих попытался припомнить то лето. Не показалось ли ему что-то странным тогда? Неровно висящая картина, приоткрытая дверца шкафа. Если «Кернер» установил подслушивающее оборудование, возможно, оно до сих пор работает и передает никому не нужные секреты в несуществующую

страну.

Эрих переворачивает страницы, строки выцвели и превратились в струйки дыма. Ему вспоминаются бумажки из разрушенного театра, крошечные обрезки, которые Зиглинда держала в кармане, как деньги: «любовь», «милосердие», «обещание», «жалость», «память». Эриху хочется разбить фразы, громоздящиеся перед ним, и вставить туда драгоценные слова.

Он перелистывает страницу за страницей, пока не останавливается на самой первой.

* * *

Мужчина: Можно построить гигантскую катапульту из эластичных бинтов.

Женщина: Это должны быть очень большие бинты.

Мужчина: Или сотни маленьких.

Женщина: Тысячи.

Мужчина: [неразборчиво]

Женщина: Реактивный рюкзак.

Мужчина: На какой тяге?

Женщина: Компост. Шампанское. Или маринованный лук моей мамы.

Мужчина: Думаешь, поднимет двоих?

Женщина: Зависит от ядерности лука.

Мужчина: [неразборчиво]

Женщина: Телескопические?

Мужчина: Да.

* * *

Я вижу, как он закрывает папку и идет через весь зал к стойке.

— Спасибо, я закончил.

Выйдя на улицу, Эрих подзывает такси и просит водителя отвезти его в Шарлоттенбург. Смотрит в окно, пытаясь найти хоть что-то знакомое. Перед огромным супермаркетом турок раскладывает на лотке ананасы и апельсины, внутри магазина на полках стоят десятки видов масла и йогурты с дюжиной разных вкусов. Неоновые лампы свисают с потолка, как дорожки лунного света. Когда Стена пала, они с Беттиной долго

терялись в магазине перед бесконечными рядами товаров, не зная, что выбрать.

Выйдя из такси, Эрих останавливается перед подъездом, надевает очки и просматривает список имен.

— Эрих? — раздается голос из-за двери.

— Да, это я.

— Входи, — говорит Зиглинда и открывает дверь.

1997. Берлин

Ясным октябрьским днем мужчина и женщина, взявшись за руки, идут к колонне Победы. Та возвышается над городом, словно гигантская каменная свеча с сияющей фигурой вместо пламени. Последний раз они были здесь еще детьми, и тогда улица носила совсем другое имя, а небо и город окутывал едкий дым. Золотая богиня с лавровым венком была грязным пятном, смутным напоминанием о былом сиянии.

На секунду пара останавливается перед ступенями, ведущими вниз, но все верно — им сюда. Они проходят под оживленной дорогой и оказываются прямо у гранитного основания, испещренного следами от пуль. Такие же раны видны и на бронзовых барельефах: прусские войска идут в бой, кони бешено сверкают глазами, командир, обнажив меч, зовет солдат за собой, трубач играет атаку. Священник в разбитой церкви венчает обезглавленных жениха и невесту. Король, лишенный ног, и наследный принц, лишенный лица. Былые победы, разрозненные и расколотые на части. Я вжимаюсь в эти плоские декорации, в эти дыры. Я смотрю на восток и на запад. Я отбрасываю тень, крошечную, ускользающую и нечеткую.

Мы проходим мимо стеклянной мозаики: мимо Германии, возносящей над собой корону империи, мимо Барбароссы и его воронов. Перед винтовой лестницей мы отдыхаем — силы уже не те, что в юности. Двери открыты до половины седьмого — у нас есть время. У нас все еще есть время. Мы поднимаемся медленно, пропуская идущих сзади, останавливаясь и переводя дыхание. Мы преодолеваем все 285 ступеней и из каменного сумрака возвращаемся в яркий осенний день. Под нами лежит Берлин, дороги расходятся во все стороны словно лучи, а в сердце звезды — мы. Мы моргаем от яркого света и щуримся, глядя вверх — на гигантскую фигуру. Она — прошлое, расплавленное и отлитое вновь, несущее свет в позолоченных крыльях.

Молодой парень просит сфотографировать его вместе с подружкой.

— Так, чтобы было видно Рейхстаг, — просит он и целует свою спутницу на камеру.

Я смотрю на Эриха и Зиглинду: на мужчину, которым я мог бы стать, и на женщину, которую мог бы любить. Да, у нас еще есть время. Смутная дымка, игра полутеней, негромкое дыхание. Похоже, это и есть я.

Солнце садится, силуэты деревьев в Тиргартене темнеют на фоне неба.

Зиглинда говорит:

— Иногда мне кажется, что сейчас — это уже вчера.

Эрих кивает. Машины включают фары. Ты и я на замерзшем озере, в рое пчел. Ты и я в заваленном подвале, в комнате, заполненной осколками.

Она говорит:

— В здании театра открыли кафе-мороженое. Там дают бесплатно попробовать любой сорт с маленькой пластиковой ложечки.

Ты и я соединяем седока и лошадь, ствол и крону.

— Я бы не смог отыскать театр, — говорит Эрих. — И дом твоей тети тоже.

— Его снесли, — откликается Зиглинда.

Тень от советского мемориала удлинняется. Ты и я спим на пустой сцене.

— Мои дочери спрашивали о тебе, — говорит Эрих. — Они хотят знать, что произошло.

— Так Расскажи им, пока не начал забывать.

Ты и я, и наши связанные вместе жизни, наши случайно соединенные души. Я и ты, моя девочка, моя любовь.

Я смотрю на город и вижу рощу, древнее капище, заполненное священными костями птиц. Вижу воина, ведущего свою армию по землям, на которых позднее вырастет город, — воина, столь ужасного, что даже трава не растет там, где ступил его конь. Ничто не могло остановить его: ни крутые горы, ни полноводные реки. Ничто, кроме степей. Мы научились строить крепости, окружать острова частоколом, возводить монастыри на землях язычников. Наши цитадели стоят на еврейских могилах. Мы прячем под слоем белил пляску смерти, белым замазываем и ростовщика, и бургомистра. Королева прячет детей в поле и плетет им венки из васильков, чтобы они не шумели. В королевских охотничьих угодьях стрелки истребляют лис и палят деревья. Каменные мальчик и девочка поддерживают разрушенный дом на своих плечах. Мы прощупываем швы в одежде в поисках бриллиантов. Я вижу, как лучи прожекторов превращают небо в сияющую паутину. Я вижу обратной и тени, висельников и голодающих, мужчин с руками, увешанными часами до локтей. Они вырезают стекла из наших окон и кожу с наших кресел. Родина оплакивает своих сыновей. Мы прячем микрофоны в стены, а людские запахи в банки. На востоке нет Бога, но это не значит, что молитвы остаются неслышанными. Мы огораживаем зоны смерти и прощаемся во дворце слез. Мы закапываем Ленина в лесу и замуровываем граничные метки в бетон. Мы возвели город на топах и песках, разобрали стеклянный дворец,

сбросили балласт прошлого.

Все дальше простирается мой взгляд: до Дьявольской горы, до острова, на котором алхимик делал стекло вместо золота, до драконьих зубов, и лисьих нор, и волчьего логова, до лагеря, выросшего вокруг дуба Гете. Я вижу кровь и землю, ночь и туман. Вижу двух женщин, ведущих бесконечные разговоры: одна всегда права, и другая никогда не ошибается. Мы разрешаем нашим детям рисовать на стенах Вольфсангель, чтобы другие дети знали, кого убивать. Разбитые колокола ждут переплавки, ничто не вечно, все суета сует. Дьявольское семя даст начало волшебному миру. Узрите: храмы света возносятся к небесам. Узрите: лик фюрера расцветает в огне фейерверков. Смерть — вот дичь, на которую я охочусь.

Под затопленными лугами, под супермаркетами, парковками, многоквартирными домами и детскими площадками, под ячменными полями, дорогами, стеклянными дворцами и автобусными остановками, под кинотеатрами и школами — приходят в движение кости. Медленно ворочаются в богатой германской почве, срастаясь в нечто огромное и слепое. Ребра встают в пазы, ключицы соединяются с крестцом, позвонки и пястные кости сцепляются как рельсы игрушечного поезда.

Мама, я все равно вижу тебя, мама!

Ты лежишь вместе с папой под пуховым одеялом, легким и мягким, как первый снег. Ты уверена, что поступила правильно, ведь это благо и освобождение, и поэтому мирно засыпаешь. А в больнице доктор из Берлина берет мою голову в свои руки. Подцепляет подбородок большим пальцем и сдавливает мне горло. Светит фонариком в глаза и говорит, что я слеп. Но я вижу его! Вижу других врачей, собравшихся рядом и согласно кивающих головами. Вижу медсестер, выполняющих свой долг. Вижу.

* * *

Историческая справка

Повествование в книге ведется от лица персонажа, имеющего реального прототипа. Это ребенок-инвалид по имени Кнауэр. Считается, что он родился в 1938-м или 1939 году в крестьянской семье, проживавшей под Лейпцигом. Более точных данных о нем не сохранилось. Его родители написали официальное письмо Гитлеру с просьбой разрешить умерщвление их ребенка-калеки. Гитлер поручил своему личному врачу Карлу Брандту изучить дело. В июле 1939 года, после визита Карла Брандта, ребенок был усыплен в клинике Лейпцигского университета.

«Дело ребенка Кнауэра» выступило в роли катализатора того, что последовало за этим под маской эвтаназии и постепенно переросло в массовые убийства, в том числе и в газовых камерах, хотя последнее спорно.

Карл Брандт дал свидетельские показания по данному делу в рамках Нюрнбергского процесса, по приговору которого был повешен в 1948 году.

Источники

Данная книга — художественное, а не документальное произведение, однако она основана на реальных фактах. Их источником стал мой собственный опыт (я проработала в Берлине несколько лет в середине 1990-х годов), а также многочисленные книги и сайты, посвященные жизни в Германии во время Второй мировой войны. Вот наиболее информативные из них.

- Anonymous. A Woman in Berlin. Virago, 2005.
Исторический форум Axis: forum.axishistory.com
Beck, Earl R. Under the Bombs: The German Home Front 1942–1945. The University Press of Kentucky, 1986.
Beevor, Anthony. Berlin: The Downfall 1945. Penguin Books, 2003.
Bielenberg, Christabel. The Past Is Myself. Ward River Press, 1982.
Архив германской пропаганды: research.calvin.edu/german-propaganda-archive
Grunberger, Richard. A Social History of the Third Reich. Phoenix, 2005.
Kitchen, Martin. Nazi Germany at War. Longman, 1995.
Koehn, Ilse. Mischling, Second Degree: My Childhood in Nazi Germany. Hamish Hamilton, 1978.
Moorhouse, Roger. Berlin at War: Life and Death in Hitler's Capital, 1939–45. The Bodley Head, 2010.
Schmidt, Ulf. Karl Brandt: The Nazi Doctor. Hambledon Continuum, 2007.
Schneider, Helga. The Bonfire of Berlin. Vintage, 2006.
Shirer, William. Berlin Diary. Hamish Hamilton, 1972.
Stargardt, Nicholas. Witnesses of War. Pimlico, 2006.
Vassiltchikov, Marie. The Berlin Diaries 1940–45. Chatto & Windus, 1985.
Whiting, Charles. The Home Front: Germany. Time-Life Books, 1982.

Некоторые аспекты повествования отклоняются от реальных фактов, например, это касается цензорской работы Готлиба и школьных экскурсий Зиглинды. Я позволила себе незначительные вольности с историческим материалом. Все отклонения, которые вы заметите, прошу считать не ошибками, а задумкой автора.

Книга пронизана явными и скрытыми цитатами из немецких народных песен и авторской поэзии, а также из речей политических лидеров тех лет.

Ниже приводятся названия всех стихотворений, предваряющих главы произведения:

Генриетта Гарденберг. Руки (*пер. К. Карповой*),
Луиза Отто. Мои песни (*пер. К. Карповой*),
Герман Гессе. Сентябрь (*пер. Г. Ратгауза*),
Эдуард Мерики. На смерть птицы (*пер. К. Кар-повой*),
Софи Хохштеттер. Уснуть, быть может, видеть сны (*пер. К. Карповой*),
Фридрих Рюккерт. Дом пуст (*пер. К. Карповой*),
Иоганн Вольфганг фон Гете. Ночная песнь путника I (*пер. А. А. Фета*),
Иоганн Вольфганг фон Гете. Кто с хлебом слез своих не ел (*пер. Ф. И. Тютчева*),
Райнер Мария Рильке. Часослов (*пер. В. Микушевича*).

Благодарности

Данная книга не состоялась бы без стипендии Роберта Бернса в Университете Отаго (Новая Зеландия), стажировки в Раткуле (Корк, Ирландия), стажировки по литературе в Университете Вайкато (Новая Зеландия), стажировки в Центре искусств Уоллеса в Окленде (Новая Зеландия), стипендии Питера и Дианы Битсонов в NZSA, а также без поддержки Германской службы академических обменов (DAAD) и агентства Creative New Zealand.

Я признательна моим издателям Фегусу Барроумену и Джульет Брук, моему литературному агенту Каролин Донеи, моим берлинским друзьям Анне и Детлеву Брандтам, Сюзан Гронке, Хилари Ирвинг и Кимберли Нельсон, а также моим немецким преподавателям Хансгерду Дельбрюку, Питеру Расселу, Монике Смит и Маргарет Сатерленд.

Я также признательна за поддержку Тусиате Авиа, Кейт Кэмп, Тане Карлсон, Пэт Чиджи, семье Крамстро, Робину Линчу, Кристен Макдугалл, Кристине Моффат, Кристине Ошаннесси, Фионе Пардингтон, Софи Скард, Сэлли-Анн Спенсер, Синди Таунс и Эшли Янг.

Особую благодарность я выражаю Берту Розенталю из Государственного архива Штази за его терпеливые подробные ответы на мои бесконечные вопросы, Трейси Слотер — за ее неизменную поддержку и дружеское участие, а также моей маленькой семье: Алану Бехиусу и Алисе Чиджи.

Я хотела, чтобы личность рассказчика оставалась тайной до конца книги, поэтому не вынесла его имя в посвящение в начале, но теперь, когда история рассказана, я заявляю, что посвящаю эту книги памяти младенца Кнауэра.

СНОСКИ

Перевод Н. Холодковского. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Хонеккер Эрих (1912–1994) — немецкий государственный и политический деятель, занимавший высшие партийные должности в ГДР.

Веллер, Тюдель. «Хулиган как герой».

Гейне, Генрих. Лорелей (пер. А. Беломорской).

Из новогоднего обращения Геббельса к нации 31 декабря 1940 года.

Рильке Р. М. Песнь любви (пер. К. Богатырева).

Счастливого праздника (нем.).

Немецкий рождественский гимн XIX века «Kling, Glöckchen».

Евангелие от Иоанна, 1:27.

Евангелие от Матфея, 12:34.

Рильке Р. М. Пантера (пер. В. Летучего).

Зайдель, Ина. Желанный ребенок (Wunschkind, 1930).

Сказки братьев Гримм «Девушка-безручка» и «Семь воронов».

В 1936 г. вышла детская книга Эльвиры Бауэр «Не верь лисице на поле и еврею при клятве», ставшая очень популярной.

Гете И. В. Ночная песнь странника (пер. М. Ю. Лермонтова).

Евангелие от Матфея, глава 3.

Шиллер Ф. Песнь о колоколе (пер. Д. Е. Мина).

Речи Высокого. Старшая Эдда (*пер. А. И. Корсуна*).

Май, Карл. Золото Виннету.

Спасибо (польск.).

Добрый вечер (*польск.*).

Реальный документ, опубликованный в 1945 году во втором выпуске «Rüstzeug für die Propaganda in der Ortsgruppe».

Чеслав (*польск.*).

Песни об умерших детях (*нем.*) — вокальный цикл для голоса и оркестра Густава Малера на стихотворения Фридриха Рюккерта.

Гете И. В. Фауст (пер. Н. Холодковского).

Из либретто оперы «Золото Рейна» Р. Вагнера.

Рюккерт Ф. Песни об умерших детях (пер. В. Коломийцева).

Ты в безопасности, я с тобой (*польск.*).

Когда в Германии сформировали ополчение из стариков и подростков, появилась такая шутка: «У кого во рту золото, в волосах серебро, а в костях свинец? У фолькштурмовца».

Так в 1945 году стали называть документ, позволяющий немцам не считаться нацистами, «обеляющий» их, как порошок «Персил».

Комэнеч Надя (род. 1961 г.) — титулованная румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка.

Министерство государственной безопасности ГДР.

Папа, котенок (*польск.*).

Грифиус, Андреас. Все суета (пер. А. Прокопьева).

Гете И. В. Лесной царь (пер. В. А. Жуковского).

Из речи Карла Брандта на Нюрнбергском процессе.